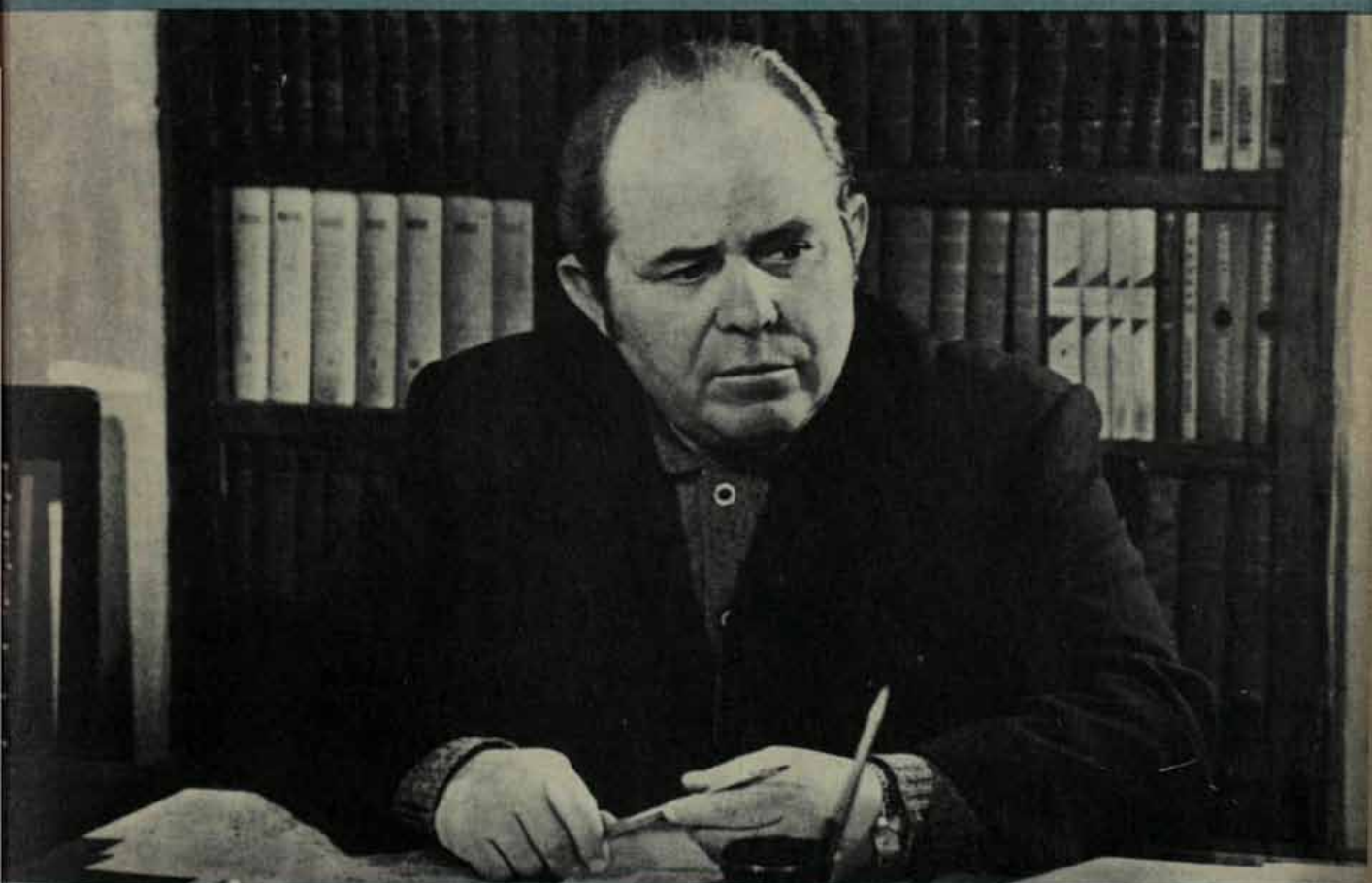


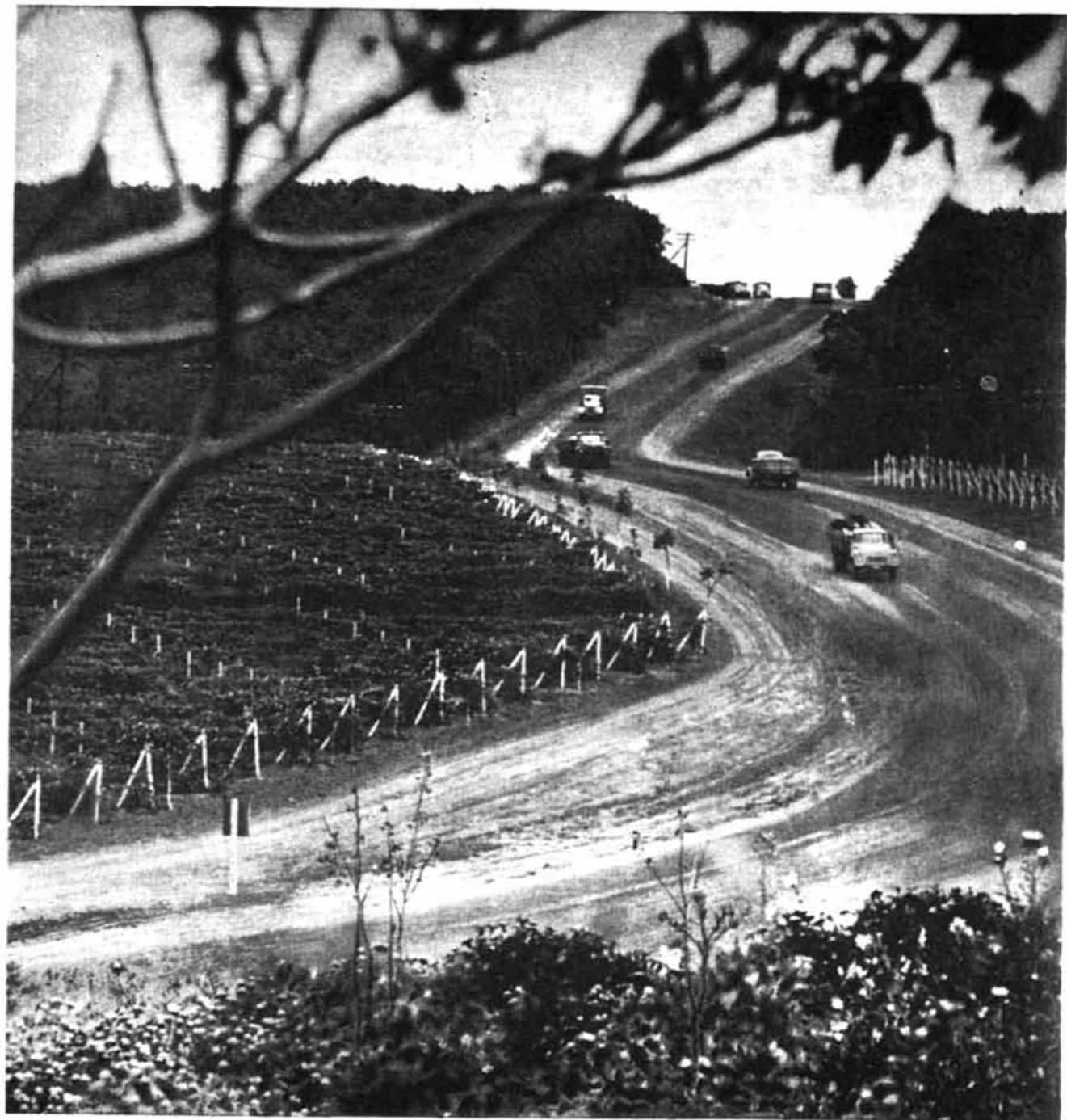
№11 (873) · 1979

ISSN 0131-6044

РОМАНИ ГАЗЕТА



ИОН ЧОБАЛУ
КУКОАРА



РОМАН- ГАЗЕТА

ОСНОВАНА В 1927 г.

№11 (873)
1979



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА

ИОН ЧОБАНУ КУКОАРА

РОМАН

Авторизованный перевод с молдавского
МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВА

Наше подворье опустело. Изба заперта. На дверях дедовой хаты тоже висел огромный замок с вертушкой. Судя по всему, мудреный этот замчище смастерил ему цыган. Что же, однако, стряслось со стариком? Он даже забыл во дворе свою косу со всем необходимым приложением к ней — ящичком, брусочком, молотком; все это сиротливо притулилось на завалинке. Сам же старый хозяин как в воду канул.

Ох, как тоскливо летом в крестьянских дворах! Цыплята с писком бегают за клушкой — жажда ли их мучит, голод ли. Разгребают проворными когтистыми лапками землю в поисках не то пищи, не то воды. А мать озабоченно квохчет, скликая их к желобку с водой и кормушке с кукурузной крупой. А цыплята не слышат ее: снуют под деревьями, пугаясь черной тени вороны.

Коли уж и дед вытащил свою косу со всеми причиндалами, то, надо полагать, и остальной люд спозаранку отправился на косовицу. Так было всегда. В пору прополки дедушка не вмешивался в наши дела. Но и к своим делян-

кам никого не подпускал: самолично производил все работы на винограднике и в кукурузе. О помощи и слышать не хотел. А во время такого тонкого дела, как подрезка и подвязка виноградных лозин, перебил бы нам ноги, если б поймал в своих владениях. Одно только великодушно разрешал нам — помогать ему в перевозке кукурузных снопов с поля. При этом всякий раз выходил навстречу нашей телеге с полным кувшином вина. Корзины же с его виноградом позволял привозить ему лишь дождливой осенью. В ведренную мы боялись заикнуться об этом: помалкивали себе в тряпочку. Не то — горе нам! Сбор винограда на своем участке дедушка доверял лишь собственным рукам. Перед уходом на делянку тщательно мыл корзины и чаны, еще тщательнее мылся сам. О бочке и говорить нечего — дед выскабливал ее ножом, ополаскивал несколько раз горячей водой с каустической содой, скреб и мыл до тех пор, пока с клепок не исчезнет малейшая накипь. Мыл даже двуколку, на которой привозил корзины винограда. Под конец ревниво оглядывал все свое хозяйство, пока не убеждался, что все находится в полном порядке.

Но один раз в году, а именно во время

косовицы, он готов был все свои дела отложить в сторону, бросить их на произвол судьбы; в такую пору пшеница может остаться у него непросеянной, колодец недостроенным, то есть не одетым в камень. Без малейшего сожаления бросал все и спешил к нам на помощь. Косовица была для него святым делом. Восход солнца никогда не заставлял его во дворе: дед уходил в поле до рассвета. Накануне мой отец обычно просил старика ехать с нами на нашей повозке. Дедушка вроде бы соглашался, отвечал: хорошо, хорошо! А когда мы просыпались, его уже и след простыл!

Однако сегодня все было наоборот. Отец, мать, даже лентяй Никэ уехали раньше дедушки. Что со стариком? Совсем одряхлел или проспал? Такая мысль вполне могла бы прийти мне в голову, если б на глаза мои не попались его лестница и солонка. Лестница прежде всего заставила меня отбросить мысль о дедовой дряхлости. Какая там дряхлость, коли старик, как обычно, вынес лестницу из сеней, притащил в сад, приподнял и прислонил ее к самой высокой вишне, посаженной в некие времена его же руками?! И если он все-таки не ушел в поле с косой, должно было случиться что-то уж из ряда вон выходящее. Но что именно?

Я стал прислушиваться и приглядываться: не стонет ли кто-нибудь в вишневых зарослях, не валяется ли рядом с лестницей меховая шапка. Как там ни говори, а дедушке Тоадеру ох как многожонко годков! Их, как и его упрямства, хватило бы на несколько дедов. Дед Тоадер давно пережил всех стариков села. И много лет состоял во главе старейшин. Привычкам своим ни при каких обстоятельствах не изменял. Особенно почему-то любил вишни. Всякий раз терпеливо ждал, когда они поспеют. И когда они уже не только поспеют, но и переспеют и висят на кончиках самых высоких веток, куда даже мой брат Никэ не может забраться, дедушка и оттуда их достает. Для этого он подносит лестницу, привязывает к поясу солонку и лезет к верхушке. Снизу слышно только, как он поскрипывает зубами и легонько покашливает, чтобы протолкнуть в горло кислотовато-сладкий вишневый сок. Косточки падают на землю сквозь густую листву. А сверху тихо колышутся ветви. Один лишь день в году дедушка ест вишни. Он срывает их, макает в соль и отправляет в рот.

Сейчас лестница стояла на месте. Висела и солонка — там, где ей полагалось висеть. Дедушка же словно сквозь землю провалился. Однако, обозрев все принадлежащие ему вещи, я успокоился: должен и он откуда-то появиться. В погреб его, конечно, нет. Я знал, что когда он шел брать натошак «пробу», то оставлял дверь погреба открытой, чтоб было посветлей и чтоб винная струйка не потекла мимо посу-

дины. Хорониться же за закрытой дверью ему теперь было ни к чему: дедушка мой Тоадер остался один и некому «пилить» его за столь частое взятие проб.

Итак, в погреб дедушки нет. Не было его и на чесночной грядке (без чеснока старый Тоадер не уйдет на косовицу, припасал он его с вечера, накануне; вообще ничего не оставлял на другой день, всю подготовку делал загодя, чтобы потом не суетиться).

После многих мысленных прикидок я пришел к единственно возможному заключению: похоже, дед забыл купить себе четвертинку водочки. На жатву он никогда не уходил без хвостика селедки, головки чеснока и глотка «крепкой водицы», как он называл известный веселящий душу и помрачающий разум напиток. Немного терпения, и я увижу, как войдет в калитку, норутивая свою беспамятную, ни на что уже не годную голову: надо же, забыла про четвертинку!

— Э-эх, положу-ка я ноги на подушку, а эту развадюху-голову в ореховое корыто... чтоб не забывала! Столько времени потерял из-за нее!.. Коровья образина!..

Так он будет ворчать на ходу. Так и слышу, как он сердито бормочет. Услышал, однако, совсем другое. Услышал глухой удар, донесшийся из глубины акациевых кущ. Словно кто-то стукнул деревянным молотком по липовому стволу или мешку с шерстью. Впрочем, зачем же гадать? Лучше побегу и посмотрю, не упал ли старик с дерева.

Не сразу, не вдруг увидел, как из густых ветвей акации высовываются вилы. Деревянные вилы дедушки. И тут же — ба-бах, бах! А за плетнем — коза. Она успела переметнуться через изгородь и с паническим мекекеканьем улепетывала прочь.

Мне сразу все стало ясным. Дедушка не ушел в поле до рассвета из-за этих треклятых коз. Я расхохотался бы так, что стало слышно в отдаленном лесу, в самой его глуши. Но я благоразумно промолчал: чего доброго дед мог погнаться со своими вилами и за мной. Пока он вел войну с козами, я стоял и глазел, как глухой жених в ярмарочной кутерьме.

— Эй, старина! Ты покалечишь моих коз!

Обычно Филуцэ Мокану ходил медленно, словно бы высаживал чеснок, переваливался с боку на бок, больше, однако, склоняясь в одну сторону. Но теперь, когда спешил защитить своих коз от дедушкиных вил, то будто затыкал своими ногами дыры в земле: здуп, здуп, здуп. Бежал сломя голову. Даже юноша не мог бы угнаться, поспеть за ним в таком-то вот случае.

— Но, но... беш-майор!¹ Покалечишь моих коз! Побойся бога, папаша!

¹ Беш-майор — прозвище Тоадера.

— Какой я тебе папаша! Я не нянчил чертей с кривыми ногами. Вижу, и твои козы все в тебя... Такие же чертовы образины, как и ты!

— Потипше, дед! Не очень-то ерепенесь! С огнем играешь. Не ровен час... Я их привез с самых вершин Карпат!

— Вижу, вижу!.. Сатана отметил тебя не только козьими рогами, кривыми ногами, но и злым языком! — кричал дедушка Тоадер Лефтер, размахивая вилами.

— Знаешь ли ты, чьи эти козы, старикашка!

— Пускай будут даже поповскими!.. Все равно у них задраны хвосты и ветер дует им в зад и остужает молоко!.. А у вас, коровьи образины, разве есть хоть одна капелька стыда! Срам! Весь день коз ваших обдувает ветер, охлаждает молоко, а вы пьете его вечерами с монпансье!..

— По нужде, дед, по нужде... Что поде-лаешь?..

— Что, спрашиваете? Кормите их негаше-ной известью! Всыпьте пригоршню в ломоты мамалыги... Так в прежние времена народ откармливал коз! А вы умеете только губить чужие сады!.. Где это видано! Пускай их, нечистых, держат те горцы с Карпат... А не вы, недотепы! Вы ж не чертовы души. У вас есть виноградники, сады... Но есть ли у вас божья искра в голове? Такого пустяка не знает! Нельзя, чтобы и волки были сыты, и овцы целы!.. Тут ведь так: либо виноградники и сады, либо козы на крыше твоей хаты и отравлен-ные дотла огороды. Нельзя быть душой в раю, а головой в навозе. Одно из двух. А вы хотите и то и другое. И душой в раю, и с козами в саду? Не нынче-завтра я перекочую через дорогу, поближе к царству небесному. Я уже одной ногой там... Но я не хочу, чтобы и там, на моей могиле паслись эти чертовы подопия, ваши козы с сережками под подбородком и с развевающейся по ветру дьявольской шерстью. Так и знайте, покуда не отправлюсь туда, хоть парочку ваших коз, а все-таки изничтожу!

— Прости их, мош¹ Тоадер. Война их по-родила. У нас детишки. Пусть полакомятся козьим молоком!

— Ну и что с того, что у вас детишки?.. Не я же их вам наплодил...

— Мы сторожим... Но, случается, ребята-шки не доглядят...

— Ишь ты, не доглядят! Я, что ли, буду вам их пасти!

— Пасты-то их есть где. Но такая уж это скотинка. Нажрется, живот чуть не лопнет, но пока не наведается в чужой сад, за чужой забор, не угомонится, все вроде голодная.

— Так они и будут пастись у меня? А меня вы будете кормить соломой! — кричал де-

душка, продолжая гоняться с вилами за коза-ми. За некоторыми — безуспешно. Кое-какой все-таки влетало. Глупая, она становилась у плетня на задние ноги и, забыв про все на све-те, поедала листья с яблоневых ветвей; дед подкрадывался и так поддевал ей под брюхо, что долго потом слышалось жалобное «мэ-ке-ке-э-э-э». Казалось, неосторожная коза сейчас же испустит дух. Полноценные удары вилами несказанно радовали дедушку. Иногда, после прицельного тычка, коза спрыгивала на землю и с недоумением смотрела на деда. В таком разе дед терялся и не знал что делать — вилы заставляли в его руках.

Листья молодых яблонь были соблазнитель-но вкусны, а козьему аппетиту не было преде-ла. Некоторые животные быстро забывали про близкое знакомство с дедушкиными вилами и снова карабкались передними ногами на забор, с вожделением блеяли при этом. Другие, что похитрее, бегали вдоль изгороди из конца в ко-нец, внимательно следя за приближающейся опасностью. Но и этим не всегда удавалось пе-рехитрить старого Тоадера, и их потчевал он весьма невкусными уколами своих длиннозубых деревянных вил. Козье нахальство доводило старика до белого каленья. Взъярившись, он под-скакивал на одной ноге и затем мчался с вила-ми наперевес, как солдат в штыковую атаку, произнося вслух старую команду, запомнив-шуюся ему со времен отбывания воинской по-винности: «Вперед, коли!»

Но, когда он командовал себе так, то попа-дал вилами лишь в забор: козы бежали от этой команды скорее, чем от ударов вилами. И дед вынужден был менять тактику: прятался в гу-ще акаций. В результате от места засады вско-ре раздавался отчаянный плач козы: «Мэ-э-э-э!» Звук от удара был упругий и глухой, будто дед и вправду втыкал свои вилы не в козу, а в ме-шок, набитый шерстью. От такой удачи старый Тоадер подпрыгивал и кричал:

— Вперед, коли!.. Ага, получило, чертово отродье! Бежишь, не понравилось? Ну, припо-жалуй еще разок! Вот видишь, вилы ждут тебя! Из-за вас, нечистая сила, я вынужден сделать и крышу на колодец! Мало того что истребляе-те мой сад, приладились еще и колодец пога-нить. А где мне брать воду? Это же дьяволь-ское семя сует свою образину в колодец и глядится, как в зеркало. Лезут на деревья, на крышу избы... Теперь вот — и в родник суют-ся. Ну, ну, поглядим, кто кого! Поглядим! С Тоадером Лефтером захотели тягаться? С ва-шей бесей бородкой и окаянными сережками хотите таращиться в зеркало воды моего род-ника? Чихать на мой источник? И затем я буду пить испоганенную вами воду? Дай вам волю — вы и на церковный алтарь ползете! Чертово отродье! Чего доброго завтра и вам захочет-ся есть просвиру и причащаться церковным

¹ Мош — уважительное обращение к старикам.

вином, пить кровь христову. К тому дело идет. Скачут через кладбищенский забор, даже шерстью не заденут его. Взируются на кресты... И поедают еще зелеными плоды слив! И ничто их не берет, никакое расстройство желудка. Чтoб хоть их хозяев пронесло — пропади они пропадом! Чтoб я их видел в одних подштаниках!.. Чтoб обожрались козым молоком! Пускай лакают... Лакайте! Оно хорошее, густое... пастух в загонах процеживает его через свои грязные подштаники...

Пастух, однако, тут ни при чем: он давно ушел со стадом и не слышал, не ведал, какую хулу возвел на него дедушка Тоадер. А старик все свое, кричит, ругается:

— Село вступило в порочную связь с чертовыми козами!.. Со скотиной, которая жует всю ночь напролет. Не спит, даже когда кричат петухи, прогоняя нечистую силу. И тогда не спит!.. В былые времена в крестьянских садоводческих селах козы считались нечистью. Даже более конфузным стыдом, чем когда к отцу приходила дочь с незаконным младенцем на руках. Эх-хе-хе-хе! Не было прощения такой молодежи! Горе ей, бедняжке! Но держать козу — было еще бoльшим позором. Да, строго хранил народ свою честь. Каждый придерживался общего порядка. Коз держали только цыгане. У них не было садов и виноградников...

Несколько раз я пытался попасться на глаза старику. Но он словно ослеп. Ничего не видел перед собой, кроме коз.

— В былые времена, — продолжал ораторствовать дед, — парни брали козу у цыган и привязывали ее к ручке дверей самой красивой и заносчивой девушки... Привязывал и я козу к дверям моей Домники. Пусть простит меня бог, но привязывал-таки! За то, что задирала нос, гордячка, не хотела миловаться, выйти замуж за меня. Зарилась на Андрея, поглядывала и на других. Да простят меня Андрей и Домника! Ведь теперь козы одинаково толочатся и на его, и на ее могилках...

— Ну оставь ты этих коз! — не вытерпел я, видя, что иначе не буду замечен дедушкой: он много раз проходил мимо меня, как мимо столба, и даже ухом не поводил.

— Чтo? Оставить их? Тоже мне, явился становой пристав... Городской колбасник! Уж не хочешь ли ты и меня отдать в школу?! Наводнили село козами и теперь вам стыдно от моих слов? Вы чего же хотите? Чтoбы я повесил замок на свой рот и молчал? Это я-то чтoб промолчал?!

— Говори, никто тебе не мешает. Только я хочу узнать, где отец.

— Иди и ищи его!.. Твои же антихристы, комсомольцы, сняли его с работы. И хорошо сделали! Чтoб не потакал вам! А то нашли моду: сегодня они здесь, завтра там. А он должен

завсегда оставаться с сельским народом и, не в пример вам, иметь совесть!..

— Чтo плохого сделали вам эти «антихристы»?

— Мне они ничего плохого не сделали. Но я не один живу на селе. Есть и другой народ.

Последние слова он произнес совсем тихо — верный знак того, что был страшно сердит. Затем дедушка смерил меня взглядом с головы до ног и в обратном направлении. В его старых глазах полыхали грозы. Говорят, в молодости у него были красивые голубые глаза. Они были хороши у него и в старости. Но сейчас дед был очень рассержен. И глаза горели сатанинским огнем. Вырвал у меня из рук кус, почти выбежал за калитку, кашля и покачивая головой, будто от зубной боли. Забыл и про свою лестницу, прислоненную к вишневому дереву. Солонка по-прежнему висела на самой верхушке. Все позабыл.

Несмотря на всю мою любовь к садовым плодам, я не находил вкуса в вишне. И все-таки не должен был вмешиваться в дедушкин спор с козами, защищать последних, ссориться из-за них со стариком. Разве я не знал его характера? Нужно было оставить его одного на этом «бранном поле», дожидаться, когда он навоюется властью и успокоится, и только уж потом спрашивать о том, о чем хотел спросить.

Я нередко слышал, как мой дед перебаривается с сельчанами. Те спрашивали: «Куда идешь, мош Тоадер?» Он резко отвечал: «Ты что, ослеп, не видишь, куда иду?» Другие чтoбы позлить, кричали ему: «Эй, дед, бросай все. Лучше иди к нам, угостим тебя кружкой кислого козьего молока...» Этих не удостаивал ответом. Только со старухами был сдержаннее. Когда они спрашивали: «На косовицу?» — отвечал: «Да, косить». А тем, кто допытывался: «Куда идешь?», иногда бросал шутливое: «Лапти истоптать». А иным еще вот так: «Чтoб было откуда возвращаться». Или кричал: «Эх, ты, раззява!.. Не видишь, иду, прячусь, чтoбы смерть не застала меня с руками за твоей пазухой». — «Твоим ли старым рукам лезть за бабью пазуху, бесстыдник? Как ты отвечаешь на приветствие?!» — «Ты мне брось, бабка, я еще того... поосторожней со мной. Аль за была: из старого петуха получается хороший студень!»

По мере того как он удалялся от дома, голос его становился спокойнее. И сердце его не шипело, как на раскаленной сковородке (это он сам так характеризовал душевное свое состояние в подобных обстоятельствах).

После ухода старика во дворе становилось совсем пусто и уныло. Изба будто застыла замертво, окутанная ароматом деревьев и скошенной отцом мальвы: тот делал пробу своей косы на этом безвинном и безропотном цветке. Подымалось горячее солнце и припекало маль-

ву, помуждая испускать душно-пресный запах увядания. Вскоре духота пробралась даже в тень деревьев. Все вокруг оказалось под тяжким, одуряющим ее прессом: и стога сена, и снопы ячменя, расстеленные под солнцем, и крыша избы, под которой я нашаривал ключ, и сама изба как бы тяжело отдувались, пыхтели от жары. Но как бы там ни было, жара жарой, а я находил и нечто очень дорогое, милое моему сердцу. Изба подремывала, от нее пахло крестьянской одеждой, знакомой мне с детства. Я различил бы эти запахи среди сотен других. К тому же белая изба имеет что-то свое, особенное. Каждая хозяйка согревает свой дом посвоему. Дома так же разнолики, как и люди. У нас, например, все комнаты в избе пахли хлебом, испеченным на ореховых листьях.

Хлебная страда. Она требует от крестьян большой подготовки. Сначала загодя выпекаются огромные караваи. После них в печах томятся глиняные горшки с ряженкой. Крутом разносятся запахи молока, полыни, орехового листа. Все окна заставлены ореховыми ветвями. А на вытянутых в струнку шпагатах висят связки всевозможных лекарственных трав — это домашняя аптека. И связки со стручковым перцем. Там же висят и влетают свои запахи вишневые отростки, пучки зверобоя, веточки липы с засушенными цветками, отдающая холодом мята, гроздь привяленных акациевых цветов. Тонкая пряжа этих запахов проникает во все уголки хижины, сливаясь с ароматом свежевыпеченного хлеба, замешанного в ореховом же корыте.

Я за обе щеки уплетаю теплый хлеб, तोплюсь, будто боюсь, что отнимут. Из всех благоуханий хлебный дух самый упойный. Множество дорогих мне ощущений теснятся в моей груди. Мне хотелось бы вздремнуть в кассе маре¹, поспать так, как давно-давно не спал. Нет, пожалуй, лучше прихватить коврик, подушку и выйти в сад, под грушу. На сплетенной из лозы лавке, застеленной свежим сеном, будет еще слаще. Но мне не терпится совершить небольшой рейд по селу, пройтись по нему, жадно прислушиваясь ко всем сельским новостям. На людей поглядеть и себя показать, поглядеть друзей, подружек. Мне не верится, чтобы все они, до единого, покинули село, ушли в поле. Ничего, пусть дедушка сердится на всех и вся. Это его дело. Меня же гонит прочь на улицу нетерпеливое, горячее желание поскорее увидеть все ее закоулки, все мосты и мостики; так, без всякой определенной цели, побродить и там и сям, заглянуть в кооператив, в буфет, непременно навестить школу, это уж в первую очередь. Я знаю, что все учителя выехали на сессию. Кто в институт, кто в педагогические училища в Оргееве и Калараше. Один дирек-

тор, кажется, должен оставаться на месте. У него летом много забот с ремонтом школы, с обеспечением ее дровами на следующую зиму. Мне не разрешили поездку на сессию. Туда поехал первый секретарь райкома комсомола, и я оставался теперь за него. Мне сказали только, чтобы подготовился и сдал летнюю сессию зимой. Возможно, и тут все уехали, а ремонт школы поручили сторожу, бывает и так. Что ж, сторож так сторож. Он ведь тоже местный житель. Ему известны все новости, все перемены, которые могли произойти в мое отсутствие. От него я могу узнать даже больше: школьному сторожу многое ведомо. У него есть время и неплохой наблюдательный пункт.

Есть у меня еще одно острое желание, в котором я боюсь признаться даже самому себе. Мне, конечно же, хотелось раньше всего узнать, что подделывает сейчас Вика. Слышал, что родила мальчонку. Здорово, наверное, изменилась, став матерью. Девушки, выйдя замуж, не очень-то меняются, а вот после родов с ними происходят разные изменения. Как бы мне хотелось глянуть на эти перемены! Какой-то внутренний голос так и нашептывал мне: ты должен поглядеть ее. Но зачем, для чего? Отрезанный ломоть обратно к буханке не приладишь! Однако должен же я знать, как она там, счастлива ли? И что она скажет при встрече со мною? Как выйдет к калитке, когда увидит меня? Но что скажу я? Чтобы поглядеться с нею, мне нужен серьезный мотив. А у меня нет ни малейшего. И все-таки сердечная боль — это сердечная боль. А у меня нет никакой зацепки, чтобы как-то оправдать свое появление у подворья Вики.

— Пропали они пропадом, подобные мысли! Не хочу больше возвращаться к ним! Не желаю! — неожиданно воскликнул я. Проорал так громко в пустой избе, что задрожали стекла. Но напугал лишь петуха в сених, который с истерическим кудахтаньем выскочил во двор в сопровождении своего шумного гарема.

Теперь этот наглец взлетел на забор и глядел на меня через оконное стекло, как на вора. Он вертел своими круглыми, точно бусинки, красными глазами и гневно бормотал что-то, готовый вновь ворваться в сени за лакомством. Но увидев меня, чужака, выходящим на крыльцо, спрыгнул с забора на дорогу и отправился прямо за церковную ограду. Может быть, это даже и не наш петух, кто его знает? Чужой-то тут, похоже, я. Уже не узнавал ни своего петуха, ни кур...

Горькие мысли не покидали меня. Кому теперь есть дело до того, что я приехал в родное село? Да никому! И чем реже я буду приезжать, тем больше будут отдаляться от меня все и всё. Скоро сельские ребятки перестанут узнавать меня. Пройдет мимо Викин сынишка, а я буду стоять как чурбан и спрашивать у

¹ Комната для гостей.

других: «Чей это карапуз?» — «Как, ты не знаешь его? Это же сынок Вики Негарэ!» Негарэ? Негарэ? Теперь она уже не носит имя этой травы¹. Нет! Нет! Только эта светловолосая травка останется верной мне, не забудет меня! Где бы я ни находился, не забудет, как и я никогда не забуду ее! Она грустно что-то шепчет на ветру по всем выгонам, ее обходят овцы, сторонится любая скотина, даже козы. Откуда взялась эта белобресая травка, несъедобная ни в какие времена, жесткая, безвкусная? Только имя ее звучит красиво и нежно. Но никому не нужна эта красота. Никому. Женщины не собирают ее даже на щетки. Негарэ приносит больше зла, чем добра. Когда высыхает, впитывается в кожу остриженных овец, и люди проклинаят эту вредящую траву. Разве что горожане, по незнанию, любят ее: вон она какая беленькая, вон как она волнуется, переливается на ветру. Неискоренимая, она берет в полон лужайки, выгоны, целинную толоку и жестянно звенит: вж-жиу, вж-жиу...

И все-таки приятно поваляться на поляне, заросшей ковылем, гладить его белесые, мурлыкающие метелки-султаны, слушать, как шепчут они что-то под дуновением ветерка степного. Ветер посвистывает, словно косарь за твоей спиной: вж-жиу, вж-жиу...

А как красиво выглядит пучок негарэ на шляпе! Слово ты солдат далеких времен!.. Но как же мучительно носить эту негарэ в сердце! Под кожей у овцы она загнивает, но гной пробивается наружу и овца выздоравливает. А у меня против этой впившейся в самую душу травы нет лекарства. Она кровоточит, вечно кровоточит, источаясь каплями сладкой отравы. Но как бы я хотел, чтобы вернулись те дни, когда мог насладиться этими каплями и медленно умирать! Но я знаю, что возврата не будет, как не будет и отравляющей душу улады. Останется лишь воспоминание о ней, которое будет капать на сердце солеными горькими каплями, как ковыльная роса после дождика. Будет мне от этого хуже или лучше, откуда знать? Знаю лишь одно: навсегда перед глазами моими будет стоять ковыль как живое воплощение самого красивого существа на свете по имени Вика Негарэ. Но не для того, чтоб я прикрепил его к шляпе. Не для того, чтобы повесил на шнур для украшения хаты. Негарэ останется вросшим сладкими своими корнями в мое радостно-памятливое сердце. И в таком роде никогда не забудется. Не забудется и тогда, когда тебе захочется выковырнуть его из сердца острой иглой, с ненавистью вырвать из души. Проклятая трава! Убаюкала меня на своей постели и заставила забыть про свой отравленный стебель. И теперь мне снова хочется, чтобы все было, как прежде. Навсегда. навеки. Чтоб, закрывая

глаза, я не слышал и не чувствовал, как ломается стебель, как отравленные занозы впиваются в мое сердце. Нет, я видел перед собою лишь метелку — белый султанчик прелестной блондинки. Нежный султанчик и голубые глаза. В них, только в них я был погружен полностью с моими мыслями, радостями и страданиями, со всеми моими мечтами, переменчивыми и неуловимыми, как дуновение ветра и мимолетность времени.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

По дороге он встречал только веселых, подвыпивших мужиков. Одни отдыхали на обочине, на травке, в тени кустов. Другие, не надеясь на свои силы, не решались перепрыгнуть через канаву и располагались где попало: на краю проселка, в пыльном придорожном бурьяне, прикрыв лица соломенными шляпами, обороняясь таким образом от палящих лучей солнца. На одних были эти самые соломенные шляпы, другие обходились вовсе без головных уборов. Но все были одинаково навеселе. Ему еще никогда не приводилось видывать такого скопища хмельного народа.

Что случилось с этими людьми за несколько месяцев? Что стряслось с ними? Отчего перепились?

Он задавал себе эти вопросы, а сам старался уговорить подгулявших, чтоб не жарились на солнцепеке и убрались под сень какого-нибудь дерева, кустарника или хотя бы в виноградник. Но попробуй направить на путь истинный тех, кто «под мухой»! Некоторые, впрочем, бормотали что-то невнятное и пытались подняться на непослушные ноги, большая же часть не могла выдать из себя даже такого бормотания. Может, не так уж много они и выпили, да хлебная страда вконец подточила их силенки и мало оставила на то, чтобы мужички могли противостоять «зеленому змию».

В пору уборочной крестьянин вообще худеет. Дни предлинные. Жара невыносимая. Труд изнурительный. В такую пору сеятель загорает до черноты, лицо его приобретает черноземный цвет, глаза проваливаются и мерцают, как из глубокого колодца, хотя на селе делалось все, чтоб на время косовицы еда была посытнее, а бурдюки полны настоящим на душистых травах вином. Ничего не жалели для косяря. Иная хозяйка расщедрится до того, что вытащит из укромных мест и бутылочку водки, сдобренной столетником или ореховой скорлупой. Все это должно укрепить силы, когда тебе приходится косить, таскать снопы, метать скир-

¹ Негарэ — ковыль.

ды, обмолачивать, затем убирать зерно в амбары. Устанет крестьянин до смерти, а с устатку кто же не выпьет?..

В базарные дни и вовсе не следует удивляться встрече с хмельным людом. Один продал теленка, другой поросенка, третий овцу. При благополучном свершении купчей пьют магарыч. Это уж как водится. Сперва ставит бутылку тот, кто продал, затем тот, кто купил, — этим всегда заканчивается подобное дело. Недаром говорят в народе: продала баба кочергу черту и тоже выпила с ним магарыч.

Однако то, что увидел он сейчас, превосходило все подобные зрелища, когда-либо представлявшиеся его глазам; такого, по правде сказать, он не видел даже на ярмарке. Узнать же об истинной причине было решительно не у кого: среди упившихся не обнаружилось ни одного селянина, с которым можно было бы как-то еще потолковать, не отыскалось и мало-мальски трезвого человека, который мог бы прояснить дело; трезвые-то, может, и были, да убрались по домам, чего им тут делать. И не видно было никого кто ехал бы навстречу. Небо, которому полагалось быть голубым, сейчас выглядело каким-то блеклым, словно бы выбеленным известью. Мертвенно-белыми кругами облекло себя и солнце, будто ему и самому было жарко.

Тоадер Фрунзе устал. Устал от летнего зноя. Устал от дороги. Устал от того, что открылось ему на этой дороге. Перед тем он успел побывать во многих организациях, где проводил шумные комсомольские собрания в селах и деревнях долины Реута, сам выходил с молодежью на козовицу по вечерам. То были удивительные вечера! Трудности, неурядицы, рожденные прокатившейся по этим местам войной, не могли погасить очарования, поэзии летних ночей. Сладкая истома разливалась по жилам уставшего и счастливого от этой усталости молодого тела; в сердце сами собой рождались и звали куда-то новые, не совсем еще ясные надежды и порывы.

Теперь Тоадер Фрунзе возвращался домой, чтоб выкупаться, сменить белье, получить по карточкам полагающийся ему хлеб, сахар, папиросы...

Из села Валя Реутулуй, где он был уполномоченным, на жатву и уборку сена для армии его направил сам Шеремет. Тоадер Фрунзе был рад случаю повидаться с ним. Про себя светло как-то подумал: да, есть все-таки правда на земле! В конце концов настоящий человек получит то, чего он достоин по праву, по справедливости. Было время, когда он мог разочароваться в этой истине. На то были свои причины. В районе происходили некоторые изменения, которые он не мог признать разумными, а стало быть, и одобрить. К примеру сказать, чуть ли не каждый год менялись секретари рай-

кома партии. Человек не успевал еще осмотреться как следует, обжиться, прислониться сердцем к одному месту, как его переводили на другое — иной раз с повышением, чаще же всего — на ту же должность, для исполнения тех же самых обязанностей в городах или в столице республики. Только вот Шеремет не менял ни должности, ни места своей работы в течение многих лет. Потому-то лучше его никто и не знал района. Все проекты наиважнейших решений (подыми бумаги!) написаны его рукой, он же добивался того, чтобы эти решения находили свои жизненные воплощения. Заслуги этого человека для всех были очевидны. Отчего же повышения по службе получали другие секретари, а не Шеремет?

— Отчего же так?.. — однажды напрямую спросил его юный Фрунзе.

Шеремет улыбнулся.

Они были одни в его кабинете, до этого читали книгу иностранного автора. Книга называлась «Тайная война против Советской России». Не каждый имел возможность ее прочитать и далеко не каждый имел право уносить ее домой. Отложив книгу в сторону, Шеремет поднял глаза на собеседника, еще раз грустно улыбнулся, сказал:

— У меня ведь, Тоадер, лишь среднее образование. Вот в чем заковыка.

Образование среднее... Между тем Тоадер был не раз свидетелем того, как Шеремет поражал своей эрудицией, своими познаниями в разных областях учителей, медиков, агрономов с высшим образованием. Нередко эти, последние, обращались именно к нему за разрешением сложнейших вопросов там, где, казалось бы, они сами должны были разбираться лучше его.

А когда он мог получить это высшее образование? Ушел на фронт тотчас же по окончании десятилетки. После войны сразу женился, «посыпались», как говорят в таких случаях на селе, детишки, теперь их уже трое, жена готовилась разрешиться четвертым. Она работала (точнее бы сказать, числилась) учительницей средней школы; товарищи по школе не успевали запомнить ее в лицо, так как женщина почти все время находилась в декретном отпуске или брала отпуск «за свой счет», чтобы присмотреть за ребятами, из коих кто-то непременно болел. До учебы ли было их отцу! Правда, занимается он заочно в республиканской партийной школе и не теряет надежды окончить в свое время и университет. Вот подрастут детишки, тогда...

Тоадер глядел сейчас на этого человека и молчал. Молчать при нем было тоже немалым удовольствием — с ним просто хорошо находиться рядом, видеть его грубоватой кладки фигуру, его глаза, как-то всегда действующие успокаивающе. Тоадеру было хорошо еще и

оттого, что сам он славно потрудился на уборке урожая, не подвели его и ребята из Валя Реутулуй — не жалели своих молодых, нерастраченных сил. Некоторые из них скоро припожалуют и сюда: подали заявления в комсомол, не без участия, конечно, его, Тоадера.

Было еще одно обстоятельство, позволявшее Тоадеру оставаться довольным собою. С честью, с незамутненной совестью вышел он из искушения, приготовленного ему судьбой, коей в данном случае оказался один из председателей сельсовета. Тот, с умыслом или без задней мысли, но поместил молодого комсомольского вожака на квартиру к разбитной вдовушке — жене погибшего на войне солдата. Может быть, скорее всего, так оно и было, может быть, председателю хотелось устроить судьбу молодницы, которая, как потом выяснил Тоадер, доводилась ему, председателю, племянницей.

Как бы там ни было, но поначалу молодой человек ничего не подозревал. Вернувшись с полей, он укладывался на лавочке, сейчас же засыпал и спал, что называется, без задних ног: так выматывала его хлебная страда. Молодая же хозяйка устраивалась на печке, за пригубком, поэтому Тоадер не мог видеть ее, если бы и открыл глаза. Так шло до тех пор, пока вдовушка сама не оказалась рядом с ним на широкой лавке. Была она в одной исподней, сшитой из грубого полотна рубашке и вся горела и обдавала горячим, дурманящим паром, будто выскочила из бани. Дышала часто и жарко. Он еще не отошел ото сна и не понимал толком, что происходит. Лишь ее торопливые, жадные и горячие поцелуи, опаленные лихорадочною желанью, сухие губы вернули его к действительности. Как ужаленный, подскочил он на лавке, с силою оттолкнул ее от себя, и та, застонав сперва зло, с предельной ненавистью прошептала что-то и, душаясь слезами, полезла на печь. В предутренних сумерках он видел, как женщина вздрагивает от судорожных рыданий, затыкает рот кулаком, чтоб не вырвался крик.

Не дождавшись полного рассвета, Тоадер покинул вдовью хижину, противный сам себе и кругом вроде бы виноватый. В тот день он боялся встретиться глазами с председателем, да и на своих комсомольцев почему-то не мог смотреть без стыда, и от них прятал ни в чем не повинные, в общем-то, очи: бывает с человеком и такое. По дороге думал и решал, рассказать ли о той ночи Шеремету или промолчать. Знает же Тоадер про пословицу: не бей в барабан перед глухой бабой. Была бы та вдовица комсомолкой, тогда бы он мог поставить вопрос об ее исключении. Исключения? А за что? В чем ее вина?..

Он шел и спрашивал себя, спрашивал, не находя ответа, как это обычно и случается с одиноким человеком на пустынной дороге.

Приближаясь к районному центру и встретив по пути такое множество хмельного люда, Тоадер был крайне озадачен: по виду то были крестьяне, степенный народ, хорошо знающий меру во всем, в том числе и в употреблении горячительных напитков. И вот на тебе: перепились! Расскажи кто-нибудь другой о таком отвратном зрелище, Тоадер не поверил бы, очень осерчал бы за мужиков, кинулся бы в драку на того, кто навлек на них хулу. Но ведь сейчас он видел их сам — развеселых, валяющихся где попало в самых разных позах, разухабистых, орущих всякий вздор. Помилуйте, что с вами содеялось, люди добрые?!

Лишь достигнув рынка, Тоадер открыл, наконец, истину. На рыночной площади оказалось еще немало добрых молодцев, которые теснились у буфета со стаканами вина, приготовленного на спирте и сдобренного нескуюю порцией сахара и по этой причине названного крепленным. В здешних же виноградарских краях прежде о таком вине слыхом не слыхивали, потому-то встреча с ним и оказалась для многих мужичков столь драматической: не тот градус! Видать, забыли они дедову присказку: сладкое вино, но к беде оно! Намаившись в поле, изнуренные тяжелой работой, изголодавшись на этой базарной сутолоке, терзаемые жаждой, мужики выпивали залпом по два-три стаканчика этого коварного напитка, который сначала почему-то ударял по ногам, а потом уж по голове, но с одинаково страшной и безжалостной силой. Сраженные таким образом люди уж не могли добраться до своих селений и лишь бесформенно разбросанными своими телами вдоль дороги указывали направление, куда бы им надлежало двигаться. Кто выпил не две и не три чарки, а чуть больше, далеко не ушел, того можно было увидеть сразу за околицей; по тому, на какое расстояние удалось продвинуться вкусившему крепленного, нетрудно определить, какое количество стаканов он опрокинул в себя, да только кому нужна такая бухгалтерия!..

Ну и винцо! Отведавшие его мужички еще долго будут крутить головами, чертыхаясь про себя, проклиная в душе изобретателя этакого зелья. Будут еще долго и тайно страдать от перенесенного стыда, от угрызения совести, каковое всегда посещает душу простого труженика, не переносящего разгульной жизни; не спрячешься за шуткой, когда в душе-то маета от того, что тебя могли видеть многие на обочине дороги в непотребном виде...

До войны город выглядел иначе. Дома теснились один к другому, так что издали или с высоты их можно было принять за улы, установленные на зимовку. Впрочем, ежели гля-

дети на них сверху, то угадывались и различия, прежде всего, конечно, по крышам: одни поновей, другие постарше, одни островерхие, другие как бы расплюснутые, придавленные чем-то тяжелым, хоть и невидимым. А вообще-то улицы во всю длину обозначались одинаково небольшими, по-братски жмущимися друг к дружке домиками. Горожане даже не называли их домами, а нарекли лавками. И, как всякая лавчонка, домишко имел две двери и окна, чаще же всего — одну дверь и два окна, с какою-то надеждой взирающие на улицу. И когда ты проходил по этой самой улице, непременно видел, что у входа в каждое такое заведение стоял либо продавец, либо маклер, либо приказчик, отчаянно зазывающий войти и глянуть на товары. Товары эти были так разложены, так вызывающе обнажены, что продавцу незачем брать вас под руку, водить вдоль прилавка и объяснять, что они из себя представляют. Сами же товары позаботились и о собственной рекламе. Из одних дверей в нос твой вторгался характерный запах шерстяных изделий, сукон, ситцев, разного полотна. Кисловато-сухой дух овчины встречал тебя раньше, тесня другие запахи и напоминая, чтоб ты не проходил мимо скорняжной мастерской. Домики ремесленников, в свою очередь, тоже источали особые запахи, и по ним ты можешь без большого труда, не прислушиваясь к жужжанию швейных машин и перестуку молотков по наковальне, определить, где находится портняжная, где кузница и где купаются в стружках и опилках плотники, столяры, бондари. Но лютая война уничтожила, стерла с земного лика не только эти домики, привычные формы и сутолоку людского поселения; война смыла все, заодно и помянутые выше запахи, с которыми так породнился и к которым так прикипел сердцем прежний житель городка.

На месте пепелища, там, где примарь-фашист во время войны сажал арбузы, прямо среди прошлогодних бахчевых плетей ютился дырявый сараишко, присвоивший себе громкое имя городской электростанции, а в сараишке — старый-престарый дизель с огромным сверкающим колесом, который затоплял всю площадь дымом, до того едким и вонючим, что с ним не мог соперничать даже кизячный дымок, курившийся денно и ночью на бахче примаря. Вместо огородного сторожа возле сарая вечно копошился механик, хромой и промасленный, кажется, до самых костей человек, тщетно пытавшийся дать свет городку. Иногда упорство, изобретательная ругань, проклятия, перемежаемые заклинанием и мольбою механика, все-таки пронимали железного ленивца: дизель, пофыркав, попрыгав, покашляв, посипев, начинал медленно вращать маховик. Это случалось с ним по утрам и по вечерам, словно бы механическое, слепое это создание догадывалось, что людям

надобно встать, одеться и обуться, наскоро поесть и уйти на работу, а затем, уже вечером, раздеться и разуться, поужинать кое-как и лечь спать.

Летом дизелю почти нечего было делать. Пробуждался он к жизни и деятельности только по субботам и воскресеньям, когда после часу ночи чутко накалял спирали электролампочек, укрепляя уверенность горожан в том, что война закончилась, и гася таким образом страх в глазах женщин и детей, для которых темнота и была символом войны, страха. Сам того не зная, старый дизель сделался большим другом всех жителей городка. Был этот друг хоть и норовистым, непослушным, притворным, потому что то и дело то умирал, то воскресал, останавливался по своей прихоти, когда ему захочется, — и все-таки это был друг, с капризами коего приходилось считаться. Для городского жителя он был существом одушевленным, а у живого существа есть свой и норов, есть и характер, оно, это существо, может быть и в плохом расположении духа и в хорошем, и от этого никуда не деться. Так и с дизелем: хорошее у него настроение — получайте, люди добрые, свет; плохое настроение — не обессудьте, света не будет, дизель умирал вместе со всеми электролампами города. Умирал на виду у всех, потому что по миганию лампочек люди видели, какой тяжкий недуг навалился на старое сердце дизелька, как трудно ему дышится. Бог с ним, пускай передохнет малость, говорили добросердечные люди, отвечая ворчунам и сварливцам, которых было также предостаточно. Потом снова появлялся свет, и как бы слаб, немощен он ни был, люди понимали: это — мир, это конец войне!

Что бы там ни говорили ворчуны, а кварталы города иногда все-таки освещались, освещались и его окраины. Деревья, сарай, превращенные в жилье, — всё, что ухитрилось спастись от войны и заново возродиться, выползло из темноты на свет, чтобы покупаться и покрасоваться в нем час-другой.

Людям жилось покамест очень трудно, впроголодь. Самой дорогой бумагой была та, на которой печатались продуктовые карточки. Карточки с крохотными отрывными талончиками, за каждым из которых — то, без чего совершенно немислимо наше существование: хлеб, жиры, сахар, крупа... Электросвет в те дни был чем-то вроде шика. Этот свет вернулся к людям как бы из мира сказов, из какой-то фантастической нереальности, и, как все нереальное, сказочное, он вспыхивал, светил какое-то малое время и исчезал, и вместе с его исчезновением люди возвращались к реальности: в жилых домах (далеко не во всех, конечно) загорались керосиновые лампы; в коротких промежутках — от угасания электросвета до возжигания ламп — в учреждениях, по кабинетам, можно было

увидеть отблески раскуриваемых сигарет или «козых ножек» — этих, последних, больше всего, потому что повсеместно курили почти одну махорку. Повышенным вниманием к себе со стороны курильщиков махорка обязана исключительно войне, отдающей, как известно, предпочтение всему грубому в противовес всему утонченному, а стало быть, и хрупкому, ненадежному; от сигарки, то есть «козей ножки», и дыму побольше для упонительного глотка, да и тепла для согревания коченеющих пальцев.

Итак, по учрежденческим кабинетам вечерними звездочками мерцали огоньки цигарок, перемещаясь по кривым линиям, повторяя жесты беседующих людей, указывая не только на направление, в которое устремлена рука жестикулирующего, но и на скорость этой жестикуляции, а значит, и на характер, на темперамент собеседников.

Тоадер Фрунзе приехал из села, и все повадки, привычки и обычаи города казались ему странными и даже смешными. В селе он всегда ложился спать рано. Еще засветло мать уже командует: «Спать, спать, нечего даром керосин жечь!» В вечерней школе на этот счет тоже было строго: лампу тушили тотчас же по окончании занятий, а зажигали ее лишь с их началом. Привыкший ко всему этому, теперь, находясь в помещении районного комитета комсомола, Тоадер чувствовал себя не в своей тарелке. Электролампочки то вспыхивали, то гасли. Люди принуждены были работать при двойном свете, а то и просто оставаться без света. Положение Тоадера Фрунзе было еще более затруднительным и по другим причинам: ему надобно было привыкать к жизни по обычаям и нормам городским: харчиться в столовой, когда были деньги; отоваривать продовольственные карточки. К тому же у него не было своего угла: найти квартиру в разрушенном и только еще возвращающемся к жизни городе было немисливо; он отдал бы с великой охотой и всю зарплату, и все свои карточки за одну самую малую комнатуху с самым скудным столом, но попробуй найди такую! Ничего не поделаешь: приходилось какую-то часть месяца (увы, не болыую!) питаться в столовой, что напротив райкома, а когда зарплата подходила к концу (а это случалось с нею почему-то очень скоро), сам кое-как готовил себе еду. Спать устраивался он тут же, в «казенном доме», на письменном столе. Подушкой при этом становились пачки газет, постелью — привезенный из дому самотканый коврик, а одеялом — армейская шинелишка. Засыпал, впрочем, как убитый.

Неудобств, как видим, было немало. Но Тоадер не жаловался. Как все крестьянские дети, он привык спать на твердом, чаще всего на широких деревянных лавках и скамейках: к тому же он был молод, здоров. Если честно при-

знаться, он и не замечал этих неудобств. Одно лишь плохо: надо было подыматься ни свет ни заря, чтобы не быть застигнутым уборщицей в то время, когда ты лежишь в служебном помещении, на рабочем столе, в одних кальсонах; на столе же на этом полагается лежать одним важным бумагам. Уборщица была весьма прилежной, у нее помимо райкомовского было еще несколько помещений, потому-то она и приходила на работу еще до свету, чтобы успеть управиться с делами к девяти часам, к началу занятий для всех остальных работников райкома. Во всех кабинетах, в коридоре — всюду вроде бы чисто, а она все-таки опять все моет, протирает, подметает, затем переходит через дорогу, принимается за столовую, затем переходит в здание исполкома, оттуда — в райотдел народного образования, а часов в восемь опять было слышно, как она гремит ведрами — уходит домой, но иногда по дороге снова завернет в райком комсомола — поглядеть, пришел ли на работу ее сын Жорик, инструктор: матери непременно надо спросить его, как он поел и как себя чувствует. Она обожала своего сына, глаз с него не спускала: он был единственным у нее, этот здоровенный детина, откормленный и избалованный ее заботами.

Дома, в селе, Тоадер тоже вставал рано. Но рано и ложился, потому и успевал хорошо выспаться. Здесь же поневоле он вынужден вставать до рассвета, когда еще весь город спал. Редко до восьми утра проходил какой-нибудь гражданин к колодцу за водой. Ты б его и не услышал, если б не принужден был подняться раньше положенного тебе времени. Тоадер же слышал, а вставать не очень-то хотелось, да и не было расчета вставать в такую рань, когда живешь на порцию в сто — двести граммов хлеба: проснешься — сразу же вспомнишь, и рука сама потянется к нему. Во сне и голод не так сильно чувствуется, но как только проснешься и протрешь глаза — начинаешь мучительно ждать, когда откроют столовую. А до открытия еще два часа — целая вечность! Как тут не позавидуешь тем, кто устроился на квартиру на всем готовом. Он, Тоадер, готов был позавидовать и женатикам, у которых находилось время отдохнуть, которые вели упорядоченную жизнь. Среди таких счастливых было у него несколько знакомых. Разве это не чудо, когда ты имеешь собственный угол, сможешь вовремя умыться, выпить стакан чаю или молока и успеть еще у себя дома почистить свои туфли! Любая мелочь — чистка ботинок, костюма — вырастает в городе в целую проблему. Между тем хорошо отутюженная одежда, брюки со стрелкой были для Тоадера едва ли не самой заветной мечтой. Мечтой, увы, недосыгаемой в условиях, в которых он жил. А жил он, неприкаянный, как ночной сторож, слоняющийся по кабинетам и служебным комнатам райкома

комсомола. Негде было даже глянуть на себя в зеркало.

Кроме того, не очень-то хорошо быть невольным свидетелем и созерцателем кое-каких явлений, которые обычно хоронятся от чужого глаза. Они же сами открывались его взору через окна коммунальных квартир в доме напротив. А в доме этом как раз жил и Алексей Иосифович Шеремет. Это был один из первых домов, построенных после войны.

Тоадер Фрунзе очень любил Шеремета. Тот дал ему рекомендацию для вступления в партию, хорошо знал комсомольскую работу, помогал Тоадеру оформлять комсомольскую документацию, учил многому другому, о чем новоиспеченный руководитель комсомольцев и понятия не имел. Мог ли подглядывать Тоадер в окна такого человека даже нечаянно?

Его старший товарищ и наставник, Алексей Иосифович Шеремет, по обыкновению, вставал еще раньше. Тоадер нередко видел, как он тащит на коромысле два ведра воды. Приметив за оконной рамой фигуру комсомольского вожак, Шеремет смущенно останавливался, опускал ведра на землю, заходил в райком и вместе с юным другом коротал время до открытия буфета в столовой; ведра с водой при этом терпеливо ждали своего хозяина на улице. Открытия буфета ждал, к тому же, и сам Шеремет: он порешил расстаться с курением табака, но не сразу, одним решительным рывком, а постепенно, поэтапно, как он говаривал сам, покупал только по две-три папиросы в день. Но лишь курильщики знают, как нелегко им дается расставание с этим благоприобретенным пороком. Он крепко держал в своих цепких когтях и душу Шеремета, и последний с тем же, что и Тоадер, вождельным нетерпением ожидал всякий раз, когда откроется буфет.

В общем, они оба ждали, а ожидание вдвоем было не столь уж мучительным.

Но однажды поутру Шеремет открыл ставни, распахнул пошире окно и далеко высунул голову, чтобы, очевидно, побольше набрать в легкие свежего воздуха, и замер в таком положении. Тоадер ждал, что вот сейчас его друг вернется в комнату, накинёт пиджак, спустится по лестнице вниз и покажется на улице — хотя бы и с ведрами. Но произошло другое. В окно, через плечо Шеремета, высунулось миловидное личико его жены. Женщина потерлась своею щекой о его щеку, взъерошила его прическу, растрепала мальчишеский чуб своею маленькой, белой и шаловливой ручкой. Затем беззвучно засмеялась и принялась тыкать в его спину то одной, то другой голой грудью. Затем ставни окна вновь захлопнулись и не раскрылись долго...

Когда Шеремет наконец появился и зашел к Тоадеру, тот не мог поднять на него своих виноватых глаз, прятал их, уводил в сторону и

одновременно ловил себя на постыдной, грешной мысли о том, что он, Тоадер, ничего не имел бы против, если бы назавтра эта сцена в Шереметовом окне повторилась. Уличив себя, как преступника, он покраснел до слез и в смятении не мог увидеть, что сам Шеремет держится с ним просто, поздоровался, как всегда, за руку, назвал Тоадера, как уж водится, комсомольским богом и закончил приветствие какой-то своей шуткой. Затем, разминая сигарету, спросил самым серьезным тоном:

— Слышал новость?

— Какую новость?

— Начнем битву за колхозы.

— Ну... Какая же это новость? Битва-то давно началась.

— Ты хочешь сказать, что у нас в районе уже есть два колхоза? Да, да, есть... Но эти первые ласточки мало что значат. Деревеньки по сто хатенок в каждой — какие же это колхозы! У нас еще двадцать три села, притом очень больших! Вот к ним-то и надо приступить.

Алексей Иосифович никогда не приходил в райком с пустыми руками. Непременно приносил какую-нибудь новость, а то вытаскивал из кармана газету со статьей, подчеркнутую в интересных местах; нередко приносил книгу либо брошюру; заодно старался сделать Тоадера Фрунзе соучастником рабочих планов райкома партии, при этом добивался того, чтобы он высказывал свою точку зрения на все дела района. Поощрял его к этому чаще шуткой, нередко приправленным солью словом, с тем, однако, чтобы никоим образом не задеть самолюбия юноши, не оскорбить чувства достоинства. Надобно решительным образом не понимать юмора, чтобы обидеться на легкие, незлобивые, насмешливые уколы Шеремета. Будучи заведующим отделом агитации и пропаганды районного комитета партии, Алексей Иосифович вел и направлял всю работу парткабинета, руководил лекторской группой, политкружками, агитаторами, вечерней партийной школой, сам читал лекции, рефераты и имел постоянное поручение бюро райкома помогать комсомолу.

Тоадер очень обрадовался, когда Шеремет с первого этажа поднялся на второй, что означало: Алексей Иосифович стал вторым секретарем райкома партии. Вместе с радостью где-то в глубине души Тоадера шевелилась и маленькая тревога: не слишком ли высоко поднялся Шеремет, сможет ли он остаться таким же простым и доступным, каким был до повышения, можно ли будет с ним по-прежнему встречаться, обмениваться шутками; короче говоря, не потеряет ли теперь Тоадер Фрунзе старшего друга? Может ведь случиться и так: перестанет Шеремет забегать в буфет за теми двумя-тремя папиросами, а будет хранить целую пачку в ящике своего рабочего стола, как делает это

(Тоадер видел) первый секретарь? На все эти вопросы способно ответить только время.

Когда Тоадер вернулся из поездки по району, его пригласили на второй этаж к Шеремету. Двери кабинетов на втором этаже выглядели совсем иначе, чем их ровесницы на первом. Обитые дерматином, не скрипучие, молчаливые, они словно бы хранили некую тайну, доступную лишь очень немногим. Вызванный и неизбежно дожидавшийся, когда такая дверь отверзнется для него, испытывал волнение, какое испытывает человек перед неизвестным: а что там, за темным этим дерматином, зачем вызвали?

Однако в приемной Шеремета не было секретарши, своим строго-официальным выражением лишь обостряющей чувство тревожного ожидания у вызванного, и обитая дерматином дверь показалась не такой уж суровой, от нее не веяло холодком «казенного присутствия», не могла она оборонить хозяина ни от посетителей, ни от холода, свободно вторгавшихся в кабинет. Шеремет сидел, накинув на плечи какую-то шубейку, и писал. На Тоадера не поднял глаз: был очень занят своим сочинением; на нижней губе у него висела преогромная самокрутка, — она-то прежде всего и бросилась в глаза вошедшего: второй секретарь райкома курил махорку! Ну и ну!

Наконец Алексей Иосифович закончил писать. Фрунзе к этому времени уже успел рассмотреть его хорошенько и, к своему удовольствию, не обнаружил никаких изменений в его внешности. То же мальчишески маленькое, продолговатое лицо, тот же безукоризненно четкий пробор, который обычно бывает у людей с мягкими волосами и твердым характером.

— А-а, комсомольский бог?! Ого! Пришел полураздетым? И рукава засучил на рубашке... Это в мой-то холодильник!.. Ну что ж, садись, герой. Тут тебя такая дрожь проберет, будь здоров!..

Тоадер Фрунзе в ответ должен был сказать что-то, да не знал, что именно. Ему ведь неведомо было, зачем его вызвали, так что лучше, пожалуй, пока помолчать. Но не выдержал и спросил:

— Вы что же, Алексей Иосифович, перешли на махорку?

— Вот когда ты женишься и у тебя народится куча детишек, тогда и ты, брат, вспомнишь о махорке. Особенно ежели жинка твоя одарит тебя в течение трех лет тремя дочерьми...

— Но у вас есть же и мальчик.

— Есть и мальчик. Всё у нас есть.

Помолчали. Тоадер чувствовал, как краска стыда быстро заливает его лицо. Ему вспомнилось то утро, когда он таращил глаза на окно Шеремета, вновь как бы увидел его худенькие голые плечи, белую ручку жены, обнаженную ее грудь, тыкающуюся в спину мужа. Тоадеру

показалось, что между тем случаем и вот этим их разговором есть какая-то не названная, но ощутимая связь.

— В холостяках все пребываешь? И без квартиры? — отвел разговор о себе Шеремет.

— Квартиру ищу, да все безрезультатно.

— Ну, мы поможем тебе, но только не теперь. Пока и нужды в ней у тебя не будет...

Шеремет вертел в руках книгу, наблюдая, какой эффект произведут его слова на собеседника. Тоадер Фрунзе насторожился, пытался что-то прочесть на лице секретаря райкома, но лицо это было покамест непроницаемо.

— Ты читал эту книгу? — спросил вдруг Шеремет. — Вижу, что не читал. А прочесть нужно. Это может пригодиться тебе. И очень.

Он снова соорудил из газетной дольки цигарку. Лишь теперь Фрунзе заметил, что два пальца, удерживающие самокрутку, сильно припухли в суставах. Шеремет как-то обронил в разговоре, что отморозил руки на фронте, но Тоадер тогда не видел, чтобы это оставило какой-то след на руках товарища.

— Не знаю, обрадую тебя или нет, — продолжал между тем Алексей Иосифович. — Но бюро райкома... я, признаться, настоял... приняло решение направить нас с тобой в Кукоару... Догадываешься, зачем?.. Да, брат, будем помогать рождению нового колхоза. Вот какие дела!

— В Кукоару?! — воскликнул Фрунзе.

— В Кукоару. Но ты не очень-то ликуй. Все вещи имеют две стороны. Одну ты увидел и возрадовался. А другую, оборотную, увидишь потом. Палка о двух концах. Так, кажется, говорят?

— Это предупреждение драчунам.

— Поговорим сперва о лицевой стороне, которую ты сразу же узрел и возликовал. Признаюсь, и для меня она оказалась привлекательной, когда я остановился на тебе в своем выборе. Ты хорошо знаешь своих односельчан, они — тебя. Это уже немало. Это, что называется, наш с тобою актив. А пассив? А оборотная сторона? Это то, что своего человека, к тому же такого юного, люди могут и не послушаться, не поверить ему: мал авторитет. Ишь ты, скажут селяне, приехал из города сынок Костак Фрунзе учить нас, как жить на свете. Молокосос! Вот она, оборотная сторона медали!

— Как бы она не оказалась посильнее лицевой, Алексей Иосифович, — чистосердечно вздохнул Тоадер. — Перетянет чашу весов в свою сторону.

— Не перетянет. Ты позабыл, верно, что на одной с тобой чаше на тех весах буду и я. Так ли уж это мало, а, комсомольский предводитель?

— Я верю в ваш авторитет, Алексей Иосифович, но...

— Никаких «но»! Вижу, что усики твои едва-едва пробиваются, знаю, что таким беззубым, желторотым крестьяне с сомнением глядят в глаза, долго примериваются, прежде чем пойти за ними. Но ведь поддерживали же тебя мужички в Кукоаре, когда ты учил их детвору читать и писать, прислушивались к твоим советам!

— Я не только учил ребят в школе, но и взрослых — в ликбезе. Но это ж совершенно иное дело.

— Не думаю, чтобы тут была такая уж большая разница. Учитель в школе с давних времен слывет в народе как учитель жизни. Особенно на селе. Так что ты это учти, молодой человек. Да не забывай при этом, что по субботам и воскресеньям я буду приезжать и помогать тебе. Жаль только, что твоего отца сняли с председателей сельсовета.

— Мне неудобно было спрашивать, но вот хоть теперь, может быть, вы скажете мне, за что же он был снят?

— Не пришло еще время. Тоадер, чтобы ты узнал всю правду, — нахмурившись, сразу как-то потемнев лицом, сказал Шеремет. — Нету у меня, брат, пока таких прав, чтобы рассказать тебе все. Но будь уверен, наступит такое время, когда ты узнаешь и про это. Однако ты можешь быть спокойным: за твоим отцом нету никакой вины. И все-таки он не мог долее оставаться на своем посту. Не мог, понимаешь?!

При расставании Шеремет передал Тоадеру книгу, которую до этого вертел в своих руках. Дружески встряхнул юношу за плечи, широко улыбнулся, и Тоадер сообразил, что дальше спрашивать ни о чем не следует: все, что мог, Шеремет уже сказал ему. И этого сказанного было достаточно, чтобы светлая волна радости заполнила его сердце: отец не совершил никакого преступления, даже проступка.

В дверях Шеремет засунул руки за ремень гимнастерки, что делал всегда при добром расположении духа, и расхохотался:

— Когда же ты, друг, одолеешь эту книгу при твоём-то чудовищно скудном запасе познаний русского языка? Пожалуй, коллективизация закончится раньше, чем ты доберешься до последних страниц. Ха-ха-ха!

В вечерней школе районного партактива Тоадер, как, впрочем, и все остальные слушатели, его сверстники, добрался лишь до четвертой главы «Краткого курса», но к тому времени учебник этот уже был переведен на молдавский язык. А эта книжица отпечатана на русском языке, казавшимся в ту пору совершенно непреодолимым препятствием для него, Тоадера Фрунзе. Спускаясь по лестнице, он не удержался и глянул на заглавие фолианта. Вверху обложки прочитал по слогам: «Михаил Шолохов». Ниже, на том же обшмыганном, сером, выцветшем переплете было напечатано:

«Поднятая целина». Еще ниже, малюсеньким шрифтом, с великим трудом различимом на потертом картоне, проступало еще одно слово: «роман».

Что же она из себя представляет, эта книга? Она была второй на русском языке, которую должен был прочесть Тоадер. До нынешнего дня в течение полугода с помощью словаря ночами он читал книгу Ванды Василевской. Там под заголовком значилось: «повесть». И Фрунзе ничего не понял из той повести, и, конечно же, не потому, что она была непонятной или малосодержательной. Одолев с величайшим трудом одну фразу со словарем, он приступал к следующей и, пока маялся с этой, начисто забывал, какой смысл несла фраза предыдущая. Вконец измаявшись, он как бы наливался свинцовой тяжестью отупения и утрачивал всякий интерес к книге. И все-таки прочел ее до конца, обязанный исключительно своему врожденному упрямству. Прочесть-то прочел, а что осталось в голове от прочитанного? Да решительно ничего, о чем и рассказал Тоадер со всей возможной откровенностью своему наставнику Алексею Иосифовичу Шеремету. Не рассказать не мог — тот и так бы догадался: Шеремет имел обыкновение заглядывать в районную библиотеку, чтобы узнать, кто из его сотрудников является ее читателями.

Как же, однако, быть вот с этой книгой? Что это за целина такая, которую подняли?

3

В селах и деревнях из Валя Реутулуй Тоадера Фрунзе можно было бы принять за горожанина. Люди видели, как он наклонялся, с удивлением рассматривал землю, будто видел ее впервые. Между тем он был и оставался крестьянином. Приглядывался же он к землям потому, что в разных селениях они были разные, как и сами селения и как люди, проживающие в них... Недаром же говорится в миру: сколько на свете домов, столько же и обычаев. Понятно, например, что селения, выросшие на черноземной, плодороднейшей равнине Валя Реутулуй, не были похожими на села лесистой полосы. Там, на равнине, землю пахали двухлемешным плугом, а тут, на крутых лесистых склонах, четыре быка не смогли бы стронуть с места такой плуг. На полях Валя Реутулуй и бороны были другие — железные, фабричного изделия, народ называл их «грапэ». На берегу Реута Тоадер впервые увидел и странные колеса, с помощью которых поливались крестьянские огороды. Вместо ветряных мельниц там были водяные. А ведь те и эти селения стояли друг от друга всего лишь в нескольких часах ходьбы от одних к другим — и такая разница между ними! В молдавских Кодрах, в лесной,

гористой полосе, даже не все мужики умели косить, в то время как в Валя Реутулуй виртуозно владели косами даже женщины и девушки.

Сколько домов — столько и обычаев. В некоторых селах на хоровод девушек приводили сами родители, нередко с музыкой. В других парень приходил сам в дом своей возлюбленной, выпрашивал ее у отца с матерью и вел на хороводную площадку — брал, так сказать, девицу под свою ответственность. Тоадеру Фрунзе нравилась такая традиция, с удовольствием ввел бы он ее и в Кюдрах. Но обычаи есть обычаи. Их не выдернешь с корнем в одном месте и не перенесешь легко на другое, как фруктовое дерево. Народ крепко-накрепко придерживается тех, что унаследовал от предков.

Не все, впрочем, обычаи, традиции, с точки зрения Тоадера, заслуживают одобрения. То, что девчат приводили к хороводным игрищам с музыкой, безусловно, хорошо; что испрашивают родительского разрешения на такой увод и берут под свою опеку, тоже славно: тут самим обычаем облегчалось сближение молодых пар, юных существ, с тем чтобы они загодя узнали побольше друг о друге, узнали прежде и задолго до того, как заключить брачный союз. К тому же на селе всякий знает меру своим поступкам, то, чего можно, а чего нельзя, помнит о «длине своего носа», то есть о границе дозволенного. Размышляя, однако ж, о традициях, Тоадер Фрунзе находил, что некоторые из них нуждаются в поправках: многое из традиционного начиналось очень хорошо, а кончалось худо, на его, разумеется, Тоадера, взгляд. Он, например, не мог понять, зачем это степные парни при хороводе разувались и плясали цыгански до умопомрачения, подымая такую вокруг пылью, что уж не видать, что тут, на площадке, происходит. Да и верхнюю одежду сбрасывать с себя ни к чему — это уж форменное безобразие!

Правда, не во всех степных селах поступали именно так. Ведь и в Валя Реутулуй селения не были похожи одно на другое. Были села овцеводов, чабанов, и села, где почти каждый парень имел свой велосипед. Ежели в лесных местах парень считался полноценным, то есть вполне готовым женихом, лишь тогда, когда на его плечах оказывалась собственная шуба, хромовые сапоги с галошами на ногах и верховая лошадь во дворе, то в степных парень становился парнем только тогда, когда приобретал велосипед.

Если б традиции и обычаи менялись легко, то первое, что сделал бы Тоадер, ввел бы во всех селах этой степной зоны традицию высаживать фруктовые деревья вокруг всех домов. Ничего, с его точки зрения, нет более тоскливого и печального, чем добротная, красивая изба, окруженная каменным забором, без единого деревца или растения. Видел же он окрест

именно такие хаты — хаты, не обласканные ни единым зеленым кустиком. Лишь кое-где у ворот или колодезного журавля притулится одинокое и оттого сиротливое деревце акации, и все. Впрочем, ночью не так чувствовался этот уныло-печальный, однообразный вид селения: ночные призрачные тени преобразовали его чудодейственным образом, делали сказочно нарядным, особенно при загадочном и молчаливом лунном освещении. Но стоит взойти солнцу, как эта призрачность исчезала, изба сейчас же сникала, как цветок, лишенный освежающей и оживляющей его капли росы. Место вокруг домов принадлежало их обитателям. У них были еще просторные дворы, большие огороды на задах. Но ни там, ни тут, ни в огороде, ни во дворе, ни против дома, у окон, ни единого деревца, которое могло бы бросить тень, где можно было бы поставить повозку и укрыть уставшую лошадь от лютых солнечных лучей.

В самый полдень, когда небесное светило распалось во всю свою мощь и поджаривало Валя Реутулуй, как на гигантской сковороде, чувство одиночества, неприкаянности и безотчетной тоски наваливалось на душу Тоадера и ему хотелось бросить все к чертям и убежать далеко-далеко, вон хотя бы к тем зеленеющим деревьям и дрожащим в текучем мареве холмам. Раздувая ноздри, памятью обоняния он воскрешал и жадно впитывал всей грудью запахи трав, ароматы прохладной, влажной листвы, едва уловимые, тончайшие и нежнейшие благоухания ландышей, незабудок, подснежников; напряженным слухом улавливал и шелест этих трав, и перешептывание верхушек деревьев, и щебетанье птиц... Все это можно было бы еще живее и яснее почувствовать и увидеть во сне, но за день так намаешься, так намотаешься, что уснешь без всяких сновидений, спишь как убитый. У районного комитета комсомола было слишком много планов, чтобы оставить место еще и для романтических снов у одного его деятеля. Изюм в день, как из рога изобилия, сыпались на него телеграммы и телефонограммы из Кишинева и Оргеева, решения, отпечатанные на ротаторе, и разные сброшюрованные и несброшюрованные, большие и малые, директивы. Чуть ли не каждый день добросовестно исполнявшая свои обязанности почта доставляла Тоадеру опечатанные сургучом пакеты. За этими печатями обычно покоилось перечисление всех его прегрешений и упущений; достаточно вскрыть этот большой, обычно красный, пугающий конверт, и ты узнаешь про многое: про то, например, что район твой отстает с привлечением молодежи в комсомол, что сельские комсомольцы недостаточно активны (по твоей, разумеется, вине) в весенней вспашке и засевах вдовьих участков земли, плохо помогают инвалидам Великой Отечественной войны, не выполняют задание по сбору лекарственных

трав и растений, заваливают план сеноуборочной кампании. Свой райком партии тоже не упустил случая, чтобы подхлестнуть комсомол, подбросить им еще какое-нибудь новое задание. До сладких ли сновидений Тоадеру Фрунзе!

Нами было уже сказано выше, что во время войны примарь, назначенный гитлеровскими оккупантами, продал весь камень от разрушенных домов и различных построек города и на том месте, где некогда подымались многоэтажные здания, посадил бахчу. По изгнании фашистов комсомольцы затеяли было разбить на этом месте городской парк: идею эту им подсказал районный комитет партии. Едва ребята приступили к делу, сейчас же обнаружили: под бахчой, под арбузными плетями находилось множество каменных погребов и бункеров, полуразрушенных, полуразбитых. Работа, которая и без того была бы нелегкой, теперь усложнялась и утяжелялась в десятки раз: попробуйте-ка извлечь землю на большой площади от этакой-то начинки! И это должны были сделать комсомольцы — больше никому.

В памяти Тоадера, словно стихи (хотя сочинение это было далеко не похожим на поэму), были строчки из одной директивы.

Вот они:

«В селах нашего района нет ни одной партийной организации и, следовательно, все организационные работы, всю ответственность за политическое воспитание масс несут на себе комсомольские организации — верные помощники и надежная опора партии».

Что и говорить, лестные это были слова, особенно если учесть, что они полностью соответствовали действительности. Комсомольцы, в самом деле, были всюду; принимали самое непосредственное и наивысшее участие во всех политических кампаниях: в распространении государственных займов, на весенней посевной, в летнюю хлебную страду по организации красных обозов — повсюду комсомол обязан быть в авангарде. А когда какая-нибудь комсомольская организация отстраняла от должности саботирующего предсельсовета, арестовывала его и сажала для острастки дня на два под домашний арест или под замок в сельсоветском же погребе, на бедного Тоадера Фрунзе коршунами налетали и прокурор, и начальник районной милиции. Да и районный комитет партии не гладил его по головке за этакое-то самоуправство горячих комсомольских активистов.

Не так уж и много было подобных случаев, но всякий раз Тоадера вызывали в райком партии для объяснений. Вызывал его, как по тревоге, обыкновенно Алексей Иосифович Шеремет. Еще задолго до того как предстать перед его очами, Тоадер видел, как тот поглаживает свой подбородок и разглядывает Тоадера, как совершенно незнакомого человека. Когда Ше-

ремет держится вот так, знай — не к добру, приготовь себя к тяжкому разговору, ибо случилось что-то чрезвычайное и, конечно же, неприятное. В такую минуту ты был бы рад-радехонек поскорее получить самый строгий нагоняй, лишь бы избавиться от психологической пытки. Но Шеремет не торопился с нагоняем. Он еще долго «изучал» тебя иронически-улыбчивыми глазами и только уж потом начинал тихо, вроде бы, осторожно, но довольно чувствительно по-калывать тебя и словами:

— Х-м... Ты знаешь, что твои орлы сняли с работы Урсу?

— Нет, не знаю...

— Повторяю, это сделали твои комсомольцы.

— Ну и хорошо сделали. Пьяница несусветный этот Урсу. Он и справки выписывал не в сельсовете, а где попало. Положит печать в полотняный мешочек, упрчет за пазуху и отправляется по селу. Во дворах тех, кто собирался на базар, расправлял бумажку прямо на винной бочке и выводил: «Справка», затем макал печать в содержимое бочки и прикладывал к бумажке. Вот он какой председатель, ваш Урсу!

— Стало быть, ты одобряешь действия твоих комсомольцев?

— Он только позорил Советскую власть.

— Я спрашиваю тебя о другом: одобряешь или нет?

— Не одобряю, но...

— Никаких «но»! Это же самоуправство. Председатель сельсовета — должность выборная. Это-то ты должен был знать. Вот поезжай-ка поскорее туда, собери комсомольское собрание... Объясни им... И вообще, должен тебе сказать, Тоадер, никакой там у вас воспитательной работы не ведется... Может, не так? Может, «не в курсе» Шеремет? А? Чего же ты молчишь, комсомольский предводитель? Крыть, брат, нечем! — И Шеремет рассмеялся; смех этот смахнул с его продолговатого лица всякую суровость; Тоадер Фрунзе не заметил, как уже и сам стал хохотать.

— Этак-то твои орлы и меня могут снять с работы. Ворвутся в кабинет, скоман্দуют: «А ну-ка, товарищ Шеремет, слазь!» Ха-ха-ха! Потом возьмутся за прокурора — у него ведь рыжая борода; затем снимут начальника милиции, и так всех подряд... От них всего можно ожидать. Силой, говорят, привели того бедного Урсу на комсомольское собрание из-под домашнего ареста, объявили там ему свою волю и... прости за колоритное словцо... под зад коленкой. Сняли, называется. Ну и артисты!.. Кто там у них секретарь комсомольской организации?

— Ирина Урсу.

— Родственница, что ли?

— Родная дочь.

— Дочь? Его дочь?

— Да, дорогой Алексей Иосифович, Ирина Урсу — дочь председателя.

— Ну и ну! Дела-а-а! Наверное, мать подговорила, чтобы отучить от пьянства...

— Нету у Ирины матери, Алексей Иосифович. Председатель овдовел. Вся семья у него — одна дочь. И любит ее до смерти, хоть и пьянчужка. Из-за Ирины не женится во второй раз. Неловко, говорит, перед дочерью, стыдно. Она у него единственная. Жена умерла при родах. Да и эта, Ирина, появилась у него поздновато, почти под старость. Оттого, наверное, и дорога она ему так...

— Х-м... Отчего же я ее не помню? — Шеремет потер виски. — Урсу, ее отца, хорошо знаю. Добродушный такой, мягкий человек... Так ведь?

— Безвольный, как все выпивохи. Опрокинет стакан — можешь веревки вить из него.

— Ну что ж... Поедете туда вместе с инструктором райисполкома. На месте будет виднее, что нужно делать. Если не образумится, не перестанет заглядывать в рюмаху чаще, чем полагается, придется собрать селян и освободить его от должности. Может быть, по сути дочь и права. Однако по форме... Ты не скаль зубы, товарищ Фрунзе, форма и формализм — далеко не одно и то же. Выбирал Урсу народ, он же и должен снять его с работы, если заслужил того. Понял? То-то же.

Говоря по правде, Тоадер Фрунзе мог ожидать такого поступка от кого угодно, только не от Ирины Урсу. Она была очень смышленной девчонкой вообще, хорошо разбиралась в делах комсомола, считалась самым подготовленным, знающим секретарем организации, продолжала учиться в седьмом классе вечерней школы. Соверши такое, скажем, Илье Унгуриану, комсомольский вожак из Кукоара, Тоадер ни капельки бы не удивился этому: от Илье с его необузданным анархическим характером можно ожидать чего угодно, он мог отмочить штуку и похлеще. Как ни отчитывал его Тоадер, как ни наставлял на путь истинный, тот знай гнет свою линию. Недавно раздобыл где-то немецкие сапоги с широкими, как конные ведра, голенищами, засунул за одну из них старую, ржавую ракетницу, заявился к концу занятий в вечернюю школу и потребовал от учителей, чтобы они выставили ему отметки «по всем предметам». Учителя, естественно, протестовали, возмущались, указывали ему на то, что он не посещал уроков, — о каких же отметках может идти речь? Тогда Илье Унгуриану кивком головы указал им на рукоять ракетницы, очень смахивающую на ручку пистолета, и сообщил совершенно серьезно, что не мог посещать занятий из-за Гицэ Могиля, бандита, за которым гонялся целую неделю и которому лишь каким-то чудом удалось увернуться от меткой пули Илье Унгуриану. В другой раз, однако, Илье не промахнет-

ся, будьте уверены!.. Учителя немного посмеялись, они готовы были даже согласиться с Илеей, что тот действительно и непременно изловит бандюгу, похвалили его даже за очевидную храбрость, но выставить отметки все-таки наотрез отказались к немалому огорчению и удивлению парня. Однажды в клубе, во время танцев, он лишился и своего единственного грозного оружия — ракетницы: кто-то украдкой вытащил ее из-за голенища. Илье погоревал немного, но очень скоро нашел превосходный выход из положения — из старого виноградного корня вырезал подобие револьвера, отполировал болванку, придал ей законченные формы, рукоятку для вящей похожести обернул серебристой бумажкой от шоколадной плитки — и вновь был вооружен на славу... Кое-что из иных приключений было попросту приписываемо Илье, потому что казалось уж очень неправдоподобным. Рассказывали, например, что по ночам Унгуриану, водрузив на голову меховую шапку с красной лентой, ходит по селу, изображая из себя партизана. Где во всем этом кончалась правда и начиналась выдумка, трудно было угадать, тем более что иные коленца, которые в действительности выделывал Унгуриану, не мог бы сочинить и самый искусный выдумщик. И все-таки приходилось мириться с таким фактом, терпеть буйного фантазера и выкидывателя разных номеров во главе комсомольской организации села Кукоара.

Девчата были более надежны для такой работы. Они дисциплинированы, аккуратны. Ирине Урсу, скажем, не нужно было десять раз объяснять, как проводить комсомольские собрания, оформлять протоколы этих собраний, вести всю документацию организации, собирать членские взносы. Комсомольские дела и вообще нехитрое комсомольское хозяйство хорошо вели девушки, для ребят же это была страшная морока, непосильный и совершенно нежеланный труд. Но такие хлопцы, как Унгуриану, уж очень хороши и надежны были в другом. Они вам наилучшим образом организуют красные обозы по вывозке хлеба в государственные сусеки, будут гоняться за бандитами по лесным чащобам, вспашут и засеют землю для солдатских вдов и инвалидов войны, только, ради всевышнего, избавь их от ведения комсомольской бумажной документации, да, для этого они решительно не годились. И все-таки они вели, но как!.. Например, в организации Илье Унгуриану все протоколы и решения собраний были предельно кратки, как указы или статьи из законодательных кодексов. Вот для наглядности некоторые выдержки, которые могли бы подтвердить то, как немного требовалось Илье бумаги, чтобы ясно была главная суть обсуждаемых его комсомольцами вопросов:

«Было решено, чтобы все комсомольцы посещали вечернюю школу»; «Было решено вспа-

хоть школьный участок»: «Было решено собрать золу»; «Было решено организовать красный обоз»; «Было решено поймать бандита Гицэ Могылдя»; «Было решено помочь в вывозке хлеба по госпоставкам»...

Спросишь Унгурияну, кто выступал на собраниях, что говорил, почему все это не отражено в протоколе, он лишь моргает невинными, как у ребенка, глазами, смотрит на тебя с крайним удивлением. Потом внезапно вспыхнет, как спичка, и обрушит на тебя потоки гневных, раскаленных и оттого неударимых слов. Обычно в таких случаях выпадал: «У нас нет времени на разные там выступления, мы не ведем протоколов, не разводим бюрократию!.. И форменную комсомольскую одежду нам не выдают, и зарплаты у нас нету. Все делаем бесплатно. Мать хочет уж из дому выгнать. Все, говори, работаешь на других, а я, старая, должна тебя обувать, одевать да еще и кормить!»

У Илие была только мать, и она действительно постоянно попрекала его тем, что не думает ни о ней, ни о себе, ни вообще о доме. Илие обычно отмалчивался, материны попреки не очень-то тревожили его, во-первых, потому, что он впускал их в одно свое ухо и сейчас же выпускал в другое, чтобы, чего доброго, не проникли в его душу, во-вторых же, потому, что не придавал им особого значения, поскольку и мать свою относил к отсталым элементам села, от которых ничего путного не дождеешься. Попытался было Илие хоть немного перевоспитать ее, отлучить, например, от церкви, снимал даже иконы в избе и прятал их на чердаке, но богомольная женщина подымала такой шум и вой, что сын был уже не рад тому, что связался с нею.

Да, Илие Унгурияну был трудный «кадр», но где взять другие! Парни и девушки были почти сплошь неграмотны или такие, которые для составления протоколов и написания решений пользовались алфавитом чуть ли не всех языков мира, и в документах, оформленных таким образом, не мог бы разобраться сам царь Соломон. О грамматике тут и речи быть не могло. Бумага, заполненная частью славянскими, частью латинскими буквами, стороннему человеку представлялась неразрешимой загадкой. Легче, пожалуй, расшифровать египетский папирус времен фараонов, нежели документ, написанный, например, рукою Илие Унгурияну. Дела комсомольцев были у всех на виду, и каждый мог судить, где они хороши, где плохи. Но попробовали бы потомки судить об этих делах по протоколам и решениям, какая бы искаженная и фантастическая картина представилась им! Скорее всего сочинения Илие Унгурияну, равно как и свидетельствам, оставленным руками таких же, как он, грамотеев, суждено будет оказаться в общечеловеческом хранилище всех нерасшифрованных хроник на свете.

После всего сказанного нетрудно будет понять, какую же драгоценность представляли собой такие хоть сколько-нибудь грамотные секретари, как Ирина Урсу. И на тебе! Именно Ирина не нашла ничего лучшего, как посадить под арест своего отца-председателя, продержала его сутки под строгой охраной двух здоровенных парней, затем привела его, словно на суд, на комсомольское собрание и вынесла суровый приговор: снять с работы, то есть с поста главы села, с должности председателя сельского Совета...

4

В прежние времена, когда ему необходимо было идти лесом, Тоадер Фрунзе менял дороги и тропы — просто так, для разнообразия. Он знал множество лесных дорог и среди них ту, что обязательно приведет прямо к дому. Тогда он это делал из желания полюбоваться лесом в разных его местах, совершал прогулку по нему ежедневно, утром и вечером, когда ходил в районную среднюю школу, или раз в неделю, в зимнюю пору, и никогда не мог насладиться лесными запахами, неразгаданными его загадками и тайнами, его сменяющимися красками, вечною его новизной. Кодры для него были второй книгой земли, и хотелось раскрывать, раскрывать и читать, читать, читать эту книгу.

Теперь же он бродил по лесу по другим, менее поэтическим причинам и мог повстречаться не только с лесными чарами, но и с Гицэ Могылдя или другими членами его банды. Правда, на случай такой встречи Тоадеру выдали в милиции пистолет. Но что значил этот пистолет в лесу, который был завален и пулеметами, и автоматами, когда любой прохвост мог без всякого труда вооружиться до зубов! Даже пасущие тут скотину ребятишки могли сколько угодно подбирать оружие: гранаты, винтовки, патроны к ним. Все это они находили под откосами, в заросших кустарником лесных оврагах, под опавшей листвою. Ребятишки баловались этими грозными штучками, и многие из них поплатились жизнью за такое баловство. А сколько скота подорвалось на минах!..

«Двум смертям не бывать, а одной не миновать!» — подбадривал себя Тоадер Фрунзе, вступая в лес и думая о нежеланной, но вполне возможной встрече с бандитами. Было обидно и горько от сознания того, что Гицэ Могылдя удавалось так долго обводить вокруг пальца органы милиции и местных комсомольцев. Спросишь их секретаря, как же они могли проворонить его, поймать и тою же ночью упустить, — пожимают плечами, твердят в ответ: сделал подкоп под камерой в доме предварительного заключения и сбежал. Вот так-то просто! И что это за камера? Конечно же, какой-

нибуть крестьянский сарай либо хлев, которые (должны же были знать про то комсомольцы!) никогда не возводятся на каменном фундаменте. Тут не составит большого труда прорыть нору и голыми руками. Ведь должны же были подумать об этом те, в чьих руках оказался наконец матёрый преступник!

Что же касается пистолета, торжественно врученного Тоадеру Фрунзе в милиции, то он, этот пистолет, обладал на редкость капризным, непостоянным характером. Отлежавшись в письменном столе кабинета, как бы отдохнув и согрившись там, он в руках человека начинал действовать, все его железные члены двигались, как им полагалось. Но стоило ему хоть на миг оказаться под дождем или просто на холоде, тотчас же замирал, утрачивал всякую подвижность, словно на него нападал столбняк. Ясно, что полагаться на такое оружие совершенно невозможно, лучше уж уповать на резвость своих ног и зоркость глаз, которым, к счастью, знаком этот лес гораздо лучше, чем самому Гицэ Могилды. Военный этот преступник, расстрелявший множество советских активистов, снимавший одежду с убитых им самолично евреев в лесном овраге, он, конечно, не помиловал бы и Тоадера Фрунзе, попадись последний в его, бандита, руки. И все-таки Тоадер покрутил-покрутил пистолет в руках, горько ухмыльнулся и упрятал в райкомовский сейф, уложив его рядышком с новенькими бланками комсомольских билетов, и теперь возвращался домой окольными путями, через соседние села или по одним лишь ему известным лесным тропам. Иногда ему приходилось идти низом, через Питару, мимо кордона с домиком лесника, иной раз — через Тэблицу или Хоштянку. По дороге через Тэблицу встречал только следы диких коз и кабанов и ни разу — человеческих. Не видел их даже тогда, когда где-то поблизости шла рубка леса и Кодры гудели от шума падающих деревьев. Люди подходили и подъезжали к лесоразработкам с других направлений. Тэблица была на перекрестке лесных массивов. Отсюда уходили по долинам и холмам леса, носившие названия близлежащих селений. Сама Тэблица находилась как бы на ничейном месте, где деревья росли столетиями и умирали стоя, от старости, куда никто не хаживал ни за дровами, ни за грибами, ни за ландышами. Угрюмая тишина и гнилостная прохлада этого места пугали, рубаха сама собой подымалась на спине дыбом от страха. Только тут можно было увидеть нетронутые, девственные поляны, большие массивы умерших сухих дубов. С них старой, изношенной овчинной шубой сползала кора и падала на землю, уже не нужная мертвому, обнаженному, хотя по-прежнему железной крепости телу, увитому богатырскими жгутами могучей мускулатуры. Нарекли это урочище Хоштянкой, и само это слово, произнесенное

вслух, у людей даже неробких вызывало оторопь. Казалось, оно находилось где-то за тридевять земель от человеческого жилья. Вошло даже в народную поговорку: «Далеко, как Хоштянка!» Сумеречно, тихо, как-то задумчиво вокруг. Тут, говорят, можно увидеть волка и днем, а на полянах — мирно пасущихся диких коз. Подойди осторожно, замри под кустом и любуйся ими, сколько тебе захочется. В других местах лес разговаривает с тобой языком соседнего села — звонким эхом топора, криком пастушонка, голосами возниц, понукающих своих лошадей на хорошо накатанных дорогах. В Тэблицком же урочище мертвая тишина. Лишь время от времени скрипнет старое дерево, крикнет от дряхлой немочи. Но и тут, поглубже, а именно в Хоштянке, лес тоже оживлен, одушевлен, говорит на своем языке, не занимая у соседей ни шелеста ветвей, ни людского говора.

Местный люд хорошо научился читать чудесную книгу леса, листая страницу за страницей, переворачивая листок за листком. Достаточно упасть комочку снега с какой-нибудь ветки, человек сейчас узнает, кто там проскочил по вершинам, кто обитает тут — какие звери и птицы. На мягком и белом полотне снега все живое оставляет отпечатки своего бытия, свою короткую историю, веселую или грустную; здесь переплелось все: драмы и трагедии, коварство и любовь, наивность беззащитного и бескомпромиссная жестокость лесного властелина-хищника, великое множество и разнообразие характеров, привычек, своих болей и радостей. Всё это можно прочесть в лесной книге. Но не каждому дано одолеть эту библию, расшифровать неведомые нероглифы. Лишенные вроде бы дара речи, деревья тем не менее имеют свой язык. Листья слушают друг друга и понимают. Не будь они живыми, разве смогли бы вмешаться в немыслимо сложную человеческую судьбу?! Ведь фамилия Фрунзе, от которой ведет свою родословную Тоадер, произошла от листвы, от леса, стало быть. Как и когда это случилось, никто теперь не знает. Но случилось же! Значит, так могло быть, значит, «это кому-то нужно», значит, это тоже продиктовано неотвратимыми законами жизни, несмотря на то что для несведущих, а точнее бы сказать, для равнодушных людей лес — это лишь деревья и кусты, дрова и стройматериалы. Мало что прибавит к их познаниям леса и тогда, когда им ведомы названия всех деревьев: для равнодушных и нелюбопытных лес никогда не откроет своих тайн. Ты можешь перечислить все цветы, растения и травы, которые растут в лесу, и все-таки не будешь знать главного о лесе — о его нерве, о животворящих кровеносных сосудах, о трепетном пульсе его жизни. Чтобы услышать, как он стонет и смеется, гневается и радуется, плачет и хохочет, надобно

надолго самому погрузиться в лесную стихию, прислониться к каждому деревцу не только щекою, ухом, но и сердцем, нужно вместе с ним испытать на себе голод и холод, неутоленную жажду, не зная, что еда тут, рядом с тобой, а живительный родничок неподалеку насмешливо подмигивает тебе, мерцает лукавым глазком.

Короче, чтобы познать лес, надо очень многое пережить, перенести и перетерпеть вместе с ним. До тебя это должны сделать твой отец, твой дед и твой прадед — весь твой род. Только в этом случае, может быть, лес и приоткроет немного завесу над вечными своими тайнами.

«Кизил, кизил! Ты зацветаеть раньше всех. Твои лепестки разворачиваются прежде, чем растает снег. Ты вещаешь весну, опередив подснежник. Лес еще весь испятнан плитами осевшего снега, бабка Евдоха еще не вытрусилась, не отстегала палкой все свои двенадцать кожухов... Только ты все успел, ты, кизил, чудо из чудес! Ты желтыми бусами своих упорительных плодов наряжаешь ветви поздней осенью, не боишься ни заморозков, ни даже лютых морозов. Ты чудо из чудес, кизил!»

«Согласен: я — великое чудо. Из моего тела вы делаете мельничные зубья и топорича. Было время, когда я заменял вам железо. Все гвозди вы делали из моей древесины. Зачем же вы теперь смеетесь надо мной, прозвали меня цыганским деревом? Забыли, что на протяжении веков я служил вам верой и правдой? Зубья для грабеля, затычки для бочек, кнутовища — все из меня. Где было тяжелее всего, вы призывали к себе на помощь меня. А теперь смеетесь, нарекли цыганским деревом...»

«Не мы смеемся над тобой, кизил. Легенда смеется. Да и что худого в твоём прозвище?! Ты сам виноват в том, что люди нарекли тебя так. Ты расцветаеть раньше всех, вот цыган и подумал, что ты поспеваешь прежде всех. Но цыган ошибся. Верно, расцветаеть ты первым, но плоды твои поспевают последними. Видишь, как ты сам посмеялся над беднягой! Разобидевшись, цыган взялся за кузнечное ремесло, перестал пользоваться гвоздями из твоего ствола и взамен их начал ковать железные...»

Тоадер Фрунзе вздрогнул. Он, оказывается, громко разговаривал с деревьями, а они тоже громко отвечали ему. Потом, однако, подумал: «Нет, не с деревьями ты ведешь свою беседу, а со своим детством. И так поступай всегда, когда тебе будет очень трудно в жизни. И не бойся этого. Так делают все люди. Так уж создан человек. Будет говорить сам с собою, задавать себе вопросы, ругать себя, сурово судить за свои земные грехи, с собою самим делиться своими же радостями... Когда человек один и ему некуда деться, он не ждет момента, когда подвернется добрый, понимающий его собеседник. Собеседником своим он делает самого себя. Так уж создан человек. Так создан и ты, Тоа-

дер Фрунзе... Ты явился на свет для того, чтобы мыслить, а значит, радоваться и страдать. И у тебя будут минуты, когда ты все, что у тебя есть на душе, расскажешь земле, вот этим ее лесам, полянам, лугам и степям. Если бы ты очень сильно, очень горячо пожелал, то и они, эти леса, луга и поляны, хоть будто бы и безгласные, могли бы дать тебе немало добрых советов, как давали их твоим предкам — сотни тысяч лет они учили их уму-разуму, наставляли, как жить. Они снабжали их в достатке лекарственными травами, обширными выгонами для выпаса скотины, хлебом для дома, светлой радостью дождей, сладчайшими часами отдохновения и укрепляющими душу страданиями. Сколько поколений твоих пращуров разговаривали так же вот, как ты, с этими местами, с этой землей, с этим небом, со всем тем, что есть на этой земле и на этом небе. Многие из того, что ты сейчас знаешь, ты, грамотей, узнал из книг или от старших односельчан, передавших тебе свои познания по наследству. Ты пришел в этот мир как бы на все готовое. А твоим неграмотным прародителям житейский опыт, все познания окружающего их мира дались через неисчислимо множество самых тяжких испытаний. Тебе сейчас известно, что такое-то растение съедобно, а такое-то нет, этот цветок целебен, а этот вредоносен. Но чтобы узнать про то, кому-то из предшествующих поколений пришлось дорого заплатить. Для того чтобы ты сейчас не принял за съедобные такие, скажем, «дары природы», как цикута, дурман, белена, мухомор, волчья ягода, кто-то же и когда-то должен был их отвесть с роковыми для себя последствиями. Чтобы нынешний пастух не выгонял отару овец на луга, пораженные ядовитыми травами, другой пастух в какие-то незапамятные времена вышел туда со своей отарой и пожертвовал ею. Теперь никто уж не помнит имени пострадавшего, но зато все знают, что идти со скотом по весне в то место опасно, и не идут: жертва того несчастного и безвестного предка была не напрасной, она обернулась добром для последующих поколений.

Природа не сразу раскрывает свои тайны, но все же раскрывает. Лес, к примеру, выдал одну из бесчисленных своих тайн тогда, когда человек понял, что с помощью лучины можно освещать свое жилище. А ведь в какие-то времена это было откровением. Нынче всякий знает, что из гибкой, эластичной дырмогзин¹ можно сплести кнутик для мальчишки, сделать жгут и перевязать им охалку дров, а плоды кустарника поместить для дозревания где-нибудь в тени, под лавкой, например. А дед твой, которого тоже зовут Тоадер, при светильнике, сделанном из дырмогзин, по ночам цедит из бочки вино и огонь в домашнем очаге разводит с помощью

¹ Разновидность смородины.

такого же огнива. Мы этого уж не делаем: все-му свое время, свой срок. Много уходит, отдается от нас, кое-что представляется увиденным во сне либо пришедшим из нереальности, из сказки. Но попробуй отделить это нереальное от реального, сказку от бытия, провести между ними разграничительную линию, ничего у тебя не получится. Сказка и быль, реальное и нереальное, живут вместе, одной нерасторжимой жизнью. Меняется ковер этой жизни, меняются краски на нем, основа же остается одна, и на ней ткется ковер. Ткется он долго, всю жизнь. Новыми нитками новые ковровщицы вышивают старые сказки и мудрые предания. Человек весь устремлен в будущее, рвется к новому, но не хочет отказываться от старых сказок. Может быть, потому, что на упругих крыльях сказок, на фантастической их силе он, человек, легче сможет перенести тяжести, на которые не скупится жизнь?..»

5

Даже за короткий срок своего пребывания на грешной земле Тоадер Фрунзе успел убедиться, сколь щедро она на заготовленные ею для человека трудности. На долю Тоадера она припасла тоже кое-что. И тогда, когда был учителем и директором в школе, и даже тогда, когда руководил вроде бы веселым делом — хоровым и танцевальным кружком. Но концерты-то приходилось давать на передовой линии фронта, когда только лес отделял их от немецких траншей в Валя Кулей. Тоадер дирижировал хором, а передовая была вот она, рядом. С насоро сооруженного подмостка, казалось, увидишь немецкие траншеи. А вокруг, на поляне, расположились бивуаком сотни наших солдат. Бойцы только что помылись в бане, все в чистых нателных рубашках, видневшихся из выреза расстегнутых гимнастеров. Когда смеркнется, они вернутся на передовую, в Валя Кулей, чтобы сменить уставших своих товарищей-однополчан. То было в разгар лета, незадолго до нашего наступления. Над головами поющих и танцующих «артистов» пролетали немецкие снаряды и мины: не исключено, что и немцы слышали концерт, и им, конечно, хотелось сорвать его, лишить советских бойцов необходимого им отдыха. Но холм, вершина Флорины, защищал ребят и девчат. В «антрактах», от концерта до концерта, хористы и танцоры оставались в лесу. И какими же длинными казались им те знойные, полные опасности дни, особенно когда ты знаешь, что твое родное селение в двух шагах от тебя, а ты не можешь выйти из леса.

В марте сорок четвертого, когда дороги стали не проезжими, когда невозможно было проехать по ним ни на машинах, ни на повозках,

ребята в переметных сумках таскали к передовой патроны, мины, снаряды для легких полевых орудий. У кого были лошади, те превращали их во вьючных животных. Кто знает, может, эта их работа помогла советским солдатам отстоять здесь захваченные позиции, пока не подсохли дороги, по которым к линии фронта устремились через лес машины, транспортеры, тяжелые орудия, минометы, «катюши».

Теперь у армии было все. Повеселели, прибрались, прибодрились солдаты и офицеры, самодеятельный коллектив немало вкусил в те дни от их щедрот. Кормили молодых людей, что называется, до отвала: закатывали им такой прием, какой мог быть лишь в мирное время, да и то по большим праздникам. Девушкам дарили букеты цветов, пели им солдатские песни под гармошку, много шумели, смеялись. В ответ хористы и танцоры смущенно и немножко печально улыбались, знали, что они тут только гости и пробудут совсем немного, а потом, наверное, уж никогда более не увидят этих веселых людей в выцветших гимнастеровках, и не только потому, что у многих из них оборвется жизнь где-нибудь за этим лесом.

Где-то за полночь, под прикрытием деревьев, Тоадер увел своих «артистов» от линии фронта. Лес в молитвенном молчании провожал их или чуть шелестел, чтобы враг не услышал шагов. Да, опять лес! Да, все, решительно все, ежели хорошенько подумать, в здешних краях связано с лесом. Он защищает селения от злых ветров и пыли, обогревает жилища, возводит заборы вокруг дворов, огородов и садов. Лес и кормит людей, избавляя их поля от засухи, поскольку умеет не только задерживать, но и притягивать влагу. Потому-то старый Пэтраке часто гладит дерево, обнимает его, как самого верного и надежного друга. Обычно ни в телегу, ни в сани его не усадить и силой, но стоит ему узнать, что телега или сани направляются в лес, дед с необыкновенной для его лет проворностью вскакивает в них и радуется, как дитя малое. Он поможет тебе нарубить дров, уложить их, увязать хорошенько, но сам уж не подымется в возок: теперь никакая сила не смогла бы вытащить его из леса. Пока не обойдет все деревья и не побеседует с каждым из них, домой не вернется. Беседы ж эти он начал в пору еще своего детства и до нынешних дней продолжает их, никак не окончит.

Тоадер Фрунзе как-то целую зиму проработал с Пэтраке на рубке леса. Тогда многое узнал от старика. Узнал немало и от других пожилых людей. Но те видели лишь практическую сторону в лесу, в разговоре о нем выделяли его несомненную пользу для человека — лесные сказки и легенды меньше всего занимали их, не хотели даже и слушать разные там «небылицы». Другое дело — дедушка Пэтраке. Он свято верил и в сказки, и в легенды, и в другие

всякие небывальщины, которые из века в век сопутствуют обычно жизни леса. Подойдет к иному дубу, обнимет, как брата, руками и вымолвит:

— Эг-ге, добрый молодец! Триста лет ты растешь, триста лет толстеешь и триста лет умираешь. Умел бы ты говорить, сколько бы поведал нам, людям!

— Что ты над ним колдуешь, мош Пэтраке? — кричал ему кто-нибудь, смеясь.

— Я не колдую. Мы беседуем.

И Пэтраке дружески подмигивал Тоадеру, который доводился ему внучатым племянником и, кажется, был его союзником в отношениях к лесу. Сделав паузу и укоризненно вздохнув, продолжал, имея в виду своих односельчан:

— Что с них возьмешь! Дуб для них — это сваи для мостов, это веревя для ворот, это топорнице, подставка для виноградного пресса, нижние — для прочности — венцы в избах. Тут он годен, тут они знают ему цену. До другого им дела нет. Не подумают о том, что дуб этот пережил их отцов, дедов, прадедов и прапрадедов, перед ним, может быть, прошла вся история села. Приглядитесь хорошенько, и вы увидите, что на его старой коре, на его кольцах отпечаталась она, эта история!..

Не хуже других дед Пэтраке знал и практическую цену каждого дерева. Взять, к примеру, клен. О нем старик скажет: «Легко поддается обработке, не набьет мозолей на ладони. Очень подходящ для рукояток к мотыгам и косам!» Особенно много хвалебных слов хранилось у Пэтраке для граба и вяза. Не будь, скажем, граба, из чего бы крестьянин изготовлял винты все для тех же виноградных прессов?! Не обойтись виноградарию и без вяза, без его тугих, переплетенных, перекрученных жил, без его твердой и одновременно вязкой, жилистой древесины, незаменимой для прессовых поддонов. Впрочем, Пэтраке не обижал и другие деревья, нахваливал их все подряд. Об акации, например, скажет так: «Растет быстро. У нее славная древесина, горит даже сырая, словно ее окунули в керосин!» О шиповнике и терновнике: «Плоды дают лекарственные, нужные для нашего здоровья. Ствол у терна красный, обстругай его, обделай, и лучший кнутовища не отыщется на всем белом свете!»

Однажды старик чуть было не подрался с мужиками из-за боярышника, в общем-то ничемушного кустарника. Мужики уверяли, что от него один вред: например, опухоли на ногах могут быть только от его шипов. Появится, скажем, на подошве чьей-нибудь ноги гнойный пузырь, страдалец непременно скажет: «пэдучэл», то есть боярышник. Пэтраке вступался и за этого лесного жителя, приводил, как ему казалось, достаточно доводов, чтобы оправдать его в глазах неразумных односельчан. Те, однако ж, не сдавались.

— Помолчал бы ты, старик, или убрался куда подальше со своим боярышником, — горячо говорил кто-нибудь из его супротивников. — Не случайно батрачишь ты у Георге Негарэ. Его жена, рассказывают, очень любит занозы...

— Может, ты, старина, заваришь нам еще чай из этого поганого дерева? — ехидно спрашивал другой. И все хохотали.

А ведь смеялись над очень добрым и мудрым человеком. Что для них худого в том, что старик расхваливал всё и вся на свете?! Для него не только деревья, но и все люди были по-своему хороши, ни об одном из них он не проронил ни единого дурного слова. И какую связь отыскивали теперь они между боярышником и женою Негарэ? Нет же ведь никакой связи, положительно нет! И вообще, все ли мы знаем о деревьях, о том же, к примеру сказать, боярышнике? Породила же его для чего-то природа? Она ведь хорошо знает, что делает. Очень даже возможно, что когда-нибудь ученые люди докопаются до истины, найдут, что и эти деревца с их хилыми веточками и бледной сыпью цветов могут послужить человеку, облегчать его страдания, исцелять, вылечивать недуги, которые считались неизлечимыми!..

— Эх-хе-хе-хе-хе! — вздыхал Пэтраке, думая о тех, кто с ним не соглашался. — Бог с вами, смейтесь. На каждый роток не накинешь платок... Не знаете вы, неразумные, что природа все предусмотрела, у нее было больше времени, чем у нас с вами, чтобы обо всем подумать, все обмозговать как следует и ничего не сделать зря. Кошки вон поедают птичью гречиху, когда болеют животом. Собака от бешенства пользуется себя какими-то лишь ей одной известными травами. Даже змея зачем-то лезет на дерево — не кататься же лезет!

Думал так Пэтраке про себя, видел, что ему трудно было сейчас переубедить своих односельчан. Придет время, решил он, сами все поймут. Время — хороший и терпеливый учитель.

Тоадер Фрунзе входил в родное село, когда во многих домах уже зажигались лампы. В такой час ему не нужно было заходить в сельсовет, и он не зашел, хотя ему было по дороге и в сельсоветском доме горел свет. Не остановился даже возле клуба, что сделал бы непременно в другом селе: ведь именно в клубе и вокруг клуба обычно табунится сельская молодежь, среди которой обязательно окажется и секретарь комсомольской организации, он же часто, по совместительству, и заведующий этим клубом.

Придя в Кукоару, Тоадер, конечно же, прежде всего направился домой, он не хотел, чтобы

родители узнали о его появлении в селе позже других людей. К тому же не терпелось узнать, как поживают отец, мать. Впрочем, об отце он уже узнал самое, пожалуй, главное: батьку хоть и сняли с должности председателя сельсовета, но не за провинность, а исходя из каких-то иных соображений. Так Тоадеру сказал Шеремет. Что это за «соображения», Тоадер, возможно, узнает еще нынешним вечером, может быть, даже вот сейчас и узнает. Отец с матерью расскажут всю правду. У них нет от него никаких тайн. Мало ли мотивов, по которым освобождали от должности руководителя села! Систематическое невыполнение планов по различного рода заготовкам... А сколько их было, тех планов и тех заготовок! Не справился с ними председатель — уступай место более расторопному, более энергичному, более решительному и напористому человеку. Времена-то какие тяжкие. Война начисто подмела все амбары, все сусеки, все кладовые и даже чердаки, где хранился или прятался хлеб. «Пшеничка едва заколосилась, побурела своим усиком, а уже топорщится тем усиком-колоском в сторону элеватора», — грустно посмеивались крестьяне.

Страна вся напружинилась, борясь с бесконечными трудностями, оставленными для нее страшной войной, не была отменена пока и карточная система. Трудности эти были повсюду, большие и малые. Решения райкомов писались на старых газетах. На одной стороне такой газеты были портреты генералов и маршалов, великих полководцев, повергших ниц колоссальную военную машину гитлеровской Германии, на другой стороне, поперек типографских строчек, химическими чернилами, изготовленными из карандашных сердечников, писались директивы райкомов и райисполкомов. Обыкновенная школьная тетрадка, добытая к тому же с величайшим трудом, составляла целое состояние, ибо только для школ берегли их как самое драгоценное сокровище, директор школы получал тетрадки под свою строгую личную ответственность, в чем как бы давал клятвенное обязательство своей подписью в соответствующей книге в районо. Таким же образом получались карандаши, перья и керосин для вечерних занятий. Иногда вместо керосина выдавали бензин, в него, в порядке, так сказать, противопожарных мероприятий, добавлялась соль. Таким же, одобренным поваренной солью, бензином управлялись светильники в сельсоветах.

О другой жизни говорилось лишь как о более или менее обозримом будущем. Приезжавшие в село лекторы и докладчики рассказывали об электричестве, о тракторах, о других новейших, не виданных еще никем сельскохозяйственных машинах, которые придут, обязательно придут в молдавское село. Пока что только в воображении создавалась картина светлого будущего, картина завтрашнего дня.

Тоадер Фрунзе тоже часто выступал и говорил о будущем, в которое верил всем сердцем, всей душой. В сравнении с радужной картиной этого будущего нынешний день в жизни крестьян был еще более удручающим, вопиюще нерадостным. В какой-нибудь год почти все семьи обзавелись ручными мельницами, жерновами, при этом явили миру такое изобилие и разнообразие технических придумок, что можно было диву даваться! Когда, скажем, обнаружилась нехватка камней для жерновов, их заменили снарядные гильзы, которыми были прямо-таки напшигованы здешние края, где еще совсем, совсем недавно прокатилась война. На бывших огневых позициях тяжелых батарей высились целые горы гильз. Внутри такой гильзы нарезались с помощью соответствующего инструмента, зубила, например, острые зубцы, нарезались они и по гильзе калибром поменьше, затем последнюю погружали в большую гильзу, между ними насыпалось зерно. Вот вам и мельница! Вращай малую гильзу приделанной к ней рукояткой, и получишь то, что тебе нужно. Так во многих избах перемалывались пшеница, кукуруза, горох, овес, ячмень, даже виноградные косточки, кора деревьев, высушенные в печке желуды. Полученная таким образом «мука» пускалась крестьянками в дело.

Не было недостатка и в других изобретениях. Особенно много их было там, где люди мучительно задумывались над тем, как осветить жилище. В хатах чадили плоские и коптилки, старинные лампадки с фитилями из ваты, добытой из старой солдатской фуфайки, а то сделанные из ботиночных шнурков, скрученных тряпиц... Вместо керосина в дело шли овечьё сало, коровий жир, сало свиное...

Родное селение угадывалось по дыму из труб, по неизъяснимым, неповторимым, знакомым с малых лет запахам. Теплая, подымающая тебя, как на крыльях, волна вливается в душу. Там и сям мерцают, подмигивают слабые огоньки. Но они все-таки горят, село живет всем трудностям назло. И слабый свет его отгоняет от одинокого путника чувство этой одиночества и неприкаянности...

Тоадер Фрунзе вошел во двор. Волна радости, которая коснулась его еще вдали от села, теперь захлестнула его сердце. Несколько месяцев он тосковал по дому, да и кто бы не тосковал в его возрасте! Чья душа не томится, не мается при мысли об оставленных где-то отце, матери, родимом очаге! Шагнул он через порог в ту минуту, когда мать вываливала из чугуна мамалыгу прямо на трехногий столик. Мамалыга всегда скликала в дом всю семью: детей отрывала от их игр, отца и вообще всех взрослых от работы; привлеченные ее теплым, добрым и сытным запахом, в сени набивались домашние птицы; под-столом уже сновал кот; был где-то поблизости и пес, — все ожидали своей

доли, своей толики. Лишь появление Тоадера в столь торжественный час было для всех полнейшей и, разумеется, радостной неожиданностью. Костяке Фрунзе, отец, весь сияя, засмеялся:

— Ну и ну! Вот это гости! Любит тебя теща — вовремя угодил!

— Пускай будет в добром здравии и ее дочь, — понимающе усмехнулся сын.

Он поздоровался со всеми за руку, потом спохватился, что этого не следовало бы делать, не в их это обычаях. В их доме так здоровались лишь по праздникам, молодые люди при этом целовали руку матери, отцу, дедушкам и бабушкам, крестному и крестной, а под конец и всем другим старикам, оказавшимся рядом.

Что с тобою, Тоадер? Ты привык вручать комсомольские билеты и заключать этот акт рукопожатием, а теперь эту райкомовскую моду принес сюда, в свой дом? Что ты наделал?! Теперь все будут смеяться над тобой, и радость твоя от встречи с родными упрется в пятки... Тоадер покраснел, в какой-то момент ему даже показалось, что потолок валится на его голову.

Но все обошлось как нельзя лучше. Ни единой кривой усмешки он не заметил, да и не было. Брат еще и возгордился тем, что Тоадер стал у них совсем-совсем городским человеком, Никэ прямо-таки задрал нос. Впрочем, теперь, когда он учился в средней школе, никто из домашних и на селе не называл его так: он вырос и вполне заслужил называться своим полным именем. В школе же вел себя довольно нахально. Хвастался перед сверстниками, такими же сорванцами, что его брат секретарь райкома и что он, Никэ, теперь никого не боится. Так что Тоадеру пришлось однажды пригласить его к себе в кабинет и дать ему вполне заслуженную головомойку.

— Что, Ион, уши выросли, хочешь, чтобы я их пощупал? А?.. Брат-то я тебе брат, это верно. Но заступничества от меня не жди. За свои проделки будешь отвечать сам. Понятно?

Ион был явно обескуражен таким оборотом дела. Но это было уже давно, Ион успел забыть про свои обиды на старшего брата. В этот вечер он сразу же стал хвалиться:

— Ты знаешь, Тоадер, я нашел на пыльной дороге наручные часики... совсем целехонькие... когда поднял, они еще шли: тик-так, тик-так... Трепетали в моей руке, как воробьиные детеныши... Не веришь?.. Если не веришь, спроси ребят из интерната... они все видели, как...

— Верит, верит. Хватит уж об этих часах. Поди позови дедушку, а то мамалыга остынет! — сказала мать, на лице ее цвела знакомая всем улыбка. Она была счастлива: вся семья собралась под ее крыло.

Ион все же протянул часы брату и только после этого помчался за дедушкой. Тоадер же

думал о переменах в доме, которые произошли в его отсутствие. Первое, что бросилось ему в глаза, это дедушкин стул. Трехногий, сооруженный стариком из орехового корня. Дедушка ел мамалыгу, сидя лишь на этом стуле. За много лет стульчик отполировался так, что блестел, точно зеркало. Однако как же он оказался тут, возле этого стола? С каких же пор упрямец, которого никакими силами нельзя было затащить в эту хату, стал приходить в нее сам и есть мамалыгу? Это занимало сейчас Тоадера.

После смерти бабушки Домники прошло много времени, а старик ни за что не хотел переменить своего обычая: все делал сам и только в своей конуре. Исключение допускал лишь от носительно своей дочери. Иногда разрешал ей выпечь для него хлеб, при этом всякий раз пытался оплатить ее труды. На ее решительный отказ получать вознаграждение вспыхивал, как костер, кричал, гневился:

— Хе!.. Видал такую?! Коровья башка!.. Ты думаешь, если я стар и остался без жены... Думаете, что я подставляю свой чуб под ваши руки... склонюсь перед вами?.. Ну нет!.. Тоадера Лефтера вам не загнать в стойло!..

Видно, время — самый лучший укротитель. Оно усмирило даже такого старого упряма, как Тоадер Лефтер. Этот огрызающийся налево и направо человек скрывал за своей щетинистостью исключительно добрую и отзывчивую душу, готов был прийти и приходил к каждому, кто нуждался в его помощи. Но не приведи бог, когда вожжа попадала ему под хвост: расчепушивал всех подряд, без разбору.

Преклонные года, похоже, сделали свое дело. Старик стал чуть ли помягче, попокладистее. Первую уступку жизненным обстоятельствам он сделал тогда, когда согласился, чтобы дочь выпекала ему хлебы. Но муку, дрова приносил в ее избу сам, помогал во всем при таком далеко не простом, ответственном деле, как выпечка хлеба. Его активное участие укрепляло в нем чувство самостоятельности, а значит, и чувство собственного достоинства. Он не хотел отдавать себя на милость ни царю, ни богу, ни черту, ни зятю, ни дочери, ни этим бесенатам — внукам. «После моей смерти делайте что хотите. Но пока я топчу землю, хожу по траве-мураве, вам не накинута на меня узду, коровьи ваши башки!.. Не суйтесь в мои дела! Не тычтесь своим носом в мой борщ!» — кричал по временам мош Тоадер, да кричал так, чтобы слышало все село.

Дочь стыдилась подымать шум, привлекать на него соседей, ссориться со старым отцом, но она очень страдала от жалости к нему, ей было невыносимо видеть, как он мучается, как принимается за непосильную для него работу, пробаываясь только хлебом и винцом. Три раза в день кипятил он это вино, макал в него хлеб и ел.

А вот теперь, видать, что-то резко переменялось, коль старик сам принес в дом зятя свой «станок», как называл он трехногий стульчик. Тоадер Фрунзе с нетерпением ждал, когда перед ним откроется причина столь важного, прямо-таки чрезвычайного происшествия. Рассматривал часы брата, а мыслями был с дедушкой. Во дворе уже слышалось его ворчание — старик, когда бодрствовал, то вообще ни на минуту не умолкал. Видимо, вечная немота его хатенки сильно угнетала его — с такой сожительницей не разговоришься. Но как только дед выходил за порог, он отверзал свои уста и начинал ворчать на все, что попадется ему на глаза. Если во дворе шел дождь, дед вступал в препирательства с небом: «Ну вот, зальет теперь всех по уши! Аль не видишь, что земля уже напилась вволю?» Коли снег сыпал, обрушивался с неподдельным гневом на тучу: «Тебя как прорвало, чертово создание?! Что? Прикажешь в амбар засыпать твой помет?! Валит и валит, а косточкам моим немоготу!»

К уборке снега никого не подпускал. Если снежный покров был достаточно высок и в меру влажен, дед доставал свою деревянную лопату и воздвигал белые стены вокруг избы, перед сарайчиком, около стволов садовых деревьев, — всюду подымались снежные крепости. Поутру, когда снег замерзал, покрывался жесткой коркой, старый Лефтер выходил во двор с железной лопатой — орудовал ею, так сподручнее. Правду сказать, возня со снегом доставляла ему большое удовольствие, в особенности тогда, когда снимал снежные пласты с винного погреба и когда мог потянуть носом теплые винные пары, исходящие от бочек.

Сейчас, пробираясь к избе дочери и зятя, старик на чем свет стоит проклинал темноту: «Вот-вот, этого мне еще не хватало. Нужна мне эта темень?! Не кур же иду красть?!»

Первым вошел, вернувшись от дедушки, Никэ, то есть Ион. И сразу же к старшему брату — о своем:

— Ну, как часики?

— Хороши. А как ты думаешь, Ион, не лучше ли будет, если они окажутся на руке секретаря райкома комсомола?.. А?.. Хожу ведь без часов...

— Да оставь ты его, Тоадер, — вмешалась мать, — Никэ и во сне-то видит эти часы, а ты... Садитесь за стол, сколько можно жечь керосин понапрасну!

— Э-гей!.. Где этот перекати-поле?.. Покажите мне этого гуляку бездомного! Где этот бублик? — с этими словами в избу вползал старый Лефтер, для которого все горожане были на одну колодку и всех их он презрительно называл то шарлатанами, то бубликами, под этими прозвищами он в одну кучу сваливал купцов, коммерсантов и весь прочий городской люд. Под «бубликами» должны были, по логике ве-

щей, значиться торговцы, а под «шарлатанами» в первую очередь чиновники, но дед часто путал, награждая обоими этими прозвищами попеременно тех и других. Дочь иной раз пыталась остановить отца, указывала ему на то, что с гостями полагается обращаться деликатнее, но тот махал на нее рукой, бушевал еще пуще:

— Ты из меня, коровья башка, ни одного хорошего, ни двух плохих не сделаешь. Я сам по себе. Какой уж есть!..

Теперь старик оказался с вновь прибывшим внуком за одним накрытым столом. И, судя по всему, был сильно рассержен чем-то или кем-то. Говорил мало, но более обыкновенного ядовито.

— Ты, Катинка, нальешь мне борщ в мое корыто отдельно!..

Свет в избе был слабый — горела одна лишь самодельная жестяная лампа. Лампа без стекла с крохотным, обгоревшим, сделанным из шнурка фитильком. Не дедово ли это творение? В его избе тоже такая лампешка.

— Налей, налей мне отдельно, — продолжал с прежней ехидцей дед, — у нас ведь в гостях горожанин, бублик то есть... У него, не в пример нашему, нежное брюхо... кишка тонкая!..

«Не называет меня ни негодником, ни коровьей образиной, значит, сердит больше своей нормы», — подумал Тоадер-младший. Отчего же он так огневился? Можно было бы спросить об этом его самого, но внук не решился, потому как хорошо знал характер норовистого старца. В таком случае лучше молчать и терпеливо ждать, когда дед, распалившись, сам прояснит обстановку, выплеснет наружу все, что у него на сердце. Было и другое: Тоадеру Фрунзе очень не хотелось портить настроение ни себе, ни всем остальным за столом, к тому же он давно не ел мамалыги с бульоном и теперь надеялся насытиться ею без помех. Хоть она и была приготовлена из муки, наполовину смешанной с молотыми виноградными выжимками, царапала горло и отдавала не свойственной настоящей мамалыге кислинкой, но все равно вкусна, особенно когда ты вслед за куском мамалыги выливаешь в рот ложку маминого бульона. Правда, и суп был не из курицы (кур во дворе было мало, поскольку нечем кормить), а из говяжьего мяса, с двумя-тремя мелкими картофелинами и горстью фасоли, но все равно необыкновенно вкусный, прямо-таки наслаждение, а не суп!

Дедушка уселся рядом с «горожанином». К трапезе готовился медленно, не спеша. Взглядывал на внука то одним, то другим прижмуренным глазом, вынимая из карманов ватника стручки красного перца и кроша их в свою посудину. Тоадер Фрунзе весь сжимался под дедовыми взглядами. По тому, как много было брошено дедом в бульон перца, понял, что

ждать от старика чего-либо хорошего не приходится. Будь, однако, что будет. Все равно, пока не покончит с едой, старик не заговорит — не в его правилах, чтобы делать два дела: есть и вести беседу. Заговоришь и поперхнешься стручковым семечком, перехватит дыхательное горло, будешь потом кашлять целый час, надирать старые легкие. Дед не раз страдал от этого и теперь остерегался. Бульон в его миске, как ночное небо звездами, сплошь был усеян перечными зернами, так что было отчего проявлять осторожность. Тоадер-младший между тем украдкой поглядывал на старика. Дед выглядел совсем неплохо. Видать, дочерины заботы, своевременная горячая пища были ему впрок — щеки малость порозовели и сам был более подвижен и энергичен. И все же немалую часть своих прежних привычек сохранил, ревниво оберегал их, яростно защищал. Вернувшись домой, по-прежнему кипятил вино и, когда кто-нибудь заставал его за этим занятием, сердито пояснял: «Не привык я к вину, ударяющему в нос лягушатинной... Простите меня, старого дурня, но не привык! Я вот этими своими руками выкопал много колодцев на селе, но вина, отдающего лягушатинной, не пью... Вот когда перекочую через дорогу, улягусь рядышком со своей бабой, тогда, может, отведаю и такого винца!..»

Вино, отдающее лягушатинной, на языке старого Тоадера означало колодезную воду, которую он в своей долгой жизни почти никогда не пил. Колодцев же в самом деле вырыл собственными руками множество. Достаточно было узнать, что такой-то селянин заготовил камень для родника, Тоадер Лефтер сейчас же отправлялся отыскивать подходящее место. Найдя, возвращался за буром. У него был хороший бур. Иной раз погружался в землю на большую глубину, ввинчивался в нее до тех пор, пока не наткнулся на водяную жилу. Другой, глядишь, отступил бы, не ввинтил бы своего инструмента и на половину той глубины, но то другой, а не старый Лефтер. Этот не отступал. Да и мог ли он отступить?! Что тогда скажут люди? «Ошибся, — скажут, — ошконфузился дедушка Тоадер, не на том месте стал искать родниковую воду». Не мог допустить Лефтер, чтобы такое услышать о себе, не мог!

Один раз чуть было и вправду не ошконфузился, это когда рыли колодец в Питарском лесу. Селяне собрали камень из расчета на семь сажений в глубину, а воду дедушка отыскал лишь на пятнадцатой сажени. Люди зароптали, хотели уж совсем отказаться от колодца: где, мол, набрать камня для такой страшной глубины? Да и вообще так ли уж нужен этот колодец в лесу? Кто из него будет пить воду? По лесной дороге народ ездит только по воскресным дням на базар.

Но если уж старый Тоадер чего-то начал, то остановить его невозможно. Чтобы защитить свою добрую репутацию, он купил недостающий камень на собственные деньги, заработанные им на просеивании пшеницы, и довел дело с колодцем до конца. И счет следующих своих родников вел от этого, самого глубокого из всех когда-либо открытых им. Грамоте дед не был обучен, не знал ни единой буквы, писать не умел, но зато умел хорошо считать и хорошо помнил, сколько глубины в том или ином колодце. Особенно гордился мош Тоадер колодцем с колесом, вырытым им у своего дома. Готовился к его сооружению в течение многих лет. Сначала собирал крепкий речной камень, который не содержал в себе рыхлых примесей, — они могли бы замутнить источник. Соседи хотели помочь ему, но тот страшно рассердился:

— Сколько я понаделал по селу этих колодцев, а теперь что ж, не смогу сделать для себя?!

В том году старик хорошо заработал на решете: год был урожайным, пшеница выдалась на славу, и старика приглашали чуть ли не в каждый двор, очищать зерно. Но когда он увидел, что вырученных денег не хватает, без сожаления продал связки чеснока. Соседи пытались отговаривать: как же, мол, ты, старик, останешься без чеснока, возьми от нас помощи! Но не тут-то было — отказался! Жалость соседей лишь подстегнула его самолюбие. С досады, вгорячах, продал даже бочку вина, чем немало удивил односельчан. Для них это было невероятным: видано ли было в Кукоаре, чтобы мош Тоадер добровольно распростился со своим вином!..

Если бы жители села не знали хорошенько этого человека, то могли бы принять его за скопидома, за скупердя: во время строительства колодца Тоадер Лефтер у самого сруба привязывал злую собаку, чтобы никого не подпускала. Когда же строительство закончилось и оказалось, что вода в этом колодце такая вкусная и мягкая, что в ней быстро разваривалась даже фасоль двадцатилетней давности, такая вода, что даже евреи приходили за ней для приготовления своих чаев, когда все это увидел и сам строитель, он, не задумываясь, урезал свой палисадник, перенес забор поближе к дому, и колодец с удивительной водой оказался на улице, доступный всем, кто бы захотел испить из этого источника.

«Я все равно не пью воды. Ежели она нравится вам, пейте на здоровье и благодарите старого Тоадера!» — говорил он односельчанам. Говорил так и все-таки не мог снять с себя хозяйской ответственности за колодец. Стоило ему увидеть какого-нибудь мальчишку, который, перевешиваясь через сруб, заглядывал в родник, как он устремлялся за шкодененком. Не щадил и своих внуков, этим доставалось от

дедушки еще больше, коли он настигал их за баловством возле колодца. Чужих-то ему труднее было излавливать, а своих хватал во дворе и учинял суд над ними при помощи плетки или хворостины. Совершая экзекуцию, дед обычно приговаривал:

— Это ж надо: они хотят испоганить мой источник, бесенята! Чтoб голова у вас пошла кругом и вы нырнули в этот колодец! Погодите, я вас сам туда подтолкну. Дождетесь вы от меня!

Говорил так, конечно, для острастки, сам же больше всего боялся, как бы кто-нибудь из ребятишек не угодил в родник. Боялся он и того, как бы они, сорванцы, не набросали в него разной разности, не испортили светлой, как слеза младенца, водицы. Кроме того, дед был брезглив до крайности — по этой причине не брал и крошки с чужого стола, отказался и от причастия... Чтo бы там он ни говорил, а из своего-то колодца воду он все-таки пивал и в душе опасался, как бы туда не угодил какой ни то байстрючок, — пришлось бы засыпать колодец. А засыплешь, откуда будешь брать воду для фасоли, где еще отыщут такую еврей для своего чая? Чтoбы упредить зло, дед собственными руками сколотил крышу для родника, но это, пожалуй, уж после того, как приметил, что и воробы облюбовали его любимое детище и начали было сооружать в срубе свои гнезда. Теперь, когда крыша оказалась готовой, старик успокоился. Соседей всех предупредил, чтoбы прикрывали ею колодец после того, как наберут воды. Причем напутствовал их весьма строго:

— Вы пьете воду из святого источника, негодники! Наш поп каждый день черпает из него, потому как водица эта в самом деле святая. Поняли? Хороша она будет, ежели вы забудете закрыть дверцу! Вы чтo же, обрадуетесь, когда туда нырнет какой-нибудь постреленок?! Ведь их сам сатана тянет к колодцу!.. А воробы?.. Мало того что собрались вить там свои гнезда, но и оправляются там, поганцы, а вы пьете такую воду?! Мне-то чтo: я воды не употребляю, моя святая водица — это вино, гм-гм... Храню ее с той поры, как женился на своей старухе.

И вправду, зимою, на крещение, у дедова колодца устраивали Иордань, святые отцы пели «Во Иордане крещаются тебе, господи-и-и!» Тут же стреляли из ружей, окунали серебряный крест в бадью с водой — его, старого Тоадера, водой!.. От этого у несправимого гордеца распускался павлиний хвост.

Иной раз, после того как наколет дров или уберет со двора снег, дед заводил разговор со своим одногодком Лейбой, обращаясь к нему через забор:

— Эй, старина!.. Коровья твоя башка!.. Ты, который ешь чужих кур, ты не боишься, чтo у тебя вырастут крылья?

— А зачем они мне, Тодыр? Мне и без крыльев хорошо!

— А знаешь ли ты, голова твоя, а ум чужой, знаешь ли ты, чтo вода, которую ты берешь для чая, священна?

— Хорошая вода, Тодыр. И лошади ее пьют с удовольствием...

— «Лошади пьют»! — передразнивал приятеля Тоадер-старший... — Коровья ты брзина! Нашел, чтo сказать!

— Но лошади же не пьют вина, Тодыр. Господь бог не сподобил их, а ты не поделился с ними своим умом, вот и...

— Ты это брось, старый негодник!.. Тоже мне трезвенник отыскался. Знаю я тебя — не пронесешь рюмочку мимо рта.

Итоги этой дискуссии нередко подводились в погребке мош Тоадера. Иногда и в другом местечке — это когда Лейба хвастался, чтo привез для своей торговли какое-то уж очень редкое вино: тогда «спорящие стороны» перекочевывали в корчму незадачливого купца. Там мош Тоадер потчевал Лейбу разными побасенками и небылицами, а под конец все-таки опять заворачивал на старую борзду:

— Если ты, старина, будешь продолжать пить святую воду, то у тебя вырастут крылья, либо твои же евреи задушат тебя подушкой. Подумают, чтo ты обратился в христианскую веру, и прикончат!

— Я, Тодыр, сам знаешь, не пью святой воды. Пью обыкновенно вино, а по субботам чай.

— Ну ж ты и негодник, Лейба! Ешь-то ты свой кушер¹, а пьешь святую воду из моего колодца. Стало быть, ты кругом святой, ну?!

Ах, как же хорошо знал Тоадер Фрунзе своего дедушку! Хотя никто из домашних — ни он сам, ни его отец, ни мать, ни младший братишка — и не говорили об этом, но все знали, как опустеет их подворье без этого старого ворчуна! Сейчас, видя, как дед жадно, с шумом и подфыркиванием, ест, как подкряхтывает и урчит чтo-то себе под нос по-медвежьи, прокашливается от обжигającego перца, внук живо представил себе, как же осиротеет Кукоара без этого человека, как будет ей не хватать его вечного ворчанья, его странных выходок и придумок. Умри он, вместе с ним умрет колодезный ведун, мастер на все руки, в том числе и такой, какого не будет более, чтoбы дать человеку самое меткое, а потому и самое прилипчивое прозвище. Смолкнет и его гулкий и чистый не по-стариковски голос, напоминающий своим тембром звон самого большого колокола на церковной колокольне. Неужели погаснет и он, этот неповторимый дедушкин голос?.. Да нет же, не может быть!..

¹ Чистая пища (свр.).

Повторяя про себя эти слова, Тоадер Фрунзэ, кажется, только сейчас с особой остротой почувствовал, до чего же дорог ему дед, как же сильно он любит его. Норовистый, упрямый, несдержанный, весь в шипах и колючках, иногда даже не в меру злой, — пускай, все это есть в нем, но, может быть, такой-то он и дорог ему, юному его тезке и внуку. Да только ли ему! Многих односельчан старик поругивал, многим давал обидные клички, но никто почему-то ни разу не пожаловался на него, не посетовал. За очистку пшеницы он брал с них деньги, потому что считал это справедливым. Но совершенно безвозмездно снабжал чуть ли не все село паклей для конопаченья винных бочек, лекарственными травами, ивовыми прутьями для подвязки виноградной лозы, да мало ли еще чем!.. А народ, как известно, не забывает тех, кто делает ему добро. Да, язычок у старика того... прямо скажем, злой язычок и жгучий, иной раз так ужалил, что весь передернешься от боли. Иной момент так разделял тебя, что еще долго будешь мычать невнятно: «Ну и ну! Ну и старик!» Зато никто и не уходил с его двора, не получив того, в чем особенно нуждался.

С той поры как он стал харчиться в доме зятя, за обедом никто не произносил ни слова, знали, что старик не выносит разговора за столом.

В тот вечер трапеза затянулась дольше обычного. Мош Тоадер продолжал чавкать, останавливаясь лишь за тем, чтобы вытереть вспотевшее лицо, — вытирал его большим красным платком. Кажется, это был даже не платок, а скорее всего — наволочка от подушки. Наблюдал внук за дедом с предельной осторожностью, именно украдкой, поскольку тот сам, не прекращая орудовать ложкой, время от времени пристально всматривался во вновь испеченного городского жителя. Вот эти-то дедовы прощупывания и не обещали Тоадеру Фрунзэ ничего хорошего. В прикорме стариковских глаз нет-нет да и блеснет колючая и горячая, как уголек, искорка.

Наконец все ложки разом, точно им кто скомандовал, легли на стол, и тогда-то в полной до этого тишине прогремел дедушкин голос:

— Теперь вот что... Вы не продавайте орехи.

— А мы их и не продаем.

— И вино не продавайте! — тут он повысил голос.

— Откуда мы его возьмем? Засуха же...

— Виноградники есть, будет и вино. При засухе оно даже покрепче и повкуснее выходит!

— Придется все-таки немного и продать, прикупить хлеба...

— Нет! — грозно выстрелил дед. — Сказано, ничего не продавать!

— Как скажете... мы ведь только советуемся...

— А я не нуждаюсь в советчиках! — прорычал старик. — Завтра пошарим у меня на чердаке. Там, пожалуй, наберется пудиков двадцать — тридцать фасоли, смешанной с пшеницей. Копили со старухой, почитай, всю жизнь!..

— Фасоль вашу, дедушка, не сваришь до скончания света...

— Цыц!.. Кто тебе сказал, что ее надо варить?! Добавим туда еще желудей, перемелем все — вот вам и мука, коровьи вы образины!.. Вас еще вареная курица не клевала в одно место... не испытывали вы настоящего голода, а мне приходилось. И не раз!.. Такие бывали засухи, что не приведи бог!.. Дороги перепавивали под посев, поскольку там только сохранялось немного влаги! Вот как было, а вы...

— Мы сделаем, как скажете.

— «Мы сделаем, мы сделаем!..» Чего затвердили! — вспылил старик.

«Диалог» этот велся лишь между дедом и его дочерью.

— Молчи и слушай! — посоветовал отец.

— Молчу и слушаю.

— Ну так вот. Как созреют желуды, все на сборку желудей! Слышите? Все!.. Слава богу, лесов кругом много.

Сказав это, старик встал, подошел к дверному косяку и, блаженно похрапывая, стал чесать о него спину. Затем пробормотал невнятно «доброго времени», что на его языке означало «спокойной ночи». Переступив порог, оглушительно возвестил уже из сеней:

— А с городскими шарлатанами и бубликами, с прощелыгами разными потолкую другим разом. Завтра у меня с ним будет иной разговор! Заявился булочник... коровья башка... чертячий сын!

Дождавшись, когда отец прихлопнул и сенную дверь, Катинка сказала старшему сыну:

— Дедушка сердится на тебя.

— За что же? Я вроде ничего плохого ему не сделал. — Тоадер пожал плечами.

— Дедушка думает, что это вы там, в районе, распорядились, чтобы люди обзаводились козами, — сообщил вдруг Ион. — Гонялся тогда с деревянными вилами за соседскими козами и кричал: «Погоди, придет этот булочник, я ему покажу!.. Ишь, заделался начальником!.. Развел по всем селам коз, коровья образина!.. Постой, дождется он от меня — поддену под зад вот этими вилами!»

— Ион, ступай спать! — прикрикнула мать. — Кто тебя тянет за язык рассказывать деревенские сплетни?! Марш спать!

— Чего ты меня гонишь, мам?.. А отца нашего разве не из-за дедушки сняли с работы? Не за его длинный язык?!

— Не твоего ума это дело, Ион, — отозвался наконец и Костак Фрунзэ. — Мать верно тебе говорит — иди спать. И не заставляй меня повторять еще раз!

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

По утрам было прохладно, чувствовалось дыхание приближающейся осени. Но днем по-прежнему жарко, иной раз даже душно. Лишь к вечеру жара спадала, в воздухе чужались уже иные запахи — не дорожной пыли и сухой соломой, а чего-то другого, многослойного, сотканного, выдать, из душистого сенца в недалеких стогах, недозрелых гроздьев винограда, спелых арбузов, связок и гирлянд перца и чеснока, висящих под кровлями изб.

Странное дело, но приближение осени Тоадер Фрунзэ увидел еще во сне. Когда раскрыл глаза, в избе уже никого не было, окна распахнуты настежь и занавески, радостно прихлопывая в свои невидимые ладошки, купались в утренней прохладе. От выгона доносились знакомые звуки: рев коров и блеяние овец, людские озабоченные голоса, хлопанье пастушьего бича, изредка перемежающегося мелодичным звоном тронка; думалось, что тронки эти привязаны где-то к верхушкам деревьев и, раскачиваемые ветром, позванивают: таланк-таланк-таланк.

Эти знакомые до последней нотки родные звуки окончательно отогнали сон, который был, видимо, очень крепок, коли Тоадер Фрунзэ не слышал, как встали и ушли по своим делам остальные домашние. Встал и он, весь встряхнувшись как-то, почувствовал необычайную бодрость и свежесть во всем теле, для начала — огляделся. Увидел еду на треногом столике, укутанную во что-то теплое, чтобы, значит, не остыла, обнаружил под полотенцем полбуханки хлеба, — вчера он принес две, все, что полагалось ему на неделю. Он обрадовался оставленному родителями завтраку, но как жаль, что они не разбудили его. Что с того, что он сейчас позавтракает, спрячет ключ в условленном месте и пойдет в сельсовет? Ведь никто туда к нему не придет, агитировать будет некогда: весь народ, от старого до малого, перекочевал в поле. Последними на селе были пастухи, которые, слышно, уже тоже покидали селение, уводили стада на пастбище. Лишь они немного припозднились, наверное, задержала дойка: не все ведь хозяйки одинаково сноровисты и расторопны. Но вот чудо: Никэ, Иона то есть, тоже не было дома! Тоадер-то знал, что Никэ хоть и дорос до Иона, но спать любит по-преж-

нему, разбудить его и поставить на ноги было делом нешуточным: если и поставишь на ноги, это вовсе еще не означало, что он «воспрянул» ото сна, Ион и стоя умудрялся спать! Но, похоже, у отца с матерью были свои секреты, с помощью которых они подняли младшего своего сына и увели с собою в поле. Рассуждали при этом, видно, так: чем шляться-слоняться ему по селу, барахтаться в пруду и грязных лужах, лучше уж пускай идет с отцом и матерью в поле да поглядит, как достается хлеб.

Умыванье холодной водой и растирание тела жестким полотенцем еще более освежило Тоадера Фрунзэ, а заодно и разбудило аппетит, ко-ему мог бы позавидовать известный зверь по имени волк. Молодой «комсомольский бог» скоре-хонько уселся за столик и принялся за еду. Завтракая, он мысленно прикидывал, что должен будет сейчас сделать...

С улицы все еще неслись жалобные блеяния овец, недоумевающих, похоже, почему их, гол-одных, подоенных, не гонят до сих пор на пастбище, ведь им так хочется сочной травки!

В тот момент, когда Тоадер, покончив с едой, в самом добром расположении духа соби-рался встать из-за стола, в избе появился встре-воженный чем-то Никэ.

— Ага, проснулся? Наконец-то! Ну и спать же вы здоровы, товарищи горожане!

— Ну, уж не больше твоего мы спим, Ион.

— Ладно, братуха. Хватит об этом... Я при-шел ведь, чтобы предупредить тебя: не выходи сейчас во двор!

— Это еще почему? — удивился Тоадер и улыбнулся.

— Ты не смейся...

— Да что случилось, Никэ?

— Дедушка там.

— Ну что же?

— Что, «что»?.. Тебя поджидает с теми деревянными вилами...

— А ты где пропадал в такую рань?

— Принес вот тебе спелый виноград.

— Откуда?

— С нашего виноградника. Отец послал. Тот, ранний сорт.

— Мадлен или жемчуг?

— Жемчуг, мадлен еще не поспел.

— Зачем же ты нес за пазухой, Никэ?..

— А что? Не велик барин, чтобы подавать тебе все на тарелке.

— Мог бы принести в сумке.

— Сумку позабыл дома.

— А голову не забыл?

— Нет. Голова на месте.

— Сам-то ты поел?

— Комси... комса...¹

— За эти «комси-комса» надает тебе мама ложкой по башке.

¹ Так, слегка (фр.).

— Гляди, как бы и тебе не влетело от дедушки.

Никэ высыпал из-за пазухи виноград прямо на стол и вновь стал любоваться своими часиками. От завтрака отказался, уверяя, что досыта наелся виноградом. Из-за этого винограда его и на поле не взяли: летние сорта винограда уже созревают и их надо было стеречь.

— Ты, Тоадер, поскорее собирайся. Мне некогда тебя ждать.

— А куда ты так спешишь, скажи, пожалуйста?

— Я уже говорил тебе — виноград охранять.

— Ну и иди. Я тебя не задерживаю.

— Нет, подожду тебя. Хочу показать тебе одно место в ограде, чтобы ты прошмыгнул там незаметно для дедушки...

— Послушай, Никэ, что ты меня все пугаешь дедушкой?

— Не пугаю, а говорю: поосторожней будь. Вот приоткрою дверь, сам услышишь, как он там костерит тебя!..

Никэ открыл дверь, и сейчас же братья услышали сердитый голос мош Тоадера.

— Ну, что я тебе говорил? Иди за мной. — позвал Никэ. — А дверь оставь так. Я запру...

Никэ взял старшего брата за руку и повел по малиннику в глубь сада: в конце его их укрывали сперва ветки айвы, а потом вишенника, подступившего вплотную к забору. Легко перебрались через него во двор соседа — баде¹ Василе Суфлещелу, через калитку вышли на улицу и тут расстались: каждый отправился по своим делам.

Тоадер Фрунзе знал, конечно, что дед не набросится на него с вилами, но шум подымет порядочный, поэтому благоразумнее с ним сейчас не встречаться.

Ну и старик! Одной ногой уже в могиле, а продолжает всех учить уму-разуму. Пора бы уж утомиться!.. То ему мешали лошади во дворе, то гонялся за жеребенком, которого в сердцах называл волчьей закуской; доставалось от него особенно курам и уткам, которые все норовили забраться в его огород, поковыряться возле картофеля и пощипать чесночных листьев. Кур и уток он, кажется, воспитал, теперь их и силой не затащишь на дедушкины угоды. Сейчас воевал с соседскими козами.

Правду сказать, в прежние времена никто в Кодрах не держал коз. На всю Кукоару была лишь одна пара этих блудливых животных. Одна коза пробавлялась тем, что грызла бузину у еврея Лейбы, когда его детишки были совсем еще малыми. Другая прижилась и верховодила в отаре овец Георгия Негарэ. Лейба держал козу по великой нужде. Не соображаясь со своими экономическими возможностями, Лейба

наплодил кучу детей, а они требовали молока, коза в какой-то степени выручала. Старую он заменял молодой, и так до тех пор, пока дети не подросли. Дочерей Лейба выдал замуж, а сыновья (их было двое) уехали в Америку с твердым убеждением, что станут там миллионерами, в чем, кстати сказать, не сомневался и их отец, то есть Лейба. Теперь-то уж и устойчивый козий дух окончательно улетучился с его двора. У Негарэ были свои соображения относительно козы. Народ решил, что он держал ее назло всему селу, просто для того, чтобы поднасолить добрым людям, без чего, думалось, не прожил бы и одного дня на свете. Негарэ же уверял, что приобрел козу, чтобы она сама отводила его овец в стадо и сама же приводила их точно в положенное время на его подворье. И это в общем-то соответствовало действительности: коза шла всегда впереди овец, не забывая при этом по пути заглянуть через заборы во многие сады и огороды, — такое уж это милое создание!

Теперь же в Кукоаре смирились с тем, что многие обзавелись козами. Козье молоко не подлежало сдаче по государственному плану, не принималась в расчет и козья шкура, между тем как хорошая коза, завезенная из Буковины, могла дать столько же молока, сколько и корова-первотелок. Прокормить козу к тому же было во сто раз легче: она пожирала все подряд, без всякого разбора; попадетса полень — умнет за обе щеки и козым, бесым своим глазом не моргнет, кинешь ей горький лопух — слопает и его за милую душу; что бы там ни зеленело, все ей впрок. Иногда, правда, в нее, козу то есть, как бы вселялся сам черт и возносил ее, клятую, на самый конек крыши и даже на дерево. Но ведь ее можно привязать к плетню крепче или поставить на прикол где-нибудь на выгоне, на склоне заросшего бурьяном оврага, либо на лужайке перед своим же окном...

Так теперь рассуждали люди. Почти все. Все, кроме, разумеется, Тоадера Лефтера. С трудом примирявшийся с другим домашним скотом, он ни за что на свете не примирится с козами. Война с ними настолько увлекала его, что он даже не шел в поле на косовицу, чего с ним прежде никогда не бывало. Для него пора жатвы была самой долгожданной, он думал о ней, как о великом празднике, замечательном уже одним тем, что тот растягивался чуть ли не на все лето: где-то в конце мая или начале июня начинается сенокос, за ним сейчас же наступит косьба ранних колосовых, ржи, ячменя или озимой пшеницы; затем приспеет пора косить яровые: пшеницу, овес, просо, гречиху... и так до самой почти осени. Летом нельзя было удержать старика во дворе. Не зря же считался он лучшим косарем в Кукоаре. Не только косарем, но знатоком косы. Стоило

¹ Обращение к старшему.

лишь ему прослышать, что такой-то его односельчанин собирается на базар, чтобы обзавестись косой, Тоадер Лефтер бросал все и предлагал свои услуги. Иногда срывался из-за стола, голодный уходил на тот базар, чтобы выбрать односельчанину настоящую косу. Перессорится, бывало, со всеми купцами, подолгу выстукивает специальным ножичком лезвия кос, прислушивается к звону металла, как настройщик тонкого музыкального инструмента, остановится на какой-нибудь одной из целой сотни. Убедившись наконец, что нашел то, что искал, начинал внушать селянину, который собрался было за такой покупкой без него, старому Тоадера: «Коровья твоя образина!.. Послушай, что я тебе скажу: ты за косой шел на этот базар? За той, которой косят пшеницу, или за той, которой режут лук для борща?.. Коса должна быть косой! Понимаешь?.. Должна быть крепкой и острой, как бритва. Разлетится на части, и то любая часть все ж таки останется косой!.. Каленой, острой, той самой, какая солдату заменяет бритву!..»

Вернувшись в село, не отпускал мужика, а приводил его к себе во двор, лез на чердак и снимал оттуда дюжину заготовленных им загодя окосев; долго примеривался к ним глазом, вертел каждое в руках, пока не отыскивал то, которое более всего подходило к только что купленной новой косе. Но и на этом дело не кончалось. Нужно было еще найти на том окосе место, где должен был находиться напалок.

«Заложил-ка окосье за свой затылок, чтобы я снял с тебя мерку, коровья ты башка!» — командовал дед.

Человек закладывал выбранное окосье за затылок, как того требовал старый Тоадер, правой рукой проводил по всей длине лезвия — от основания до самого кончика. Если рука не доставала конца, то старый Лефтер вырывал у опешившего мужика и косу и окосье. С досады скакал на одной ноге:

«Ну и простофиля же ты, я тебе скажу!.. Вот как нужно! Видишь? Коса должна петь в траве, свистеть, как сверчок... Чтoб ты не надрылся при косьбе и не наделал в штаны!..»

Покончив с этими советами, старик вытаскивал на середину двора бабку и принимался отбивать чужую косу. Испытывал ее на траве в церковной ограде. Удостоверившись в том, что коса работает, как ей, по его разумению, надлежит работать, и сам светясь, как именинник, отпускал ошастливленного им односельчанина. Тот смущенно улыбался, об оплате дедова труда даже не заикался, знал, что только оскорбил бы Лефтера, вызвал бы в нем страшную ярость. Иной раз дед все-таки требовал:

— Ты не деньги давай, а отыщи в лесу мне кленовое деревце без сучков... Я сделаю из него такое окосье, каких ты отродясь не види-

вал. Только надо тот клен годика два-три подержать в тени, чтобы он там постепенно высох, — вот тогда будет настоящее окосье!.. Принеси-ка, принеси... для вас же стараюсь. Не принесешь, от меня никуда не денешься, придешь же опять!..

...Тоадер Фрунзе не хотел бы прятаться в вишневых зарослях: не ребенок же он, чтобы играть в прятки, да еще с кем, с дедом?! Но занятие дедушкино было столь странным и удивительным, что внук невольно затаился. Мош Тоадер, как тать, крался вдоль забора со своими вилами, подкарауливая козу. Но та увертывалась почти всякий раз, старик злился до помутнения разума. В прежние времена, когда во всем селении было всего лишь две козы, он легко справлялся с ними. С козой Лейбы старик вообще не встречался: та стояла привязанной на своем дворе, а коза Георгия Негарэ по большей части находилась с его овцами, изредка лишь показывалась ее бородатая голова над забором Лефтера.

Теперь же, как уже сказано выше, коз развелось пропасть и уберечься от них было почти невозможно. Прежде всего облюбовали они забор старого Тоадера, и виноват в этом он сам, потому что вдоль всей изгороди посадил акациевый кустарник. Расчет-то у него был верный: густые заросли акации должны были преграждать путь пылице, которой так много влюбом селе, да и сам забор выглядел в этих зарослях куда надежнее. Акация хорошо принялась, в летнюю пору густо покрывалась сочной листвою, к которой яблони свешивали свои листья, — как раз то, что требовалось козе. Выскочив из загона после дойки, проголодавшиеся за ночь козы обгоняли овец и сейчас же устремлялись к забору, подымались на дыбки вдоль него от одного конца до другого и с непостижимым проворством начинали пожирать листву яблонь и акации, а заодно и обламывать или вовсе пережевывать яблоневые ветки. Шарахались от забора, когда получали дедово угощение, но тут же бежали к другому концу изгороди и там вновь принимались за дело.

Пастух тем временем сидел во дворе мош Саши Кинеза и доил загнанных туда коз и овец. Выдоенные выбегали на улицу и тут же начинали искать еду. При этом ни пастух, ни мош Тоадер не видели друг друга. Но когда рогатое существо с воплем шаркалось от забора скандального старика, пастух отрывался от ведра, кричал:

— Гей, дед! Ты изувечишь моих коз, а я отвечай!..

— Ты, коровья башка, сперва передо мной будешь ответ держать! — гневно отзывался старый Тоадер. — Вот подойду сейчас и этими же вилами укорочу тебе вторую ногу, чтобы они у тебя были ровные. Черт хромоногий, богом наказанный!.. Сиди уж лучше и процеживай мо-

локо через свои рваные подштаники!.. Я, что ли, буду пасти твоих коз?! Да еще сейчас, в пору косовицы?! Когда вся душа изболелась, горит вот тут все! — И, если бы пастух мог, то увидел бы, как старик судорожно хватается за грудь. — А что делает твой подпасок, ты видишь или нет?.. Забрался, дьяволенок, на самую макушку шелковицы в церковной ограде... Так что же, мне прикажете пасти твоих коз, коровья ты образина?! Ты этого хочешь?..

Пока дед шумел, бушевал, его старший внук подходил уже к сельсовету. Перед этим Никэ сообщил ему, что вернется с виноградников к обеду. Прощаясь, напутствовал Тоадера младшего:

— Ты, Тодир, не бойся. Пастух сейчас уведет стадо в степь, и дед отправится на косьбу — видал, поди, что он и косу приготовил для себя, прислонена к завалинке?.. Придешь домой и захочешь пить, принеси себе кувшинчик вина из погреба. Мы залили водой выжимки, и получилось... получился напиток повкуснее твоей городской газировки. Холодное, кисленькое, оно утоляет жажду лучше колодезной воды, которой так хвастается наш дедушка. Ей-богу!.. Это все мама придумала. Она не выбрасывает виноградные выжимки, а сушит их, потом перемалывает на дедушкиной ручной мельничке. На жерновах, значит... Ты только попробуй, за уши тебя не оттянешь, особенно в такую жару!..

— Ладно! — сказал Тоадер. — Сам как-нибудь разберусь...

Он слишком много времени отдал наблюдению за дедушкиной батальей и теперь торопился.

Над дорогой пыль стояла сплошной стеной — ее подняло успевшее опередить его стадо овец и коз. Небо, которому полагалось быть голубым, было мутно-белым, словно размалеванным разведенной известкой. Солнце успело подняться на какую-нибудь сажень, но уже палило вовсю. Вокруг него был тускло-красный обод, точно нимб замутненного, вылинявшего лика господня, второе лето кряду не одарившего жаждущую землю ни единой каплей дождя.

2

«Да-а, — вздохнул тяжело Фрунзе, — дождичком и не пахнет».

Людям явно угрожал голод, от которого их спасло бы лишь коллективное хозяйство, только оно как-то еще смогло бы противостоять этой грозной и непрощеной госте, нареченной коротким и страшным словом «засуха». Поначалу, чтобы встать на ноги, окрепнуть, пустить поглубже корни, первые колхозы в Молдавии освобождались от уплаты всех видов поставок, а колхозники — от налогов, и даже получали от Советского государства разного рода вспомо-

ствования: семенную ссуду, сельскохозяйственную технику — бороны, сеялки-веялки, плуги и даже тракторы. Преимущества коллективного над единоличным хозяйством, казалось бы, очевидны, и все-таки многим крестьянам надобно было еще отчаянно доказывать их, эти преимущества: в течение веков установившийся, привычный образ жизни, дедовский уклад цепко держали селянина.

Ко всему этому надо еще добавить то, что Тоадер Фрунзе далеко не был уверен в своих агитаторских возможностях, разговор с Шереметом крепко засел в его памяти: ты там, в Кукоаре, свой, ты очень молод, а, как известно, в своем отечестве нет пророков, всякий может либо сказать, либо подумать про себя: «Э, парень, ты еще вчера только под стол пешком ходил и уже хочешь учить нас уму-разуму, а ведь ученого учить — только портить!» Еще неизвестно, чем для него, Тоадера Фрунзе, обернется недавнее освобождение его отца от должности председателя сельсовета. И это еще не все. А дедушка с его острым, злым языком?.. Могут ведь сказать: «Твоего батьку «попросили», и с тобою можем так же поступить!..» Иной может присовокупить: «Ты бы послушал своего дедушку... что он калякает о тех колхозах... о тех городских «булочниках» и «бубликах», которые придумали для крестьян колхозы!..»

Живо рисовались молодому комсомольскому вожаку возможные злопыхатели.

Раньше у него не было большей радости, чем возвращение в родное село. Тоадер всегда сильно тосковал по Кукоаре. Когда с вершины холма перед ним открывался вид на утопающие в зелени садов знакомые хижины, сердце, кажется, готово было выпрыгнуть из грудной клетки от непередаваемой радости. Если бы Фрунзе умел петь, то непременно запел бы в такую минуту, как певал его двоюродный брат Георге. При радости ли, при печали тот всегда пел. Тоадер же был начисто лишен певческого дара и душевные волнения удерживал в себе — они не выплескивались у него наружу. «Твоя тоска и моя тоска тяжка и горька, как сыра земля», — звучали в нем слова народной песни и, не находя выхода на волю, сжимали сердце тугим обручем. Звучи эти обычно сами собой рождались в его груди, когда какие-то еще не совсем ясные, но тревожные ожидания мучили его с приближением к родному гнездовью. Что-то подобное испытывал он и сейчас.

А почему, собственно? Не валится же небо на его голову! Отца сняли с работы... Ну и что? Велика беда?! Мать вон рада, что ее муж отделался наконец от этой «проклятушей» службы. Она опять откровенно счастлива, ибо находит его, счастье, лишь в постоянных заботах о своем наделе земли, о своих детях, о нем, о муже. Сельсоветовская служба отрывала его,

как полагала жена, от самого главного — от земли, то есть единственного и вечного источника людских радостей и печалей.

«Нет худа без добра, — говорит теперь мать. — Я одна ворочала землю, чтобы прокормить тебя, твоего братишку и его самого, председателя этого. Его зарплата?.. Э, сынок, ее не хватило бы ему и на одну хорошую выпивку в буфете!.. Затаскали в район — то на какие-то семинары, то на сессии, то на разные там собрания-заседания... Зарплата!.. Придумал же!.. Да он не приносил и ломаного гроша... А угощать районных начальников приводил к себе домой. И мне же приходилось и кормить и поить их...»

Отец помалкивал. Изредка лишь кинет несколько снисходительно-укоряющих слов:

— Перестань, мать. А как бы ты хотела жить?.. Без людей?

К этому ничего не прибавлял. Да и что тут прибавишь. Оклады председателя и секретаря сельсовета были малы до чрезвычайности, а честь, оказываемая им односельчанами, выражалась обычно в одном. Каждый дом считал своим долгом чем-нибудь да попотчевать председателя, и, конечно же, в первую очередь добрым стаканом вина. Отказываться от угощений не мог, потому как не хотел обидеть хозяев. И сам того не заметил, как стал прикладываться к чарке куда чаще, чем бы следовало. Тетя Катинка, приметив все это, взбунтовалась, обрушивалась на селян за то, что они якобы сговорились меж собой, чтобы утопить и председателя и секретаря в своем вине. «Слава богу! — шумела она, — не обидел бог и наш двор. И в нашем погребе есть вино не хуже вашего!»

Вино, правда, было в их погребе. Но, чтобы завелось оно там, Катинке приходилось трудиться за десятерых: прежде чем дать людям выжать себя, виноград выжмет досуха людей, его возделывающих. Это уж известно...

Думая про все это, Тоадер Фрунзе ни на минуту не забывал, что сам-то он объявился в Кукоаре с определенной целью, с очень важным и нелегким заданием. Перебирал в мыслях чуть ли не всех своих односельчан, заранее пытался угадать, как поведет себя этот, как тот, что скажет один, что — другой. А времени на такую предварительную аналитическую работу у него было в обрез: не нынче-завтра позвонит Шеремет и спросит: «Ну-ка, брат, докладывай, что ты там натворил? Похвастайся же, сколько заявлений подвалило к тебе?.. Сколько людей захотело вступить в колхоз?»

Если дела у Тоадера пойдут плохо, то вполне вероятно, Шеремет не удержится от того, чтобы устроить молодому человеку словесную выволочку. Фрунзе мог заранее сказать, какие слова упадут на его голову: «Казенно-суконным языком говоришь ты, брат, о колхозах. Кто же

поверит таким твоим препостным словесам?! Погорячей, посердечнее надо — ты же хочешь вывести твоих односельчан на новую дорогу, повести их к новой жизни. Понял?!»

В сельском Совете Тоадер Фрунзе застал только секретаря, крепенького сколоченного, казавшегося чуток полноватым, поскольку был он невысокого роста. Секретарь родом не из Кукоары. Прислан сюда из райцентра. Тоадер хорошо знал его и всегда удивлялся при встрече с ним двум вещам: имени секретаря и его совершенно чудовищной ревности. Звали здоровячка Аверкием, подобных имен что-то не слыхивали в Кукоаре. Фамилия же была привычной для здешних мест: Богдан. В самой Кукоаре были две семьи Богданов, и, чтобы не попутать их, той и другой в непостижимо короткий срок дали свое прозвище. Одна Богданова ветвь наречена была «турки», а другая «ботезаты», то есть крещенные. Когда ты, например, называл Мариоара Богдана, то обязан присовокупить «турка» или «турчонка», это уж самообозначаясь с возрастом названного. Лишь к фамилии секретаря сельсовета ничего не добавлялось, поскольку крестьяне находили, что у бедняги само имя срамнее, обиднее любого прозвища. Но вскоре крестьяне как бы спохватились: где это видано, чтобы в молдавском селе проживал человек без клички? Это же непорядок! И кличка пришла-таки к секретарю в свой час.

Секретарь был, в общем-то, довольно статный, даже красивый мужчина. Но бог не поленился и подобрал для него еще более красивую жену. Как всякая красавица, она была малость ветрена, что доставляло ее мужу некие жизненные неудобства, принуждавшие его всегда быть начеку, держать ухо востро, почаще вспоминать мудрую народную присказку: «Береженого и бог бережет». Короче, оставивши в доме без всякого присмотра такое сокровище, Аверкий Богдан, естественно, не мог спокойно вести в конторе свои секретарские дела. Каждый полчаса он срывался с места, выскакивал из-за стола и мчался что есть духу домой — проводить свою принцессу. Писал он быстро, и почерк у него был на славу: чтобы учинить какую-нибудь справку, он обходился одной-единственной минутой. Пришлепывал в верхнем левом углу штемпель, ставил в положенном месте свой заковыристый автограф и передавал бумагу просителю, не забыв дать совет: «Посиди, гражданин, вон там на лавочке, сейчас придет председатель и распишется в твоей справке». Но затем вскакивал как ужаленный и бежал домой. И так продолжалось в течение всего рабочего дня...

Когда же накопившиеся дела накрепко привинчивали его на весь день к сельсоветовскому креслу, жена сама приходила в контору. Детей у нее не было, и женщина могла распорядиться своим временем, как ей вздумается. Казалось,

в такое время Аверкий мог бы быть спокойнее, а оно — напротив. Когда красавица объявлялась, муж ее хмурился, нервно ерзал, взгладывая исподлобья на нее. Он не мог не заметить того, что мужички, приходившие за справками и получившие необходимые бумаги, не спешили покидать сельсовет, а долго еще отирались там — отирались в прямом и переносном смысле, потому как побелка стен перекочевывала на их одежду. Впрочем, сами-то мужики этого не замечали, поскольку другой предмет занимал их более всего...

Женушка Аверкия не работала и в поле — какая же тогда была б она принцесса! На солнце не запекалась, как другие женщины, была всегда беллица. Как всякое смазливое создание, отлично знала расположение всех самых, с ее точки зрения, выигрышных мест на своей, кажется, исполненной самим создателем фигурке; знала и старалась выставить их напоказ глазеющим на нее и блудливо, многозначительно ухмыляющимся мужикам. Даже при сильных морозах чертова эта бабенка не упрятывала, не упаковывала себя в зимнее пальто, а прибегала в сельсовет в одном легоньком платьице с короткими рукавчиками — влетала в «присутствие» раскрасневшаяся, свеженькая, сияющая, будто господь бог принял сызнова сотворять мир и начал вот с нее, этой ослепительной красавицы. От полыхавшей свежести ее лица, от белозубой улыбки, от запахов губной помады, духов, пудры и туалетного мыла устойчивый и, казалось, неистребимый дух овчинных полушубков и терпкого мужского пота пропадал вовсе. Присутствующие оживлялись, делались не в меру разговорчивыми и непривычно остроумными. Лысина же Аверкия тотчас покрывалась мерцающими бусинками пота. Через минуту он уже выпроваживал жену:

— Иди, иди домой!.. Я сейчас вернусь. А ты можешь простудиться... Ишь, выскочила!..

Угостившись в чьем-то хорошем доме, Аверкий Богдан по дороге домой пел и плакал одновременно. Умолкнув, начинал считать про себя, сколько раз жена изменяла ему, уходила от него, а он, с трудом возвратив к себе эту блудную дочь, прощал ей все ее выходки. Из-за нее оставил хорошую службу в городе и приехал в эту грязную и пыльную Кукоару. Теперь кое-кому говорил, что бегаю так часто домой в рабочие часы потому, что опасаюсь, как бы бандит Гицэ Могылда не появился к ней, Богдановой женке, — она ведь, проклятухая, из одного села с тем головорезом, жила с ним даже на одной улице.

Прозвище же, как и следовало ожидать, пришло к Аверкину от мош Тоадера. Заявившись в сельсовет, когда он был полон народу, патриарх Кукоары громко возгласил:

— Где он тут, этот законник?

— Какой, мош Тоадер? — спросил кто-то из присутствующих, ожидавших уже потехи.

— А вот тот, который собрался оштрафовать меня за то, что я имею решето и очищаю для людей пшеницу?

— Он на минутку побежал домой. Сейчас придет.

Мош Тоадер ответил на это, что у него не осыпается пшеница в поле и воробьи не подымают с голода под стрехой и, раз такое дело, он может и подождать.

Но секретарь почему-то задержался дома дольше обычного, и старик потерял терпение. Уходя, проорал во всю мочь:

— Слунтай он, ваш секретарь, а еще законник!.. Нашел, кого штрафовать, — меня?! Перекроил бы пашеничку для посева, тогда узнал бы, что это такое!.. Тогда б не стал держаться за женину юбку!.. Дурень, разве не знает, что слабую на передок бабу не удержишь никакой силой!.. Легче пасти стадо зайцев!..

Канторка содрогнулась от оглушительного хохота мужиков.

Вернувшийся в эту минуту Аверкий, давая знак селянам, чтобы умолкли, набросился на старика:

— Ты откуда это взял, дед?.. Кто тебя штрафует?.. Будь ты помоложе, может, и положили бы твоё решето каким-нибудь налогом. А сейчас валяй шлепай его по крутым бокам сколько хватит духу!

— Я?.. Платить тебе?.. Налог?.. Ах ты такой-сякой!.. Каралиу-Булочник, где ты взял такие законы?.. Ты что, думаешь, я испугался тебя? Как бы не так!.. Я и с попом на ты!..

Не прошло и полчаса, как туесок, веревка, шест и самое решето — весь рабочий инструмент деда — оказался в кабинете секретаря. Мош Тоадер приволок бы и три слезы, к скрещению которых, вверху, подвешивается кроильное решето, но они были слишком тяжелы.

— На, на, подавился этим решетом! — кричал разъяренный старик. — Подыми-ка его да покрути. Это не сосек на грудях твоей красавицы!..

Бедный секретарь так растерялся, что не знал, как ему быть с этим старым безумцем. Ведь он вызвал его только для того, чтобы договориться... спросить, не согласился бы старик очистить пшеницу, предназначенную для красного обоза. Приобретенный сельсоветом трнер хорошо отгоняет мякину, полосу, колоски ржи, а другие, более мелкие примеси, могло удалить из пшеницы лишь кроильное решето этого старого упряма. Кто-то, однако, все спутал. А может, и намеренно, всякое бывает! Незвестный мужичонка подогрел деда, сказал ему, что за решета будут штрафовать, как штрафуют тех хозяек, которые завели у себя нечто вроде швейных мастерских, а за машину не хотят платить налога. Ну, мош Тоадер и взъярился!

И заварилась каша, которую не так-то легко было расхлебать. Дед ни за что не хотел унести обратно домой свое огромное решето, заполонившее со всеми своими причиндалами весь кабинет. Нельзя было отправлять на элеватор и сорную пшеницу — там ее все равно не приняли бы. Клубок час от часу запутывался все больше, и, приближаясь к сельсовету, Тоадер-младший еще не знал, что распутывать его придется ему, Фрунзе. На его счастье, он хорошо знал нрав своего деда, знал, что тот вспыхивает так же быстро, как и остывает. Надо лишь не спорить, не пререкаться с ним, а какое-то время перемолчать. Так именно и поступил он, Фрунзе. Так, по его совету, поступил и секретарь. Отделались же они самым малым, сущим пустяком — на своих руках отнесли кроньное решето и все прочее на дедушкин двор. Труднее было уговорить старика, чтобы он смиловился над ними и очистил государственное зерно.

— Тысяча пудов в день?.. Да вы что, с ума посходили?! В мой туес помещается только полтора пуда... это моя мерка... Вы же, молодежь, законники, не хотите учиться такому ремеслу!.. Вот умру я... умрет старый Тоадер, что вы будете делать?.. Разве не примечаете, как слаб я стал глазами?! Слезятся все время, ничего не вижу... Больше тыщи не смогу... Постарел, гавкаю вот только, как старый барбос... Прости ты мою душу грешную, господи!

Мош Тоадер сам принес из погреба кувшин вина, угостил им секретаря и себя, и мир был восстановлен. При расставании дед лишь потребовал:

— Про шкалик водки и про хвост селедки не позабудьте... чтобы через час тут были!.. И парочку мужиков со здоровой кишкой подкиньте, чтоб успевали подсыпать пшеницу в мое решето... Гм-гм, может, тогда и за тыщу перевалю... Испробую, поглядим потом! И чтоб не было никаких начальников надо мной, слышите?! Никаких шарлатанов и ротозеев... Не могу при них!..

Случай с решетом был прошлым летом. С тех пор Тоадер Фрунзе встречался с секретарем сельсовета много раз. Тоадеру было неприятно оттого, что прозвище, данное Аверкию дедом, оказалось таким прилипчивым. Можно было бы и пощадить нового на селе человека и не награждать его кличкой. Хорошо, что Аверкий Богдан оказался не обидчивым человеком, понимал, к тому же, шутку. Он попытался лишь узнать, что в действительности означали эти соединенные вместе два слова: «Каралиу-Булочник»? Никто, однако, не смог подобрать к ним ключа, даже учителя не смогли этого сделать. Отказался от расшифровки и сам мош Тоадер: вырвались они у него вгорячах, а что означают, он и сам не ведал. В конце концов народ решил, что Аверкий Богдан прозван Ка-

ралиу-Булочником потому, что в недавнее время был городским жителем, а еще потому, что уж очень сильно и на виду всего села ревновал свою жену. Последнее было, пожалуй, решающим, потому что вскоре всех отчаянных ревнивцев в Кукоаре стали называть каралиу-булочниками.

И все-таки обидно было за Аверкия: не служивал он никакого прозвища! Был он, пожалуй, одним из лучших секретарей сельсовета во всем районе. Он спокойно мог бы работать финансовым инспектором в райфо, да что поделаешь, если у тебя такая ненадежная жена: убежишь с нею от греха подальше, улетишь не только в Кукоару, но и на край света, лишь бы подальше от чужих мужских завидующих глаз.

Тоадера Фрунзе секретарь всегда встречал приветливо, подымался к нему навстречу из-за рабочего стола, протягивал обе руки:

— А, с прибытием!.. Как добрался, городской бублик?.. Так, кажется, зовет нас, городских, твой дед?! Рад, очень рад!

— И я рад видеть вас в полном здравии!

— Домой заходили?

— Да.

— Старик не заключил перемирия с козами?.. Отсюда иной раз слышно, как он с ними воюет...

— Тут понять его можно. Не любит он этих животных сызмальства, а теперь и подавно: шкодят они сильно в его саду...

— Жаль вот только твоего отца, Федор Константинович!.. Из-за старика он пострадал. Не язык, а черт знает что у твоего деда! А мы было в отцом-то твоим сработались, понимали друг друга с полуслова... Но этот вредящий старик...

— Да что же тут произошло? Скажу по правде, надоела мне эта загадка: дед да дед... Что же он натворил тут?.. Может быть, вы мне скажете?

— Да что тут говорить?! Старик он и есть старик, к тому же такой строптивый. Что ты с него возьмешь?! О чем бы с ним ни заговорили, твердит свое: «Ни пахоту мою не сожжете, ни пруды мои не спалите!»

— И все-таки, что же он сделал? Должен же я знать в конце концов! — взмолился Тоадер-младший.

— Ну что ж, слушайте, — секретарь подвинулся поближе к Фрунзе и заговорил, даже не заговорил, а зашептал почти таинственно на ухо комсомольскому руководителю: — Мы тут одни с вами... И если я рассказываю все вам, то это потому, что очень уважаю и вас и вашего отца, дядю Костю... Я убежден... да, да, совершенно убежден, что его сняли напрасно, он не должен страдать из-за какой-то болтовни выживающего из ума старика...

— Хорошо, но я так и не знаю, что же слу-

чилось. Все село, наверное, знает, что тут наговорил старый дурень, только один я не знаю.

— Что село! Весь район слышит, ведь горло у твоего деда что иерихонская труба. Как загудит, и не умолкает ни днем, ни ночью! Орет во все горло!.. Мне, знаете, как-то неудобно повторять за ним это... разное...

Аверкий Богдан крутил и так и сяк, но все-го не сказал, ловко увернулся, перевел разговор на другое и под конец сообщил, где можно отыскать председателя сельсовета.

— Мы получили телефонограмму из райисполкома... Предложено отобрать небольшую группу самых авторитетных в Кукоаре мужиков для поездки на Украину. Она, эта группа, должна побывать в тамошних колхозах и поглядеть, как там живут люди. Вы же знаете, и у нас начинается... Приспела пора!..

— Начинается, ну и в добрый час!..

— Добрый-то он добрый, но дела продвигаются с трудом...

— Сколько поступило заявлений?

— Двадцать три.

— То есть?!

— Что «то есть»?.. Заявления подали только агроуполномоченные. — Секретарь нахмурился. — Подали заявления, а работать агроуполномоченными больше не хотят. Вдрызг перессорились с женами и покинули свои посты. Вокруг нас остались одни сельсоветовские сторожа да посыльные. Вот, товарищ Фрунзе, какие наши дела!

3

Из двадцати трех дворов, по здешним условиям, невозможно было создавать колхоз. Тоадеру Фрунзе это хорошо известно. В райкоме партии, где уполномоченные получали инструктаж, настойчиво подчеркивалось, что для организации коллектива нужно не меньше ста двадцати — ста пятидесяти заявлений, что составило бы четвертую часть единоличных хозяйств. Нужно еще руководствоваться соображениями, чтобы новые колхозы не создавались лишь из одних бедняков, этих безлошадных и бесхозных бедолаг, у которых ни кола, ни двора, ни лошади, ни плуга. Требовалось как можно больше вовлекать в первые колхозы середняков, у которых был и тягловый скот, и кое-какой сельскохозяйственный инвентарь. Такими-то как раз и были кукоарские агроуполномоченные, написавшие заявления. Но их было мало. Можно еще рассчитывать на женатых комсомольцев, на активистов из женсовета, которые по своему положению проявят сознательность и запишут свои семьи в колхоз. Вот, собственно, и все!

— Те, что подали заявления, не продают свой скот случаем? — спросил Тоадер Аверкия.

— Да нет, не продают. Мне кажется, Федор Константинович, они и сами-то не шибко верят, что в Кукоаре будет колхоз.

— Активисты — и не верят?!

— Не верят. Полагают, что разговоры о колхозах — это пустая болтовня. В них, колхозах, есть, мол, смысл, но только в степной полосе, в Валя Реутулуй, например, где поле ровное, как ладонь, и его можно обрабатывать машинами. А в этих лесных краях, где с греком пополам может подняться на холм выносливая монгольских кровей лошадедка... Ну какие тут могут быть колхозы!.. Так рассуждают активисты.

— Хороши активисты, нечего сказать! Такую-то агитацию они проводят среди населения? А куда смотрит сельсовет?

— А что поделаешь? Я уже говорил вам, товарищ Фрунзе... Как только подали заявления, перестали приходить в совет. Вот они какие, эти активисты! С какой-то сатанинской яростью принялись за свои личные хозяйства. Должно, чтобы жен ублажить, утихомирить малость — ведь те житья им не дают, поедом едят за то, что подали заявления в колхоз. Попробуй-ка повоюй с этой юбочной армией! Они ведь, бабы, понапористее нас, мужиков!..

— Н-да... — вырвалось у Фрунзе, и он колупнул свой затылок.

Знал Тоадер-младший Кукоару, как свои пять пальцев, знал наперечет всех ее обитателей, в том числе и тех, которые с великой радостью пошли бы в колхоз, потому как терять им все равно нечего. Дай только им знать, поговори с ними, и заявления посыплются. Но будет ли толк от всего этого?

Взять, к примеру, Афтения Заику. Этого помани пальчиком, вприпрыжку побежит в колхоз. Что ему! Он давно распродал все свое хозяйство — и землю, и скотину, и домишко. Сам перебрался на жительство в церковную сторожку. По ночам храпит там, а днем ходит по селу с блюдом, выпрашивает у доброхотливых хозяек борщочку. Из их же только что протопленных печей выхватывает уголек и несет в свою конуру, где у него даже спичек никогда не бывает. По праздникам бабахает в колокола, разводит жар в поповском кадиле; за эти малые услуги Афтению Заике кое-что перепадает — то ломтик калача, то долька просвиры, то горсть кутьи... Был бы он одиноком, этот кукоарский Заика, тогда бы куда ни шло: ютись там в тесной сторожке. Но он успел обзавестись множеством ртов, которых не насытить ни просвирой, ни кутьей. Его великовозрастный сынок, которому давно пора бы уж покониться в супружеской постели, целыми сутками, точно малое дитя в зыбке, лежит на печи, вытирает там кирпичи своими штанами. По слабоумию сынулю Заики не взяли даже в армию, на войну. Ну, а дочери?.. Афтений Заика и не помнит, сколько

их у него. Никто, однако, из односельчан не видел их с мотыгой, граблями или еще с каким орудием крестьянки. Не видел и не мог понять, чем же они питаются, как не помрут с голоду и, вообще, зачем живут на свете такие люди!.. При одной мысли, что, пожалуй, все-таки придется переступить порог и в сторожке Афтения, у Тоадера Фрунзе закружилась голова. В хижине Афтения прежде всего ударит в нос кислющий запах, такой, какой обычно исходит бочка с перестоявшимися соленьями. Из соображений экономии тепла Афтений целыми зимами не проветривает сторожки, не открывает ни на минуту ни окон, ни дверей. Обитатели этой берлоги сами уж походили на диких зверей. Дочери Афтения глядели на людей исподлобья, когда им все-таки приходилось выползти на улицу за водой, испуганно шарахались от любого встречного.

Тоадеру Фрунзе было жаль главу этого семейства. И зимою и летом — вечно он был укутан в какой-то грязно-желтый башлык, носил его вместо шапки, которой у него никогда не было. Концы башлыка заводил за спину, потом возвращал на грудь и тут потуже завязывал, чтобы «согреть душу». Издали Заика походил на солдата времен русско-турецкой войны, какого можно было бы увидеть где-нибудь под Плевной. Но, приблизившись, каждый видел, что с таким «героем» не удалось бы сокрушить турка. Да и колхозу не будет от него никакого проку. Во всяком случае, не с Афтения надо начинать. Подойдет и его срок, когда коллективное хозяйство встанет на ноги, окрепнет и сможет без особых потерь для себя призреть и этого несчастливца вместе с его выводком...

Тоадер Фрунзе уныло глядел в окно сельсовета. Окно выходило во двор, и перед глазами «комсомольского бога» маячил сарайчик. В недавние еще времена сельсоветовский дом принадлежал священнику, и сарайчик использовался им как летняя кухня. Теперь поп сбежал за Прут, и сарайчик быстро приспособили под обыкновенный склад для угля и дров. Все меняется на этом свете, да еще как быстро меняется! Когда-то на этом дворе копошились батраки, в сарайчике нежилась, потягивалась, как кошка в тепле, немая Аника, поповская стряпуха, а сам батюшка с матушкой проводили минуты отдохновения в просторном и светлом своем доме. Теперь тут целыми днями скрипит пером секретарь сельсовета, а он, Фрунзе, сидит сейчас в задумчивости и перебегает в мыслях из дома в дом, из одной крестьянской избы в другую и решает, с какой же из них начать...

Тут есть над чем поломать голову. Первые полученные им заявления могут оказаться решающими. Значит, и первые его шаги должны быть тщательно выверены, любая оплошность со стороны уполномоченного может сыграть роковую роль. Тут уж действительно семь раз

отмерь и только один раз отрежь. Ты ведь сейчас должен будешь коснуться колеса истории, призванного дать иное, совершенно новое направление в жизни родного тебе селения, да только ли одного его! Легко ли перебросить мостик даже через самую лядящую речушку?! В сотни, в десятки сотен раз труднее перекинуть его меж человеческими сердцами, сделать так, чтобы люди доверчиво шли по нему в неизведанное будущее, взявшись за руки, не страшась за свой завтрашний день! Трудно, дьявольски трудно, но это надо сделать. Надо! Но как?!

Из сарайчика во дворе вышла женщина с пустым ведром — похоже, она направлялась за водой. Вот те раз! Она, очевидно, видела, как Тоадер Фрунзе уставился в окно, не подозревая, что в помещении этом, кроме дров и угля, могла еще скрываться живая душа. С самим же сарайчиком у Тоадера были связаны дорогие воспоминания. Во время войны именно тут ему сшили и сшили первую суконную одежду — на поповском подворье тогда размещалась воинская пошивочная мастерская. И не только пошивочная. Тут же ремонтировались винтовки, пулеметы, минометы и легкие орудия. Оружейные мастера трудились рядом с портными, сапожниками, которые чинили гимнастерки, шаровары, шили новые ватники, кители, брюки, тачали сапоги. По приказу генерала Тоадера Фрунзе одели тут с иголки. Шинель, гимнастерку и брюки для него сшили из светло-зеленого английского сукна, а сапоги изготовили из натурального хрома, сапожки со скрипом, которые не могли присниться ему и во сне.

— В сарайчике кто-то живет? — спросил он у секретаря.

— Живет...

— Кто?

— Любовница председателя, — не моргнув глазом, сказал Аверкий Богдан.

— Что, что ты сказал?

— А вот то, что вы слышали, товарищ уполномоченный.

— Хорошенькое дельце! — Тоадер изумленно уставился на секретаря, который так просто, так буднично-спокойно сообщил ему эту поразившую его новость. — Это что же получается?.. Едва вступив на престол, он уже притащил ее сюда, на сельсоветовский двор?.. Что-бы далеко не ходить, что ли?.. Ну и ну! Хорош гусь этот новый...

Аверкий, однако, перебил парня:

— Не о нем же идет речь, товарищ Фрунзе... Новенький-то имеет любовниц в другом месте...

— Не понимаю... Не может... Быть того не может, слышишь ты!..

— Очень даже может быть, — по-прежнему спокойно продолжал секретарь. — А что тут

удивительного? Девушка молодая, красивая... Отец выгнал ее из дому. Должна же она была где-то приютиться...

— Нашла приют! — вырвалось у Тоадера.

— А что? Это у нее по совместительству... с бывшим-то... А по должности она уборщица. Подметает помещение, в неделю раз моет полы, зимою протапливает голландку...

— А по ночам, значит, ласкала председателя? — Тоадер уж весь трясся.

— Ласкала. Ну и что с того? — бубнил невозмутимый Аверкий. — Человек не камень...

И только теперь Фрунзе взорвался:

— Не верю! Ни единому слову вашему не верю!.. Какая мерзость! Это же клевета! Вы все, ревнивы, такие. Наговорите о человеке кучу гадости, облепите грязью... Вы всех готовы заподозрить в чем угодно!

Теперь молодой Фрунзе глядел на Аверкия с предельной ненавистью, такой же взгляд бросал он и на злополучный сарайчик. «Ишь ты куда хватил, щелкопер несчастный! — Тоадеру было душно в кабинете, и он выскочил на улицу. Уже тут про себя отчитывал секретаря: — Мой отец... и вдруг любовница?... С ума можно сойти! Врешь, негодяй!.. Если сам держишься за женину юбку, то для тебя все мужики... все мужики... Ты всех меришь на свой аршин, мерзавец. Для тебя все они юбочники!.. Себя-то ты, впрочем, считаешь святым, таким херувимом непорочным, а всех остальных...»

На этом месте Тоадер Фрунзе вынужден был приостановить поток гневных своих мыслей: ему навстречу шла та молодница с полным ведром. От неожиданности юноша оторопел. Тупо и растерянно глядел на нее. А она спокойно сказала, чуть улыбнувшись:

— Вам повезет. Я вышла навстречу вам с полным ведром.

Тоадер только сейчас вспомнил, что знает ее. Это была девушка с другого конца села. Судьба ее несчастлива. Отец — беспробудный пьянчужка, хотя мог бы жить не хуже, а даже лучше других односельчан, поскольку был неплохим бондарем. Теперь работал лишь от случая к случаю, ходил со двора во двор с молотком и набойкой, починял бочки и кадушки, квашни, другую домашнюю деревянную утварь. Работал и дома, когда у него были клепки. Все вырученные таким образом деньги сейчас же пропивал, часто валялся у заборов... Был он не простым выпивохой, а выпивохой-философом, уверял приятелей, что пьет только красное вино. «Какой прок от белого? Белое вливаю в себбя, белое же и выливаю. Иное дело — вино красное. Красное пьешь — белое выливаешь: значит, что-то остается в твоём организме. От него цвет лица у тебя румяный, розовый!» — разглагольствовал пьянчужка при случае.

Ко всему был этот человек еще и буйным. Выгнать из дому родную дочь!.. Какой нор-

мальный способен на такое! При любых жизненных передрыгах он не сделает этого. Не делает, даже если бы у него умерла жена и он принужден был жениться второй раз, ввести в дом мачеху для своих детей, — пусть она будет злой-презлой, и тогда настоящий отец найдёт способ защитить, оборонить своих чад... А этот сам выгнал!..

Несчастливая дочь к этому времени подросла, налилась, как спелое яблоко, и все увидели, что она красоты необыкновенной.

«Да, верно говорят люди: когда господь бог наказывает кого-нибудь, то и палку забывает над своей жертвой, — подумал Тоадер Фрунзе. Как он ни был разъярен, все же не мог не глядеть на это несчастное создание. — Зачем ей такая красота? Она принесет ей лишь еще большее несчастье. Как всякая красавица, быстро узнает цену себе, будет ловить взгляды любующихся ею мужчин, которым захочет затуманить голову. Вон как сейчас сверкнула лукавым своим глазом! Правда, застеснялась, сказала тихо: «Вам повезет...» О, коварный зверек!.. Кого ты еще подстерегаешь?.. Впрочем, зачем же так?.. Не буду думать плохо о ней. Что я знаю об этой женщине?»

Унаследовал ли от родичей такое правило или приобрел его сам, но Тоадер во всех людях старался видеть прежде всего хорошее. Дурное-то в человеке разглядеть проще, оно само лезет наружу, а доброе стыдливо, оно прячется от стороннего глаза, его надо уметь увидеть. И не надо спешить с приговором: этот такой-то, а этот вот такой. Не торопись, присмотрись попристальнее к человеку, присмотрись к нему со всех сторон...

Пожалуй, лишь вспышка страшного гнева заставила его на какой-то краткий миг забыть свое же правило. Но он вовремя спохватился. Вспомнил теперь, какое имя ей дали родители. Сами голодали, ходили в лохмотьях, а нарекли дочь Анишоарой. И что за диво?! Какой удивительный и странный, загадочный творец — природа?! Спит девочка прямо на полу, на соломе, неухоженное, никому, кажется, не нужное существо, — более горького зрелища вроде уж и нету. Достаточно, однако, распахнуться этим прижмуренным в сладком сне глазам, медленно, как бы нехотя раскрыться, достаточно увидеть, как горят они, как сверкают в них горячие огоньки, и ты забудешь и про солому, и про убожество, и про все то, что связано с удручающей нищетой, сквозь которую проросло это чудо!.. Как могло случиться такое? А ведь случается часто... И такое бывает не только с людьми. Корми, пичкай паршивую коровенку отборным сеном, золотистой, цвета яичного желтка кукурузой, замешивай для нее мякину на отрубях, на муке даже, а коровенке все не впрок, как была лядшей, так лядшей и остается. А другой дай только понюхать, лизнуть такого

сенца и зернеца, чтобы только не пала, только бы перезимовала, а она тучнеет у тебя на глазах, выйдет из хлева во двор — залюбуешься. Это ли не волшебство! Это ли не загадка творения!..

Нечто подобное происходило и с отцом Тоадера Фрунзе. Стоило появиться молодому вину, как в течение какой-нибудь недели Костаке преобразался, наливался красным соком, как хороший арбуз. Летом, в пору тяжелых полевых работ, высыхал и обгорал так на солнцепеке, что походил на большую головешку. Отведав же раз и два из первой кадки шипучего и хмельного молодого вина, человек воскресал на глазах у всех: кожа на лице разглаживалась, морщины куда-то прятались, щеки подрумянивались; словом, хорошел и полнел не по дням, а по часам, как здоровый младенец, прилабунившийся к материнской груди...

Костаке Фрунзе не был пьяницей. За все время сыновья видели его пьяным всего несколько раз. Но редкие эти случаи были весьма опасны и для него самого, и для его семьи. Подвыпив как следует, а точнее бы сказать, как не следует, Костаке готов был пойти на любой спор, готов держать пари с каждым встречным и поперечным, причем на что угодно. Однажды едва не отдал богу душу за этот свой порок. Пospорил с каким-то военным, что может съесть целую связку горького стручкового перца, и съел. Пари выиграл, но чуть было «не сыграл в ящик», как говорится в подобных обстоятельствах. Костаке, видно, и сам хорошо знал за собою эту дурную привычку и потому обычно соблюдал меру в выпивке. Знал и то, что от нее все беды: вино, если употребить его в излишестве, развязывает человеку не только руки, но и язык, что не менее опасно...

Неужели Шеремет, щадя Тоадера, не сказал, что его отца сняли с работы за то, что спутался с Анишоарой, дочерью пропащего Кибиря? И можно ли таким образом сохранить тайну, которая для того только и существует, чтобы в конце концов о ней узнали положительно все? Да еще в селе? Тут вообще никаких тайн не существует. Ничего не скроется от народа — сколько бы кувшин не ходил по воду, но рано или поздно все равно разобьется!..

Честь добывается с великим трудом, растерять ее — ничего не стоит. Честь — это залетная, неприрученная птица. Упусти ее — вновь уже не поймашь!.. Разве это не слова отца? Сколько раз слышал их от него Тоадер в родительском доме. Ведь Костаке превыше всего ставил в человеке порядочность. Нередко говорил, что богатство — это бродячая собака: сегодня она у тебя, завтра приласкается к другому: а честь — это жар-птица, которая в любую минуту может выскользнуть из твоих рук, попробуй поймай ее потом. Так что очень надо хорошо ее беречь.

«Впрочем, — опять спохватился Тоадер младший, — не мне судить об отце, имею ли я на то право?.. Может быть, это обыкновенная сплетня, пущенная каким-то недругом, чтобы скомпрометировать его!.. — размышлял про себя Тоадер Фрунзе. — Но почему же тогда говорят, что Костаке пострадал от болтовни дедушки? А, черт! Зачем мне копаться во всем этом!.. Я приехал сюда создавать колхоз, а не коллекционировать сплетни».

Рассердившись на самого себя, Тоадер Фрунзе не пошел обедать домой. Когда нервничал, то утрачивал всякую охоту к еде. Сейчас сердце вроде бы набухло, ему стало тесно в груди, а во рту появилась знакомая противная горечь, и сам рот быстро высыхал, язык прикипал к нёбу.

«К черту, к черту все! — распекал он себя. — Верить сплетням? Да этак можно с ума сойти!.. На чужой роток не накинешь платок!»

Затем постарался погасить в себе вспышку гнева, который был ему так некстати сейчас.

Тоадер решительно перешел дорогу и поступался в калитку мощи Саши Кинеза. В его двор без стука не войдешь, разве только птицам залетным это удавалось. Старик жил как в крепости. В пору военного лихолетья, когда село часто оставалось без всякой власти, он хорошо запасся лесом. Во дворе Кинеза были волы, которые могли бы увезти не только десяток бревен, но целую избу; под крышей дома — пятеро неженатых сыновей, которые все были мастерами по дереву. С такими помощниками можно воздвигнуть любую крепость!

Для опорных столбов и вереи к воротам и калитке Кинез приволок дубовые бревна, ошкурил их, освежевал, распилил как положено и погрузил чуть ли не на целый метр в землю, для чего нужно было немало попотеть и ему самому, и его сыновьям; ясеневые слезы, толщиною с голенище сапога, которым надлежало быть поперечинами сооружаемого забора, две недели выпаривались на солнце, чтобы чуток смягчились, и только уж после этого легли меж дубовыми столбами. Высоченную ограду — для красоты ли, для того ли, чтоб не сгнила под дождем, — венчала добротная сколоченная тесовая остроконечная крыша. Особого тщания, усердия потребовали от мастеров ворота. Из толстых стволов сухого дуба сыновья-умельцы напилили досок, обстругали их так, что доска с доскою сливались, и стороннему человеку могло подуматься: а не из единой ли пластины вылиты эти богатырские крепостные ворота, которые были бы более уместны где-нибудь в средневековом княжеском замке?.. Под стать воротам была и калитка, в добротности она уступала им разве что по ширине, но никак не по материалу, из которого сделана. Поверх калитки строители привесили колокол, коему поручалось звонким, зычным медным своим голо-

сом оповещать хозяев дома о приблизившемся к их гнезду постороннем человеке. Впрочем, надобно сказать, что колокол этот вскоре был убран, потому что не столько сторожил двор, сколько булгачил своих хозяев: сельские ребяташки приладились, как только стемнеет, карабкаться на калитку и разика два дергали за веревку, которая была подвязана к языку колокола. Потом было несколько попыток вообще украсть его: ребята рассудили, что он пригодился бы им во время колядок, к празднику Святого Василия. И сняли бы колокол, но владельцы догадались вовремя упрятать его на чердак...

Мош Саша Кинез... Эх, кабы удалось Тоадеру Фрунзе убедить его подать заявление в колхоз!.. За ним, за крепким хозяином, потянулись бы и другие. Это уж как пить дать! А какие волю, плуги и селки!.. А какие бы работники вышли из его сыновей-мастеров!.. С этими «китайцами»¹ можно гору своротить!

Однако юный уполномоченный райкома понимал, что крепости нелегко сдаются. Их берут либо штурмом, либо длительной осадой. Ее обитатели не для того воздвигали эти фортификации, чтобы отказаться от них в пользу коллективного хозяйства. При одной мысли о детинушках (старшему из них минул сорок второй годик, а младший только что вернулся из армии и тоже, кажется, не помышлял о женитьбе), — при одной лишь мысли о них Тоадера Фрунзе бросило в пот. Подумал с горькой усмешкой: ежели эти парни будут так же долго решать о вступлении в колхоз, как и о женитьбе, то не скоро с ними столкнешься, долго не сварншь каши...

Тоадер знал, что в этом доме мош Саша Кинез, хоть и был главою семейства, но самостоятельных решений в важных делах не принимал. Для этого приглашал сыновей, усаживал их за большой стол, устраивал нечто вроде совета старейшин. Идет ли речь о подвязке виноградных лоз, об уборке пшеницы, о сборе ли винограда — обязательно собирается семейный совет. Все на нем имеют право решающего голоса. Все, кроме, разумеется, тетни Олицы, жены мош Саши: ее место на кухне или над стиральным корытом; серьезные дела должны решать мужики. Бедная, она часто жаловалась соседкам, что не сподобил ее господь родить хотя бы одну дочь или пора бы ей теперь, когда постарела, иметь помощницу-сноху, а сыновья, нечистый их побери, никак не женятся...

Правду сказать, в сетованиях Олицы было мало искренности, потому что ей очень нравился порядок, который заведен был в их доме. За всю свою супружескую жизнь она не принесла ведра воды из колодца, охапки дров из лесу, не прикоснулась к коровьему вымени, не прополо-

ла ни единой грядки на винограднике, не жала ни одного снопа пшеницы на поле, не смолола и кружки зерна на жерновах... Всю эту работу исполняли они, мужчины. Вроде бы жаловаться не на что. И все-таки жаловалась — с какой бы радостью покачала, понянчила на своих руках внуков, но их нету. В этом мужском монастыре она умирала от скуки, не с кем было перемолвиться хотя бы единым словом.

В недавние времена, когда на все село приходилось две ручные мельницы, Олице было малость повеселее. Каждый день заявлялся кто-нибудь из соседей, чтобы намолоть крупы на их жернове. Олица оживлялась. Если с тою же нуждой забегали девушки, прикидывала, какая из них окажется невестой. Перебрасываясь с какой-нибудь из них словом-другим, она нет-нет да и просияет вся: ведь кто знает, может, разговаривает с будущей своей сношкой.

Правда, бывали у Олицы и некоторые неприятности с этими девчатами. Сыновья не разрешали брать с них плату за помол. Но это не самая большая беда: бог с нею, с платой! Хуже другое: увидят парни, что в их дом впорхнула хорошенькая девица, бросают во дворе все свои дела и бегут в сени молотить ей зерно на крупу или муку для галушек, а мать стараются спровадить пасти скот. И это из-за какой-то вертихвостки, которая хихикает и скалит свои белые зубки... Так-то вот. Не ровен час, переберется все, если не оженит их...

Так рассуждала тетка Олица. Но это было когда-то. А теперь, когда ручные мельнички объявились чуть ли не во всех домах, она вот как тосковала по тем веселым и шумливым стайкам девчат, залетавшим на ее подворье. Сейчас никто из них не переступал ее порога. Избавившись от необходимости самой пасти скотину, она лишилась, может быть, самой большой отрады, которую дает людям общение друг с другом.

Сколько раз говорила Олица своим «медведям», чтобы наняли какого-нибудь мальчонку, который мог бы присматривать за их скотиной, но они и слышать не хотели про это, поочередно пасли овец и коров сами. С понедельника по субботу выходили со стадом сыновья, а в воскресенье мош Саша. Такое расписание они приняли давно и соблюдали его неукоснительно.

Вообще переменить что-либо в этом доме было делом чрезвычайной трудности. Как ходил, скажем, нынешний глава семьи в какие-то далекие времена своей молодости с кожаной сумкой на медных застежках, так ходят с нею и сейчас по очереди и он сам, и его сыновья. Как провожал он их до холма много лет назад, так провожает и теперь, когда они выводят скотину на степную дорогу, — ничего не изменилось.

Вот в какой дом решил перво-наперво торкнуться Тоадер Фрунзе, имея при себе историю

¹ Прозвище Кинезов.

ческое задание, продиктованное велением времени. Справившись с минутным замешательством, он постучал в калитку тяжеленным кольцом, висевшим на двери, и тотчас же откуда-то из глубины двора послышался голос мош Саши, хриплый, старческий голос:

— Кто там?... Сейчас подойду... Имейте минуточку терпения!

Сашина «минута», однако, затянулась. Сперва со двора доносились хлопанья дверей, которые открывались и закрывались, и наконец к калитке приблизился один из сыновей старика. Сперва он поглядел в крохотную щелочку в калитке и лишь тогда открыл.

— Пожалуйте, соседushка... Редкий гость... Заходите!..

Это был самый младший сын. Он вышел в одной белой рубашке, наглухо закрывавшей горло. Федуча — так звали последыша — позже всех вернулся домой после войны, потому что много времени пролежал в госпиталях. Очень берег вещи, которые остались у него от армии. Гимнастерка и брюки были совсем новые, ни капельки не выцвели на солнце и не побелели от стирки. Так же чисто и аккуратно было все и во дворе. Никто бы не мог подумать, что еще совсем недавно весь двор был наводнен скотом: всюду тщательно подметено и окроплено водой. Кадушки и чаны, точно головы великанов, сушились на кольях забора. Чувствовался лишь специфический, ничем уж не искоренимый овечий и козий запах.

— Что, мош Костя и Катинка еще на косянице?

— Да, они в поле.

— Ну, а мы, слава богу, управились... Да с чем там было управляться — пшенички как кот наплакал!.. Горе горькое, а не пшеница!

— Да, плохая, — согласился гость.

— Пожалуйте в хату.

Главная изба у этих людей всегда была заперта. Фрунзе теперь не помнил, есть ли там печь или нет. Он раз или два побывал в ней. Семейства Костяке Фрунзе и мош Саши жили по соседству, и сыновья последнего любили ребятшек Фрунзе. Они не подходили по возрасту, но это не мешало их дружбе. Тоадеру-младшему даже нравилась такая дружба: никто из сельских ребятшек, его сверстников, не рискнул бы напасть на того, кто находится под покровительством таких богатырей, как сыновья мош Саши Кинеза. Под их защитой ты мог уже не опасаться, что кто-то на посиделках поднесет к твоим губам кружку с крепко посоленной водой или набросит кожух на твою голову, чтобы ты больше не ходил на эти самые посиделки, — на такое не решился бы даже самый отчаянный забияка. Раз два соседа вместе встречали Новый год, совпадавший с праздником Святого Василия; так как одного из сыновей мош Саши звали Василием, то заодно уж

праздновались и его именины. Но это было давно, а теперь вот Тоадер Фрунзе не мог даже вспомнить, была ли печь в доме мош Саши. Помнил лишь про холод, который властвовал в парадной избе соседей. Только вино согрело тебя, не давало превратиться в сосульку в той каса маре.

Сейчас он застал всю семью в полном сборе за низким квадратным столом. Стол был так низок, что колени молодых мужиков возвышались над его краями на целый аршин.

Тетка Олиа напекла ватрушек из кукурузной муки, сдобренной горсткой муки пшеничной. Теперь ватрушки источали теплый вкусный запах. Хозяйка искоса глянула на гостя. Так обычно смотрят на пришельца в голодный год. Если ты угодил в обеденное время, то легко по глазам хозяйки можешь прочесть и ее мысли: «И какой только дьявол принес тебя сюда?.. Не мог, что ли, прийти в другое время?!»

Сыновья, однако, явно обрадовались гостю. Как он ни сопротивлялся, как ни отнекивался, они насильно подняли его с лавочки и усадили за стол. Тот же Федуча сбегал в погреб и нацедил кувшин вина. Оно у них уже кончалось, чуть-чуть подернулось плесенью, «зацвело», выдохлось, и все парни просили у гостя прощения за то, что потчуют его таким плохим напитком. Действительно, вино, отдающее привкусом дрожжей, как-то совершенно не согласовывалось с вкусными, только что вынутыми из печи ватрушками, явно не шло к ним, отгоняло только заманчивый, приятно бередящий обоняние запах зеленого лука и свежей овечьей брынзы.

«Ну, что же ты тянешь, — мысленно подстегивал себя Тоадер, — шуточками хочешь отделаться? Тут они тебе не помогут! Говори сразу, зачем пришел. Не отдаляйся слишком далеко от цели своего прихода, не залезай в словесные дебри. Говори ясно и просто — так, чтобы всем тут было понятно, чего ты от них хочешь... Твои ужимки, пожатия плечами и прочие недомолвки могут испортить все дело!..»

Старая Олиа едва попевала метать ватрушки на стол, за которым орудовали семь мужичков. Сама она поедала свою порцию прямо у печи.

Мош Саша и его сыновья потчевали гостя и сами уминали ватрушки за обе щеки. Фрунзе не мог оторвать глаз от их рук. От работы ли тяжелой, либо от природы, но руки эти были неправдоподобно огромны; пальцы по-слововьи толсты и коротки; ногти на них, похожие на маленькие копытца, были загнуты как-то вовнутрь.

Мош Тоадер Лефтер почему-то называл своих соседей немцами, хотя прозвище у них было «китайцы». Между тем как настоящей их фамилией была Лунгу, не исключено, впрочем, что и она произошла от прозвища: Лунгу — значит длинный, что находилось в полном соот-

ветствии с физическими данными всех Лунгу, начиная с их далеких предков и кончая самым последним наследником. Для старого Тоадера Лефтера они были все же «немцами». За что окрестил он так своих соседей, ему только одному и ведомо. Может быть, за уединенный образ жизни, может быть, за чрезмерную аккуратность, за излишнюю бережливость, граничащую со скупостью (будучи весьма состоятельными, Лунгу не нанимали даже почти не оплачиваемого пастушонка. Сами выходили со своим скотом в степь с кожаной сумкой, сохранившейся у мош Саши еще с русско-японской войны). Может быть, повторяем, все это было взято дедом Тоадером в соображение, когда он окрестил Лунгов кличкой. Никому еще не удалось установить точно, как рождаются на селе прозвища. Но они рождаются быстро и неожиданно, как опенки после теплого, грибного дождика. Обижаться на это не следует. Прозвища обычно даются не по злобе, а так, чтобы выделить, подчеркнуть в человеке какую-то характерную для него особенность. Они даже необходимы, поскольку помогают жителям селения различать друг друга. В Кукоаре, например, было немало людей, которые носили не только одинаковые фамилии, но и имена: попробуй тут узнать, о каком из них идет речь! А назовут тебе кличку, ты тотчас же и сообразишь, о каком именно. Надо еще к сказанному добавить, что, за исключением пьяниц и лодырей, которым не было пощады во всем, в том числе и в награждении их кличками, прозвища сельчанам давались вполне пристойные, иногда даже красивые, красивее их настоящих фамилий. Любитель давать прозвания другим, мош Тоадер, в свою очередь и сам был пожалован прозвищем Чурадул, что по-русски означало бы Решетников: главная гордость деда — его кроильное решето — сыграло, по-видимому, решающее значение и в подборе клички.

Правда, село совершило большую несправедливость по отношению к брату мош Тоадера Пэтраке. Его переименовали в Цалу, что означало Козий. Последнему этому слову ничего уж не стоило, чтобы превратиться в обыкновенного козла. Козел и стало окончательным, отстоявшимся в народном закрепителе прозвищем бедного Пэтраке, что, конечно же, было неправильным: никто в роду Лефтеров ни в какие времена не держал коз, больше того, все Лефтеры во все времена прямо-таки презирали эту скотинку. Нет, однако, дыма без огня. Была, оказывается, у односельчан Пэтраке зацепка, чтобы окрестить его Козлом.

Хлебувши в первую еще мировую войну изрядную дозу германских газов, мош Пэтраке лишился не только голоса, но и большей части своей бороды. Лишь на самом клинышке, на острине подбородка, сохранился пучок реденьких и длинных волосинок, что делало мужика

удивительно похожим на старого козла. Похожесть эта усиливалась еще и тем, что чуть ниже бороды ненароком угнездились две большие бородавки, каковые легко можно выдать за козлиные сережки. Причем, борода у Пэтраке была сероватого, с красным отливом, цвета, а бородавки, то есть сережки, черного, что делало их особенно заметными.

Да-а, любой предлог может оказаться подходящим, чтобы окрестить человека так или иначе. Но прозвать тетеньку Олицу «немкой» — это уж слишком! Черненькая, как муравей, она и по фигурке напоминала этого шустренького насекомого. Посмотрит на нее кто-нибудь из сторонних — никогда не поверит, что она мать пятерых верзил-сыновей, которые из опасения поднять головой свой ли, чужой ли потолок ходят всегда пригнувшись, ссутулившись.

Глянув на нее из-за стола, Тоадер Фрунзе едва не расхохотался, вспомнив один случай.

Когда умерла бабушка Домника, «Олица на правах и по долгу соседки пришла приготовить голубцы для поминок. За поминальным столом, по чистой случайности, оказалась потом рядом с батюшкой, отслужившим заупокойную литургию. Голубцы, по обыкновению, были жирные (во всяком случае, такими их всегда делала Олица) и по причине этой не торопились выпускать из себя горячий пар. Сама стряпуха почему-то забыла про то и отправила в свой рот целый голубец. Бедная Олица! Ни проглотить, ни выплюнуть обратно на стол это огнедышащее свое творение она не могла и, выпучив глаза, металась за столом, вертела так и сяк головой. Когда же стало совсем невмоготу, нырнула под стол, точно кошка, которой кто-то из сидящих прищемил хвост, и стрелою вылетела во двор. Мош Тоадер, первым понявший, что сотворилось с соседкой, устремился вслед за нею с кружкой вина, надеясь таким образом погасить пожар, но догнать беглянку не смог. Смущенный, вернулся в избу. Но тетенька Олица так больше и не появилась. Народ, понимая, по какому случаю совершается это застолье, из приличия не смеялся, хотя ему, народу, для этого приходилось употребить немалую власть над собой. Лишь батюшка, успевший к тому времени уже порядочно охмелеть, с глупым недоумением спрашивал:

— Что случилось, православные?

Вроде бы вел себя священник, как и подобает его сану, вполне пристойно, не ципал, не щекотал женщину, а она почему-то убежала от него, избрав для своего бегства совершенно необычный путь...

Чтобы одним разом покончить с этим воспоминанием, от которого его самого уж расpirал изнутри смех, Тоадер Фрунзе бросил тяжелые, как мельничные жернова, слова:

— Мы организуем колхоз, мош Саша... Что скажете на это?

— Что тут сказать? — старик посмотрел на гостя. Старческие глаза были красноваты и чуть просвечивали в припухлых веках. Тоадеру Фрунзе показалось поэтому, что мош Саша взглядывает на него косо и с затаенной злобостью.

Насторожившись, ждал ответа. Собственно, не ответа ждал, поскольку знал, что, по обыкновению, крестьянин на любой вопрос отвечает вопросом. Это нужно ему для того, чтобы выиграть время, прикинуть в уме что и к чему, выведать, нет ли тут какой-нибудь западни.

— Вы это меня спрашиваете, Тоадер? — дед Саша еще пристальнее посмотрел на гостя.

— Вас, кого же?

— Я, что же... Как скажут вон сыновья... Они нагляделись на божий свет... И на фронте побывали... Как скажут они... А я, что я?... Я свою жизнь прожил... съел свою фасоль...

— Ну так что ж, соседка... Коли нужно, так будем создавать свой колхоз. Если не мы, то кто же?! — громко объявил вдруг Алексе, средний сын мош Саши.

Тоадер Фрунзе знал, что из всех плотников лучшим в семье был именно средний сын. До ухода на фронт Алексе собственноручно смастерил настоящую скрипку по рисунку из какой-то книги. Он же придумал и некое усовершенствование для домашней мельницы — приспособил к ней не одну, а две ручки; теперь жернов вращался не одним, а двумя людьми, что в значительной степени облегчало и ускоряло процесс размолота зерна. Односельчане-фронтовики посмеивались над Алексеем. Больше всего те, кто вернулся домой с новенькими штампованными наручными часиками, платками и шальями для своих возлюбленных, с заграничной одеждой и обувью. Смеялись и говорили в лицо: «Олух ты царя небесного, Алексе. Наградил тебя господь бог физической силой, но не умом. Но ничего, не тужи, в хозяйстве и такой сгодится. Такой даже лучше — будешь орудовать во дворе почем зря!» Глумились над ним, потому что чуть ли не из-под Берлина Алексе приволок в Кукоару тяжеленный сундук с плотничьим и столярным инструментом; чего только не было в том ларе: рубанки, фуганки, сверла, молотки всех видов и калибров, напильники, пробой, долота большие и малые, плоскогубцы, щипцы, миниатюрная наковальня, топоры и топоры — словом, было там все, что требовалось рукам плотника и столяра. В придачу ко всему прихватил где-то Алексе подмешка фасоли...

Насмешки односельчан нисколько не смущали среднего из братьев. Он хоть и не говорил сам никому об этом, но в душе-то знал, что лучшего мастера по дереву в Кукоаре не сыщешь, равных ему на селе нету. Таков он был, этот Алексей, а по-русски Алексей. И Тоадер был

чрезвычайно рад, что захватил его дома, иначе неизвестно, чем бы закончился его разговор о колхозных делах.

Алексею никто не возразил: ни отец, ни мать, ни братья — как старшие, так и младшие.

Потом заговорили все разом, говорили оглушительно громко, так, что весь дом испуганно вздрагивал; хлопали гостя по спине своими огромными лапищами. Под конец Тоадер помог им сочинить заявление. Подписи по очереди поставили все. Расписывались большим столярным карандашом с красной начинкой, отчего буквы получились толстые, корявые, как пальцы на руках этих мастеровых людей.

4

Радостно ошеломленный такой удачей, Тоадер Фрунзе уже на улице долго еще оглядывался, опасаясь, не выбежит ли кто из дому мош Саши и не ударится ли за уполномоченным райкома в погоню. Приняв с такою головокружительной быстротой столь важное и ответственное для нее решение, семья «китайцев» так же скоро и единодушно могла и отменить его, то есть передумать. Этому больше всего опасался молодой Тоадер. Любому из сыновей-богатырей ничего не стоило в два-три медвежьих прыжка настигнуть его, схватить в охапку, принести обратно в свою избу и потребовать заявление, с тем чтобы сейчас же и изничтожить его: крестьянин несокрушимо убежден в том, что чем меньше оставляет он после себя подписанных им бумаг, тем лучше для него. Так думает каждый мужик, хотя к любой бумажке, ежели она с подписью и гербовой печатью, относится с молитвенным уважением, хранит ее в самом надежном месте, с тем чтобы она потом переходила из поколения в поколение, от одного наследника к другому. Особенно драгоценны для крестьянина бумаги, в которых зафиксированы купчие крепости на землю, на участок под хату и дворовые пристройки. Может быть, именно поэтому так долго потеет мужик, скребя в затылке, прежде чем поставить свою подпись под казенной бумагой. Иной раз и поставит, а через час бежит в контору, чтобы не дать документу естественного хода: передумал!

Но опасения Тоадера-младшего на этот раз не подтвердились: никто из семейства мош Саши не догонял его и не пытался дать обратный ход делу.

Следующим на очереди был мош Ион Мустьяца по прозвищу Ион Нани. Тоадер знал, что с этим все пойдет как по маслу. Правда, особой ценности для будущего колхоза Ион не представлял, поскольку был с ленцой, от полевых работ отлынивал, предпочитая им огородничество. «Только и знает, что целыми днями печет

картошку», — говорит о нем старый Тоадер Лефтер, что в переводе на обыкновенный язык должно означать: все лето околачивается мош Нани, Ион Мустяца то есть, на виноградниках, кемарит там, дожидаясь, когда дойдет под горячей золой картофелина, а осенью держится поближе к бочке с молодым вином. Заботу же о хлебе насущном, все дела на поле он, не мучаясь совестью, переложил на плечи жены и дочери. Супружница мош Нани с его легкой руки давно в совершенстве овладела всеми мужскими делами; лошади, например, слушались ее куда больше, чем хозяина. Скачет она на них во весь дух, стоя на телеге, расставив ноги и по-мужичьи, с хлестким матерком, понукая их. Всю жизнь она куда-то все торопится, все бежит, бежит, зная, за двоих: за себя и за беззаботного муженька. Юбка едва держится на ее иссохшейся от нелегкой работы фигурке, а она все чего-то делает, сует туда-сюда денно и ночно.

По натуре жена мош Иона была на редкость непоседлива. Куда только не таскала она за собой мужа!

Сразу же после свадьбы объявила: давай продадим дом, скотину, землю. И нечего тут раздумывать — продадим, и немедленно. Таков ее сказ! Прослышала горячая бабенка, что где-то уж очень много дармовой земли. Приезжай туда, выбирай любой участок, захватывай, насколько видит твой глаз, стройся и живи в свое удовольствие. Напористая до крайности, она быстро сломала сопротивление молодого супруга и заманила его чуть ли не на край света, в тайгу, куда-то под Благовещенск. Две недели добирались туда поездом. Перед тем продали в Молдавии свою землю, лошадей, весь домашний скот и всю птицу, то есть всю живность, распродали и всю сбрую, а заодно и домашнюю утварь: чего не сделаешь для райской, сказочно богатой жизни, которая рисовалась впереди распаленному взору! Лишь малую уступку получил мош Ион от жены: она разрешила ему сохранить за собой ветхую хатенку, доставшуюся ему по наследству от стариков.

То было давно, он и жена его были совсем юными и соответственно неразумными, горячими и беспечными... Только лет через десять, во время первой мировой войны, вернулись обратно. Иона отправляли на фронт, а бойкая его жена не захотела оставаться на далекой чужбине. При возвращении чуть ли не все вышли им навстречу: каждому не терпелось узнать, где же это они пропадали и как жили там. Особенно жадными до новостей оказались охочие до земли односельчане. Но больше все-таки было праздню любопытствующих, к числу которых первым, конечно, надо отнести Тоадера Лефтера. Этого хлебом не корми, угости лишь какой-нибудь новостью. Будучи совершенно неграмотным, он не мог удовлетворить свое пре-

избыточное любопытство по книгам или газетам — новости, вообще разные истории он мог перехватить лишь из других уст, потому-то собственные его уши всегда были на макушке, то есть настороже. Сам он выезжал в другие края редко, можно даже сказать, что совсем никуда не выезжал. Мыкался как-то на быках аж в Одессу, соляной голод подвигнул его на такое дальнейшее путешествие. На той же телеге прокатился на Балканы во времена последней турецкой кампании: отвозил провиант сражающемуся войску. Тогда был еще почти отроком. Ну, что там еще?.. Чуть ли не единственное на селе было у Тоадера Лефтера собственное ружье, и по этой причине он считал себя лучшим охотником в Кукоаре (никто иной, а именно Тоадер Лефтер наказывал, бывало, своей молодой еще тогда жене: «Ты, Домника, насыпь-ка крупы в чугунок. Ежли я вернусь домой без зайца, будем хлебать постную кашу!»). Главное тут, конечно же, ружье. Оно сыграло решающую роль в том, что Тоадеру, а не кому-нибудь другому было поручено отвезти в волостное местечко Оргеев какого-то страшного вора.

Вот три события, которые в разное время заставили мош Тоадера выезжать из своего села, — события, о которых знала вся Кукоара.

На поездку в Одессу уходило много дней. За солью отправлялся целый обоз. В телегу укладывались вязанки кукурузных стеблей — для быков, котелок, сковородка, торбочка кукурузной муки — для возницы.

Тоадер-младший хорошо запомнил все фантастические рассказы дедушки, все его необыкновенные приключения, связанные с этими многими путешествиями. Из повествования старика выходило, что сам он был чуть ли не сказочным богатырем, героем. Все это вставало из какой-то фантазмагорической дымки, куталось в полуреальные, неуловимые и потому особенно захватывающие дух и воображение одежды. И сейчас еще младший тезка слышит, как дедушка повествует своему приятелю мош Андрею... Перед рассказчиком стоит неизменный кувшинчик вина. Тусклая лампадка, чада, самую малость отодвигает ночную темень в избе. Звучный голос деда, сдерживаемый изо всех сил повествователем, погромыживает в доме: «Пришли русские, и покорился Дунай. Было их видимо-невидимо, как листьев в большом лесу. Реку перешли по льду, как по мосту...».

Тоадер-внук закрывал глаза и засыпал на маминой печке. Спал без сновидений, но, если просыпался, картина рассказанного дедом надвигалась на него из ночного мрака. Перво-наперво перед ним вставал русоголовый великан с огромной, похожей на сноп пшеницы бородой. Великан складывал губы в большую трубу и дул на волны реки Дунай; волны, покорные великану, мало-помалу начинали утихать, затем совсем пропадали, и вместо них возникало

большое, сверкающее льдом полотно, по которому сейчас же устремлялись на противоположный берег тысячи русских воинов. За рекой подымался вой, гомон — это враги в красных фесках покидали свои позиции и улепетывали что есть мочи прочь. А русские воины все шли и шли через реку, и не было им конца. Среди них то тут то там возникал дедушка с длинной-предлинной винтовкой, на конце которой торчал трехгранный штык. Он погонял своих быков и неизменно появлялся там, где шла самая жаркая схватка. Из рассказов действительных участников той войны дед хорошо знал про Плевну, про бои на Шипке, про сражения на Гривице, потому ему нетрудно было и себя подключить к тем грозным и славным событиям, рассказать о них во всех достоверных подробностях. Внук видел и те холмы и вершины, на которых развертывались баталии, видел землю, усеянную турецкими фесками, редуты, сооруженные из хворостяных плетней и земли. Видел, как русские врывались на те холмы и вершины, покоряли их, брали один редут за другим. А через замерзший Дунай идут и идут несметные полчища русских ратников. Великан с белой бородой все дует и дует на воду, чтобы не растаяла. Тысячи таких же бородатых священников служат молебны на берегу реки, и они молятся, чтобы не растаял лед. Молится вместе с ними и маленький Фрунзе, молится и не выпускает из виду своего дедушку, который со своей телегой появляется то на этом, то на том берегу: возит на рогатых быках провиант войску. О войне с турками, о балканских событиях рассказывалось и в школе. Но разве тот рассказ мог сравниться с дедушкиным! Время как бы подернуло его прозрачной романтической дымкой, и будни страшной войны с ее кровью, искромсанными телами когда-то молодых, здоровых людей, с ее окопной грязью и мерзостью уступили место красивой легенде, облачились неожиданно в праздничные ризы...

Тоадер Фрунзе очень любил слушать дедушкины истории, такие же длинные, как зимние ночи. Совершенно отчетливо видел деда в ботинках, утепленных большими соломенными галошами, которые он сам себе изготавливал с наступлением холодов. Погрузив в них ботинки, дед мог разговаривать с любым морозом на «ты», обращаться с ним панибратски — теперь ему был сам черт не брат! Видел деда и на телеге с вязанками кукурузных стеблей, с казанком, привязанным к дышлу. Особенно великолепен был дедушка на привале. Освободившись от ярма волов, задавал им корму, затем принимался готовить еду и для себя, для этого наполнял снегом казанок, ставил его на разведенный загодя костер, варил мамалыгу. «О, что это была за мамалыга!.. Кто не ел ее в зимнюю стужу где-нибудь в пути, не согревал себя ею, тот вообще не знает, что в жизни ничего

нет более вкусного, ничего лучшего!..» — такими примерно словами заканчивал дед рассказы о своих зимних мытарствах на больших путях-дорогах.

Рассказывал он и о третьей своей поездке — это когда конвоировал в Оргеев знаменитого вора:

«Только выбрались за околицу, я — ему: «Ну, ты вот что, коровья образина!.. Мне ведь терять нечего... жена родила одних дочерей... сыновья не ждут там меня... Так что, смотри, не вздумай бежать!.. Моя берданка заряжена осколками из разбитого чугунка!.. Как пулю в спину!..»

Ах, как же любил эти дедушкины были-небылицы его старший внук-тезка! Ради них он забывал и про еду, и про улицу, и про игру с мальчишками-сверстниками, про все на свете! Однако приключение с вором нравилось внуку меньше — уж очень оно было страшным.

Вор оказался хитрющим и всю дорогу пытался «умызнуть» от конвоира, то есть от дедушки. То схватится вдруг за живот и просится в придорожный бурьян, чтобы справить там большую нужду; то норовит заскочить в помещичий сад: жажда, видишь ли, его мучает и он, вор, хотел бы утолить ее грушами или яблоками: не удастся номер с садом, просит возницу остановиться чуть ли не у каждого колодца, авось дед зазевается там; в каком-то месте, когда не удалась ни одна из этих уловок, кинулся на конвоира и пытался вырвать из его рук ружье, но и тут потерпел поражение: дед так треснул его по загривку прикладом берданки, что вор оставил всякую попытку обрести свободу и остаток пути до Оргеева вел себя смиреннее смиренного.

Виктория дедушки была полной, и все-таки рассказ о ней нравился внуку меньше, чем другие дедушкины истории. Вор этот иногда снился младшему Тоадеру, и он просыпался в холодном поту. Самому же старику как раз эта история с вором больше всего и нравилась: в ней он, кажется, действительно показал, на что способен, проявил свою несомненную храбрость и удаль...

...Ну так вот. Мог ли такой великий любитель всяческих приключений оставаться на месте, сидеть дома, когда по селу разнесся слух о возвращении «блудного сына», его давнего дружка Иона и его жены-совратительницы! Тоадер Лефтер побежал навстречу им с быстротою скаковой лошади. Шутка сказать: две недели туда, две недели обратно — целый месяц в пути, куда же их черт носил, коровьи они образины?! За время своего отсутствия мош Ион Нани отпустил себе длинную бороду, в каковой, точно Иисус Христос, и предстал перед односельчанами. Раскорячившись, точно столб с подпоркой, стоял он тогда посреди своего двора. — эта поза сделалась для него с той минуты почему-

то излюбленной: так стоял он тогда, когда наблюдал со своего подворья за прохожими или за теми, кто набирает воды из знаменитого колодца мош Тоадера Лефтера. Все подмечал, бывало, Ион Нани: кто направился в церковь воскресным днем, кого хоронят, кто несет подсвечник, кто хоругви — эти церковные стяги, кто и к кому идет за закваской, кто и от кого несет кувшинчик вина, от кого вынес горящий уголек для поповского кадила сторож Афтен-зайка...

Мош Ион подымался до рассвета и стоял так посреди двора, пока улицы не опустеют, пока стада не уйдут в степь, а люди не разбредутся по своим делам. Из состояния этой странной окаменелости его могла вывести лишь жена, когда наталкивалась на неподвижную раскоряченную фигуру своими глазами, когда видела, что муж стоит на ее пути и мешает пройти либо в хлев, либо на огород, либо на улицу. Иногда она нарочно направляла на него телегу, направляла без оклика, без предупреждения, и бедный Ион едва успевал посторониться. В конце концов он принужден был принять охранительные меры: выходил во двор только после того, как жена уедет в поле.

Но это было уже потом, когда они вновь обзавелись хозяйством. В первое же время, по возвращении с Дальнего Востока, то есть тогда, когда мош Ион носил свою христообразную бороду, он мог стоять посреди двора, не опасаясь за свою жизнь, сколько угодно. Полон двор набивался людей, которым он без конца рассказывал о жите-бытье в чуждеальней сторонущке, о «земле обетованной»; о банковских кредитах, об обмане таких же вот доверчивых «искателей счастья», какими оказались он и его жена, о посулах государственного мудреца графа Столыпина, указывавшего на кисельные берега и молочные реки, которые якобы ожидали переселенцев на далекой окраине Российской империи.

Подняв под ноги бурьян, который заделался было полновластным хозяином на его дворе, мош Ион повествовал:

«Земли там сколько угодно. Привезли нас целый эшелон. Выгрузили в дремучем лесу. Сказали: «Корчуйте, превращайте эти места в земельные угодья, сейте пшеницу, все прочее и живите в свое удовольствие!...» Принялись за дело. Рубим, выкорчевываем тот лес, а он вновь, как по щучьему веленью, вырастает на том же самом месте. Нароботаемся так, что глаза лезут из орбит. Жenuшка моя — а это ее черт дернул потащить и меня вслед за собою в те клятые места! — увидела, что клочок пахотной земли вырвать у той тайги так же трудно, как кость из собачьей пасти, решила разбогатеть на другом — занялась разведением скота. До того разошлась, что одно время у нас было двенадцать дойных коров и полон двор другой разной живности. Не знали, что делать

с таким стадом. Травы, правду сказать, там много, но попробуй заготовить ее на целую зиму для такой пропасти скота!.. Попробуй-ка заготовь, когда там эта матушка-зима растягивается больше чем на полгода!.. Там она с нашим братом не шутит!.. И потом — а куда девать молоко? Кто у тебя его купит, ежели у каждого этих коров тоже полон двор?.. Стали мы это молоко замораживать и складывать глыбами в сарай!.. Мне не только есть, но и глядеть было тошно на эти молочные реки!.. Попытался развести виноградник, высылали мне отсюда саженцы — о кружке вина думал, как о чуде. Весь сарай из молочных брусьев отдал бы за один кувшинчик нашего молдавского винца!..»

В этом месте повествования мош Тоадер Лефтер невольно подался поближе к Иону Нани и насторожил уши. В толпе ахали, удивлялись. Особенно женщины. Да и как тут не удивляться: груды молока замороженного в сарае, а тут иной раз и кружки для детей не найдется! И лес без конца и края — руби, сколько захочется. И никто его не стережет, никаких там помещиков нету, лес ничей, никому в отдельности не принадлежит, это ли не чудо!.. А травы?.. Хоть день, хоть два, хоть целый месяц подряд коси, а до края так и не дойдешь!.. Вот где скоту-то раздолье!..

Тоадер Лефтер прикрикнул на толпу:

— Ну что раскудахтались?.. Не мешайте человеку рассказывать! Вы... молочные юбки?!

Толпа приумолкла, на последние, обидные для женщин, слова мош Тоадера никто не обратил внимания, любопытство, охватившее сельчан, было столь велико, что они ни на что другое уже и не реагировали. Слушатели и слушательницы ожидали дальнейших глав из устной повести односельчанина, побывавшего невесть в каких далеких краях. Если уж там такое баснословное количество молока, если хранят его там в сараях огромными ледяными брикетами, то могут быть там и другие чудеса, может быть, похлеще этого. Можно ли сейчас перебивать рассказчика!..

— Продолжай, Ион, — поощрял его Тоадер Лефтер, только что вернувший тишину на подворье. — Что замолчал?.. Не связали же тебе язык?.. Видишь, стоим, ждем, как дураки, с разинутыми ртами. Выкладывай всё как есть!..

— Да мне нечего больше выкладывать. Рассказал про все... А теперь вот — котомку за спину и на войну. Или вы тут забыли про нее, православные христиане?..

— И это все?! — выпалил разочарованный до последней степени Тоадер Лефтер.

— Все, — подтвердил Ион Нани. — Больше не о чем рассказывать.

— Я так и знал, что от тебя большего и не услышать, — рассердился не на шутку Тоадер. — Уехал ты туда бараном, а вернулся овцой...

А еще бороду отпустил!.. Плевать я хотел на твою бороду! Бежал к тебе сломя голову, вот, думаю, порасскажет нам соседка разная разности!.. Ну и порассказал!.. Вывалил на наши глупые головы глыбы мороженого молока — и все!.. Двенадцать коров... жеребята... телята!.. И надо было для этого уезжать на край света? Зачем тебя туда черти носили, коровья ты образина?!

Тоадер Лефтер покинул тогда одичавший двор Иона Нани вместе со всеми, но не надолго. Через какой-нибудь десяток минут вернулся в его дом снова, но не с пустыми руками, а с кувшином вина. В тот день он много раз курсировал то в одном, то в другом направлении: с подворья Иона Нани уходил с пустой посудинкой, а возвращался неизменно с полной, иной раз даже к кувшинчику присовокуплял и небольшой бурдючок. До темноты помогал соседу подправлять крышу камышом, чинить подгнившие рамы окон, для которых стекло принес со своего двора, отыскался кое-какой запасец в заветных уголках чердака. Для распластывания стекла не пожалел даже собственного алмаза, который, как известно, для сельского жителя был величайшей ценностью: Тоадер Лефтер берег его, как зеницу ока.

Вечерние сумерки нашли соседей на заросшей бурьяном завалинке. Самых мужичков разделяли лишь кувшин да две глиняные кружки. Ниточка за ниточкой вытаскивал Тоадер Лефтер из Иона Нани недорассказанные сведения о жизни на далекой стороне. Сначала делал это с трудом, но вскоре вино пришло ему на помощь, развязало-таки язык Иона, на что, собственно, и рассчитывал его сосед, неутомимо курсируя с заветным кувшинчиком.

Со стороны можно подумать, что соседи обсуждают бог весть какие серьезные дела: уж больно горячи были их речи и энергична жестикуляция — того и гляди, что рука одного по нечаянности заедет в раскрасневшуюся физиономию другого. В действительности же они в эту минуту не спорили, потому что, к вящей радости Тоадера Лефтера, Ион Нани наконец-то заговорил об охоте, относительно которой у них всегда было полное единодушие. По мере развития сюжета в устном повествовании путешественника Лефтер то хлопал себя ладонями по коленям, то подскакивал на завалинке, то, как глупый ребенок, гикал от великой радости. Лишь изредка, как бы спохватившись, вытирая заплаканные от счастливого смеха глаза, серьезно спрашивал:

— А ты... ты, коровья твоя башка, не придумал все это?.. А?.. Смотри у меня!.. А то ведь такие байки умеют быстро бегать по проволоке!.. Вмиг разлетятся по всей округе!..

— Нет! — решительно возражал рассказчик. — Тут все святая правда. Все видел собственными глазами!..

— Ну, верю, верю. Верю, слышишь? Но ты, коровья образина!..

В тот памятный вечер растроганный донельзя мош Тоадер пообещал соседу вязку отличных черенков, чтобы тот мог разбить для себя виноградник. Рассчитали, что когда Ион Нани вернется с «позиций», то есть с войны, лозы будут в самый раз.

С тех пор прошло много лет. Мош Ион провоевал без малого четыре года, вернулся в Кукоару, сбрил свою бороду и занялся виноградником. Вскоре у него родилась дочь. Об этом событии можно было бы и промолчать: дети рождаются почти у всех. Но тут случай особый. Супруги Нани умудрились сотворить дитя лишь на двадцатом году совместной жизни, — тут было чему удивиться.

Привычек своих Ион Нани не менял, большую часть времени по-прежнему проводил на ногах. То стоял, как бывало, посреди двора, широко расставив ноги, уподобившись столбу с подпоркой; то видел его на склоне горы с ивовыми прутьями за поясом и садовым ножом в руке; под старость очень подружился с собственным забором — подойдет к нему с внешней стороны, прислонится спиной, раскинет руки и отдыхает так-то вот, опять же на ногах. Утвердившись в этой позе, он мог спокойно глядеть и вправо, и влево, и прямо перед собой — видеть, что творится и там и сям: на улице ли, в соседних ли дворах, на кладбище, куда могли уже принести кого-нибудь на вечное успокоение. Великолепный наблюдательный пункт! Прижмется поплотнее к доскам спиной, раскинет руки под прямым углом и стоит так часами, как Христово распятие, обозревая всех и вся вокруг.

Появление дочери принесло ему много радости. Но радость, так же, впрочем, как и горе, недолговечна: приходит к тебе неожиданно, так же быстро и неожиданно уходит. Тут уж ничего не поделаешь! Не заметил Ион, как созрела его дочь, как налилась соками и заневестилась. Быстро выпорхнула из родительского гнезда и поселилась в другом доме, промелькнув перед старыми глазами отца, как птица залетная, или как сон, о котором ты еще долго будешь помнить и сожалеть, что он явился к тебе как прекрасное видение и тут же исчез навсегда.

Одно у него теперь оставалось богатство, опора надежнее того забора, это жена-хлопотунья, которая в гору подымалась бегом, спускалась с горы тоже бегом. Все бегом и бегом. Солому и сено свозила к подворью сама. Ион помогал ей лишь заскирдовать и сложить в стожок привезенное. Только-то и делов с его стороны.

Теперь трудно уж установить, кто и когда это сделал, но по селу пустился слух, что Веруна, женушка мош Иона, колдунья. По этой причине многие бабы и даже некрепкие духом му-

жики побаивались ее, но все-таки, подавив в себе чувство страха, шли к ней с разными недугами, чтобы, значит, заговорила, исцелила, отвела хворь.

Тоадер Фрунзе был почти ровесником дочери мош Иона, иногда заглядывал в их дом в детстве и собственными глазами видел, как тетенька Веруня «пользовала» больных, заговаривая, например, колики. Он не слышал, что она там бормотала, но хорошо видел, как исцелительница обвязывала страдальца шнурком-фитилем и строго-настрого наказывала: не снимать, не развязывать столько-то дней. Тоадер-младший уже не помнит, сколько именно. Девять или двенадцать, кажется... А вот робку тетенька Веруня заклинала по-иному. Если у кого-нибудь разносило щеку от больного зуба, она обвязывала лицо несчастного тряпкой, вынутой из горячей воды, затем поджигала пучок обмочаленной конопли и тыкала этим факелом в больное место. Страдалец испуганно подскакивал на стуле, вскрикивал, а то и просто ревел подраненным бугаем, выскакивал на улицу и с подпаленными бровями, как угорелый, мчался домой. И что бы вы думали?... Вот сейчас придет в себя, вернется и расчепушит домашнего эскулапа вдрызг?... Как бы не так!.. Может, и вернется, может, и придет, но только для того, чтобы вновь подставить опухшую щеку под колдовские руки тетеньки Веруни. Что бы там ни было, а в целительную силу ее колдовства народ Кукоары неукоснительно верил. А Веруня только того и надо было. Тем более что у некоторых ее клиентов болезнь проходила; эти, последние, возвращались ее благодарить и, поблагодарив, несли по селу весть о волшебном действии ее нашептываний, примочек, прижогов и других разных премудростей, не доступных простому смертному. Если, скажем, человек с больным зубом приходил к Веруне во второй раз, она прибегала уже к другому средству — не прижигала щеку, а замуровывала зуб кусочком ладана, приговаривая при этом: «Боль сейчас же пройдет, а зуб разрушится. Он сгнил, батюшка, и ничем уж его не спасти, не вылечить...»

Сколько же щербатых людей оказалось в Кукоаре по милости тетеньки Веруни! Сколько их, могла сказать лишь тетенька Веруня, но она помалкивала, не в ее интересах вести на селе такую статистику. Не жалуются — и ладно. А вон ребятишки, те даже очень довольны. Их хлебом не корми, дай только посмотреть, как бабка Веруня зажигает то фитили, то вытеребленную пеньку, как бегают по темной избе маленькие кудрявые огоньки; любили дети и слушать, как она заговаривает больного, какие непонятные слова бормочет: бу-бу-бу. Только вот закладка ладана в зуб казалась им скучным делом, потому что не сопровождалась теми страстными и мудреными словами колдуны.

При этой «процедуре» маленький Тоадер и его подружка, дочь Иона и Веруни, быстро уходили из их дома. Иное дело, когда кто-нибудь просил, чтобы старая чародейка исцелила его от испуга — испугался чего-то когда-то человек и по сей день дрожит. Тетенька Веруня оживлялась, словно бы давно уж поджидала именно такого больного. Приносила кружку свежей родниковой воды, выхватывала из печки клещами раскаленный уголек и, приблизившись к больному, начинала быстро и страстно бормотать: «Во имя отца... и сына... и святого духа... Аминь!»

При словах «во имя отца» касалась угольком одного края кружки с водой, при последующих словах — к другим краям. Апофеозом всего дела было утопление уголька в воде. Акт этот торжественно совпадал со словом «аминь».

Дети с неопишуемым восторгом наблюдали за этой процедурой, под конец пытались отхлебнуть из кружки немного заговоренной и, стало быть, уже волшебной водицы, но Веруня гнала во двор:

— Пошли вон! Это не для вас!..

От испуга, конечно же, по большей части лечились у тетеньки Веруни дети. Отведать приготовленной таким образом воды она давала лишь тому ребенку, который пришел или которого принесли родители для исцеления. Но этим кудесница не ограничивалась. Причастив дитя, она брала его за руку и вела в сени, к дымоходу: немножечко обкуривала его там. Затем выгребала жар, насыпала его в черепок и сжигала на нем клоч волос, взятых у того, кто напугал ребенка. То могли быть отец и даже мать, мог быть и сосед, любой другой односельчанин, либо мирской бык, который своим звериным ревом мог до смерти напугать малыша; сожжению на углях могли быть подвергнуты и волосинки из хвоста или гривы лошади, той, что опрокинула телегу, из коей кувыркнулся ребенок, — любой виновник подходил, лишь бы он располагал волосным покровом...

Волосы тлели на горячей золе, а тетенька Веруня задирала рубашонку малыша так, чтобы под нее мог пробраться вонючий, пахнущий паленой шерстью дымок. Затем начинала «заговаривать». Слова были невнятные, окутаны туманом таинственности, лишь под конец теткин бормотания вылуплялось и нечто членораздельное: «Дым-чародей, поскорее испуг наш развей... Отгони его и ныне, и присно, и во веки веков... Аминь!»

Нет, маленький Тоадер Фрунзе, со сжимавшимся сердцем наблюдавший за этими Веруниными фокусами, ни за что не согласился бы, чтоб нечто подобное сотворили и с ним. Не согласилась бы и его приятельница, дочка исцелительницы. Но воды, в которой она гасила уголек, выпил бы с удовольствием. А к дымоходу с черной его круглой пастью они боялись

подходить даже днем. Иной раз, в ветреную погоду, в нем подымался такой гул, вой и воиль, словно туда сбежались на свой шабаш ведьмы со всего света. Бррр!.. Подальше от этого жуткого места!..

Прослышал Тоадер Фрунзе тогда и о другом. В Кукоаре поговаривали, что тетенька Веруня может «отнять» молоко у чужой коровы и передать его своей; оттого, мол, другие буренки дают своим хозяйкам молока все меньше и меньше, а корова Веруни приносит с выпаса по целому ведру, а то и больше, и хозяйка доит ее три раза в день.

«Отнимала», де, Веруня чужое молоко в ночь под праздник Святого Георгия, потому-то в канун такого дня все ее односельчане загоняли своих коров в хлев, запирали его на большущий замок. Но какие замки, какие запоры могут противостоять колдунье?! Да она и не пыталась лезть в коровники — это ей ни к чему. Убедившись, что все коровы под замком, она прихватывала в своих сенах вожжи и уходила за село. Бродила с ними по степи, по лугам, по другим местам, где обычно паслись днем коровы. Бродила там от вечерней до утренней зари и все чего-то бормотала, шептала, заговаривала. Перед рассветом, когда на травы выпадала роса, волочила по ней вожжи — проделывала это до тех пор, пока не взойдет солнце. Затем быстро возвращалась домой и опоясывала теми вожжами свою корову...

Приключилась, однако, беда и с нею, колдуньей. Как-то утром, а именно в день Святого Георгия, ее корова освободилась от привязи и убежала со двора раньше, чем вернулась из своего таинственного похода Веруни, так что опоясывать вожжами было некого. Волшебнице ничего не оставалось, как упрятать вожжи в хлев — повесить их там на гвозде. Но тут случилось такое, что, действительно, ни в сказке сказать, ни пером описать: из вожжей потекло молоко, потекло натурально, как из коровьего вымени. Оно текло и текло неудержимо, наполнило хлев, под его напором рухнула дверь, и молоко растеклось по всему двору, устремилось под воротами и на улицу... Как уж там ей удалось, но Веруня все-таки остановила струю, хлещущую из вожжей. Но в то лето и ее корова мало дала молока...

Теперь-то Тоадер Фрунзе только бы посмеялся над такими сказками. Но в детстве он как огня боялся вожжей тетеньки Веруни. Приоткрыв хлев, украдкой глядел на них издали, но приблизиться вплотную и потрогать не решался. Расскажи он обо всем этом сейчас Шеремету, тот от души поохотал бы, а то, глядишь, и подковырнул, сказал бы: «Вон, ты, оказывается, какой суеверный, Тоадер, а я-то не знал. Еще рекомендацию в партию тебе дал... Может, тебе и сейчас мерещатся вожжи тетюшки Веруни?.. Ты уж признайся!»

Подумав об этом, Тоадер улыбнулся. Но улыбка быстро убралась с его лица. Сказки сказками, а нужно было делать то, с чем он припожаловал в родное село. Совсем неплохо было бы сагитировать и мош Иона Нани, чтобы и он вслед за «китайцами» подался в колхоз. Каким бы странным и медлительным ни был этот человек, как бы не отлынивал от полевых работ, но хозяйство-то у него было неплохим. Есть у него и лошадь, и телега, и плуг, и борона, есть бочки, чаны, давяльный пресс — не с пустыми руками вступит в артель. А он должен вступить, потому как любопытен и жаден до всего нового. Правда, на подъем тяжеловат, но сдвинуть с места его все-таки можно. Сдвинуть вот этой самой новизной, на которую мош Ион непременно клюнет. К тому же страсть как любит артельную работу. Стоит только ему услышать, что где-то нужно поставить колодезный журавль, он мчится туда со всех ног; примчавшись, кричит громче всех, командует, подставляя и свое плечо: «Раз-два, взяли!..»

Заслышав шум, людской гомон, спешит на помощь. Поднять ли у чьих-либо ворот вереву, установить столбы для сарая — пожалуйста, Ион Нани к вашим услугам! Ни одна из дорог не прокладывалась без его самого активнейшего участия; без него же не возводилась ни одна крыша над хатой; роют канаву — и тут опять он, мош Нани! Случалось, возвращался домой с разбитым носом или подсиненным глазом, но то не были «производственные травмы». Услышит гвалт и летит на него очертя голову: может, у кого-то упал забор или хлев повалился от ветхости, он, мош Нани, готов был уже подставить либо плечо, либо спину. Но раза три он прибегал не туда, где требовалось поднять плетень или журавль для колодца, а туда, где разыгрывались кулачьи баталии. Не вдруг сообразив, в какую кашу угодил, он некоторое время стоял в растерянности, затем принимался растаскивать в разные стороны дерущихся, разнимать их, то есть заниматься делом, отнюдь не безопасным. При таких-то вот обстоятельствах он и получал свои синяки и шишки...

Горький этот опыт мало чему научил мош Иона Нани. По-прежнему его нос совался куда нужно и куда не нужно. Чаше, впрочем, куда нужно, поскольку характер у этого человека был таков, что ему всюду хотелось либо кому-то помочь, либо сделать так, чтобы восторжествовала справедливость.

Тоадер Фрунзе решил поскорее завернуть в дом Иона Нани, потому что тот мог и рассердиться, узнав, что к нему с таким важным делом уполномоченный пришел позже всех. К нему, который успел обсканить весь белый свет, повидал всего так много и так много знает!..

Тоадер Фрунзе нашел мош Иона за его хатой — тот мастерил плетневую загородку вокруг стога сена. Как бы там ни говорили про

него, но Ион — рачительный и дальновидный хозяин. У него был довольно просторный задний двор, где хранились сено, солома, кукурузные стебли. Затем шел фруктовый сад. Стволы молодых деревьев мош Ион окутывал бодьями обмолоченного подсолнечника, чтобы уберечь их от зайцев.

Поздоровавшись с молодым Тоадером, сообщил:

— Вот сенцо огораживаю, чтоб куры, оканянный их возьми, не расшвыряли своими лапами, да чтоб не потравили соседские коровы и овцы. Живу-то я на краю села — открыт всем ветрам и для всей чужой скотинки. А тут вот еще сад, и его надо оборонить от тех длинноухих разбойников... зайчишек то есть... Так-то вот, внучек!..

Всех молодых людей в Кукоаре мош Ион называл внуками, хотя с большинством из них не состоял даже в самом отдаленном родстве. Девчата и молодичи для него тоже были внуками — так он их именвал. И была у мош Иона еще одна привычка: человек, заставший его за каким-нибудь занятием, хочет он того или нет, но непременно должен выслушать, чем именно занят на сию минуту мош Ион, что это у него за работа, хотя и без этих «комментариев» было все видно. Увидел ты его сидящим или (что бывает чаще) стоящим без дела, он тут же пояснит тебе: стою и отдыхаю. Добавит еще, от чего устал и принужден вот теперь сделать передышку.

Тоадер Фрунзе решил не сразу сообщить мош Иону цель своего появления на его дворе. Тетеньки Веруни не было дома, и уполномоченный опасался (и не без основания), что, не посоветовавшись с нею, ее муженек будет крутить, всячески увертываться от прямого ответа. К этому дому не применимо любимое присловье Тоадера-старшего: «Дороги держатся на хозяйне, дом — на хозяйке». По дорогам, ведущим на поле, в лес, на луга, ездит больше Веруни, а ее муж в это время занимается другими делами; не исключено, что он сам-то не может ни взнуздать, ни запрячь, ни оседлать своей кобылы, — все это делает его жена. Ей, стало быть, и верховная власть должна принадлежать в этом доме. Так что был смысл в том, чтобы обождал хозяйку для самого серьезного разговора. Гость так бы, конечно, и поступил, но ему помешал мош Ион, застигший Тоадера врасплох вопросом:

— Какие заботы привели тебя к нам, внучек?

Фрунзе ничего не оставалось, как сразу же и ответить:

— Создаем колхоз, мош Ион.

— Слыхал я про то... Но кто его знает, как оно там...

— Что?

— Ведь ко мне-то никто не обращался!..

— Так вот я пришел...

— Ходишь, значит, по дворам и записываешь? Так я полагаю?..

— Почти что так.

— Ну что ж. Бабу свою отдам в колхоз с превеликим даже удовольствием!.. Аж руки вот зачесались!..

— А сами-то вы?

— Что ж, пойду и я. Но сначала отдам бабу.

— Провинилась, что ли, перед вами? Наказать хотите таким образом?

— Не о том речь. Про колхоз мы тут слышаны... нас агитировали...

— Кто?

— Есть кому. Все уши прожужжали...

— Ну вот! А только что говорили, что к вам никто не обращался. Как же так?

— А вот так. Собирали нас в клубе другие уполномоченные, говорили речи, а мы сидели и слушали. Потом уполномоченные уезжали в город пить чай, а мы расходились по домам пить... вино!..

— Но все-таки, мош Ион, почему вы хотите записать сначала только жену, а себя потом?

— Надо же ей когда-нибудь вернуть долг! Затащила меня аж до самой китайской границы!.. Вы думаете, она спросила, хочу ли я этого? Черта лысого! Сама, без меня, выправила в волости все бумаги, втокнула меня в вагон — и покатила. Земли ей, вишь, захотелось. Ну что ж, вот теперь получай сколько твоей душеньке угодно, той землицы. Целый колхоз! Копайся в ней с темного до темного — только успевай обрабатывать!

Мош Ион хитренько хихикнул. Принес еще одну охапку прутьев, продолжал плести загородку. Завершив один венец, выпрямил спину, спросил с совершенно уже серьезным видом:

— А эти «китайцы»... они как, согласны?

— Согласны. Могу показать их заявление.

— Не нужно показывать, внучек. И так верю тебе. Но диву даюсь, как это они решились. Должно, в хорошем настроении ты их застал.

— В хорошем, — подтвердил Фрунзе.

— Иначе никакая сила бы их не заставила сделать это.

— У них полное единодушие.

— Полное... как у коз на базаре. Знаю я их.

Мош Ион сплел еще один венец, затем резко выпрямился и оперся спиной о стог сена. Заговорил горячо:

— Каждый год эти «китайцы» хвастаются, что у них вино крепче моего. А кто, кроме них, пробовал то вино?.. Кто, я тебя спрашиваю?! Да никто!.. А без пробы ты можешь что угодно говорить, показывать kota в мешке... Этак, внучек, и ты можешь выставить себя девкой на выданье!..

— Вам, мош Ион, обидно, что я зашел к ним первым?

— Нет... что тут обижаться?... Видел я, как ты направлялся к ним. Ну, думаю, пускай еще одного волка съедят овцы... Да что там зря молоть языком, толочь воду в ступе!.. Пиши, внучек, что полагается!.. Уж очень не терпится мне вернуть бабе своей должок!..

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Мир, покой, тишина и благоволение в доме Фрунзе могли наступить лишь тогда, когда утихомиривался, переставал бушевать мош Тоадер Лефтер. Утихомирить же его могла одна только Катинка. Она все делала для того, чтобы у старика не было причин быть не в духе, на что-то сердиться, чтобы он не взрывался, не кричал, не размахивал руками.

Не кричал... А сколько на свете людей, которые не кричат, не подымают шума, и исподтишка истязают своих ближних: бьют жен и детей. Бьют и, как говорится, плакать не дают. И считаются хорошими людьми, потому как вершат свой суд над беззащитными в полной тишине. В конце концов, откроется и это, но, может быть, уж слишком поздно...

Для душевного равновесия мош Тоадера достаточно было того, чтобы пастух поскорее увел свою отару и подвизался с нею на другой окраине села, чтобы козы перестали совершать свои разбойные набеги на дедушкин сад.

Для Катинки хорошее настроение старого отца было верхом блаженства. И вообще все у нее теперь было хорошо. Муж вернулся к земле, дети находились дома, при ней. Отец утомился, не кричит, не становится посмешищем всего села, не бегаёт с вилами за козами. Все, вроде бы, установилось, улеглось как нужно. Правда, муж что-то замкнулся в себе. Иной раз не разговаривает целыми днями, работает молча. Что там у него на сердце?... Катинка не пыталась залезть в его душу. Костаке и прежде было не больно разговорчив. И жаловаться не любил. Сколько лет прожила с ним и ни разу не слышала, чтоб он на что-то посетовал. Как всякой женщине ей иногда хотелось увидеть его слабым и беспомощным, по-ребенчески незащищенным, чтобы она смогла прийти к нему на помощь, приласкать, приглубить и облегчить его страдания. Ей очень хотелось хоть раз в жизни поврачевать его душу — ведь женщина умеет это делать лучше любого доктора; хотелось угадать его сокровенные желания, услышать, чего бы он хотел поесть, — она, Катинка, отличная стряпуха. Для детей своих она

была всем: и врачом, и самым искусным поваром, и бесстрашным коршуном, когда тому требовалось защитить своих птенцов, отвести от них нависшую над ними опасность.

Муж ее — это совсем другое. Он уляжется в постель только уж когда немощу, когда все его тело запылывает жаром. Горит весь огнем, а от ее помощи отказывается: сам, мол, оклемаюсь. Дети, так те и при малой хворости валяются в кровать, чтобы лишний раз почувствовать на себе теплые мамины руки, чтобы она потрогала их головки, поцеловала в лобик и сказала ласковые слова. А муж — нет. Сам сходит в погреб за вином, скипятит его с сахаром и с красным перченым стручком, выпьет две здоровенных кружки, залезет под теплое одеяло с головой. Потом белье хоть выжимай — так пропотеет весь! И, глядишь, к утру — уже здоров, уже на ногах. И Катинке порою было обидно от сознания того, что выздоровление мужа произошло без ее участия.

Такой она была, мать Тоадера Фрунзе. Нежная, добрая, тихая, вроде бы безропотная. Старшему ее сыну казалось, что кроме своего дома, кроме собственного гнезда мать не интересуется решительно ничем. Но сын ошибался. Тихая эта женщина, оказывается, очень пристально следила за всем, что происходило на селе, пыталась своим умом доходить до всего, анализировала, делала про себя свои выводы. В конце концов в ней вызревали и свои суждения, очень простые, иногда весьма суровые. Нередко ее слова ставили сына-коммуниста в тупик, он не сразу находил, что сказать в ответ, подолгу задумывался. Время от времени сама спрашивала и терпеливо ждала ответа: она ведь была почти безграмотна и, наверное, мучилась от того, что не всегда могла разобраться в сложных вопросах жизни.

Раньше, сталкиваясь с трудностями, с различного рода жизненными противоречиями, можно было сослаться на войну: она, мол, все наворочила, все перевернула вверх дном, все порушила. Но война закончилась несколько лет назад. На нее теперь все не свалишь. Да Катинка и не ссылаясь на войну. Ее вопросы были хоть и просты, но так неожиданны, что поражали и Тоадера-младшего и отца. Как-то она спросила:

— Вы вот скажите мне, почему сейчас никто в Кукоаре не боится тюрьмы? Украдет кто-то пару яблок, и ему пять-шесть лет дают... А осужденный смеется, словно не в тюрьму собрался, а на свадьбу... Глядишь, и года не пройдет, а он уж дома. По две, мол, нормы выполинял там, вот и отпустили... А вы рады-радехоньки, сейчас же делаете его своим активистом... Почему так?

Что сказать ей на это! Во все времена у всех народов вор остается вором и его не глядят по головке. Правда, в Кодрах за три чужих ябло-

на никто не назовет тебя вором. Но Катинка не хотела своим странным вопросом оскорбить ни мужа, ни сына, поставить их в неловкое положение. В душе-то она даже гордилась ими. Но коль задавала такой вопрос, значит он жил в ней, тревожил, беспокоил ее. Думая об этом, она не могла не знать такой статистики: сколько помнила она себя, говорили про то и старики, что за всю историю Кукоары, то есть с тех пор, как селение это существует, в тюрьме побывало только два ее жителя. Один — это лесник, который застрелил человека, пойманного им на порубке деревьев; вторым был прижимистый мужичок-кулачок, который не захотел уплатить штраф за украденные им стволы ценных пород деревьев в государственном лесу и отсидел за это два года в тюрьме. А теперь что-то уж много развелось этих воров...

Другой не менее сложный вопрос задавала она в связи с распушенностью людей:

— Раньше в Кукоаре объявлялись две-три женщины легкого поведения... Ну, эти, как там их... б..ди, по нашему.. прости господи! Их сейчас же выметут из села.. А сейчас?..

Второй вопрос был, пожалуй, потяжелее первого. Костак Фрунзе низко опускал голову, а старший сын превращался в вареного рака — так мучительно краснел. А глаза Катинки говорили: «Отвечайте! Вы же коммунисты. Отвечайте!..» Легко сказать — отвечайте!..

На первый вопрос сын пытался ответить ей так. Советские законы против полной изоляции человека, они не хотят раздавить его морально. Цель этих законов — исправить человека, перевоспитать его, вернуть к нормальной жизни, сделать полезным членом общества. Раньше заключенных лишали всех прав и на всю жизнь. В буржуазных условиях тот, кто просидел в тюрьме хоть два-три месяца, никогда уж не мог занять государственной должности, был, таким образом, обесчещен на всю жизнь так же, как и его дети. А причем тут дети? В чем их вина?.. Говорил так, а сам видел, что не убедил мать, ни капельки не убедил! Это видел и отец. Да она и сама не скрывала того. Начинала говорить с несвойственной ей горячностью:

— Согласна с вами только в одном: раньше, правда, законы насмехались над человеком... А теперь? Теперь люди смеются над законами! Или вы этого не видите?! Не видите, как глумятся над вами те, что побывали в заключении... Побывали, говорят, на курсах... кто на двухгодичных, кто на шестимесячных... Нахально говорят вам в глаза: «Вернулся, товарищ председатель, с курсов... прошел все науки... назначайте меня поскорее каким-нибудь начальником!» А вы и рады — скорее его в активисты, как же — курсы прошел человек, подковался!.. Не так разве?

Сейчас-то Катинка выпаливала все это сгоряча, а ведь могла то же самое выложить совершенно спокойным, ровным голосом, и оттого слова ее были еще тяжелее, свинцом давили на сердце. Сын сердился:

— Тебе бы, мам, поручить создание законов. Ты бы уж...

— Да я бы уж нашла управу на воров и гулящих баб, я б их научила уму-разуму!.. Сорную траву с поля долой, как и гнилое яблоко из сада. Иначе они и всех здоровых разорят. Особенно эти... прости господи... потаскухи грязные...

В этом месте Костак Фрунзе взрывался смехом. По тому, как он смеялся и смущенно крутил головой, сын понял, что мать целится камушком и в огород своего суженого — бывшего председателя сельсовета. Из этого сын мог заключить, что она кое-что знала из того, о чем рассказал ему, Тоадеру, сельсоветовский секретарь, знала про Анишоару, которую пригрозил председатель у себя под боком, в сарайчике, где приказал сложить и печку, чтобы, значит, не замерзла...

— Я уж не раз говорил тебе: прекрати эти разговоры! — взорвался в конце концов Костак, наигранную веселость как рукой смахнуло с его лица. — Не я привел туда эту... эту несчастную... Ее притащил туда секретарь...

— А для кого? — глаза доброй и мягкой Катинки вспыхнули, как у кошки.

— А черт его знает, для кого!.. Может, для уполномоченных...

— Для уполномоченных?.. Хорошенькое дело! Так отведи туда и своего сына, бесстыдник! Ведь Тодерикэ тоже уполномоченный. Веди, веди!..

— И сам дойдет, ежели из одного с ними теста. Берег его, когда был малым. От огня, от воды — от всего берег. А теперь он вырос. Своя голова на плечах — пускай сам бережет себя!..

Назревала крупная семейная свара. Хорошо, что при ней не будет присутствовать «хранитель винограда» — младший брат. Он, правда, был сейчас не на винограднике — в другом месте: утробал в район за учебниками — приближалось первое сентября.

Тоадер Фрунзе вообще не любил ссор, а у себя в семье — в особенности, для него это нож острый. Мать и отец ссорились не часто. Но ссорились. Старший их сын поскорее находил себе занятие во дворе, чтобы только не быть свидетелем их стычек. Иногда уходил к соседям, переживал там и возвращался домой только тогда, когда в нем водворился опять мир. Обычно в таких случаях за ним приходили домашние, и он знал, что под родительской крышей все в порядке, тучи рассеялись, громы и молнии смолкли.

Так поступил Тоадер-младший и сейчас, мотивировав свой уход из дому тем, что его будто бы давно поджидает Василе Суфлецелу, который намеревается тоже вступить в колхоз. Нельзя же не уважить его просьбу и не зайти: человек вернулся с фронта без одной руки. К Василе влекло и другое — в глубине души теплилась надежда, что может встретиться там с Викой Негарэ. Тоадеру Фрунзе ничего от нее не нужно — только бы повидать, узнать, счастлива ли.

Когда-то Тоадер был малым с большими претензиями и честолюбивым. Он мечтал построить себе избу на зависть всем односельчанам, такую, чтобы она была лучшей в Кукоаре, — с железною крышей, с верандой, с резными карнизами и наличниками, с другими разными придумками. И все это для того, чтобы поддеть Вику, пускай бы она увидела, какого хозяйственного парня потеряла, пускай бы сворачивала шею, проходя по улице и взглядывая на чудо-избу, воздвигнутую ее отвергнутым воздыхателем.

Теперь заносчиво-мстительная эта мечта погасла, и он только хотел увидеть ее — больше ничего. Глянуть хотя бы издали, увидеть ее улыбку. Ну же и глаза у Вики! В них всегда перемигиваются какие-то живые, лукавые звездочки-смешинки, черные жемчужинки в голубой оправе. Они всегда смеялись, а вместе с ними смеялось и все Викино существо. Неужели звездочки эти померкнут в старости? А ведь это так. Блеклость красивой женщины более заметна и огорчительна, чем некрасивой от рождения: у этой, последней, смена красок на лице проходит почти незаметно; красавица же порою тускнеет и дурнеет прямо на глазах у всех с ужасающей быстротой, и, видя это, она страдает в неизмеримо большей степени, чем женщина некрасивая, которой и терять-то особенно нечего...

Мать негодует, что в Кукоаре развелись непутевые бабы. Ее убеждения в том, что народ распустился, люди испортились, женщины и девицы потеряли всякий стыд, волновали Тоадера своей несправедливостью, а еще больше тем, что он не мог защитить тех, на которых возводилась напраслина. Ведь Катинка глядела на мир через маленькое окошко своей хижины, а мир велик; чтобы видеть его, нужен иной обзор, другой наблюдательный пункт. Он все-таки сказал ей, чтобы она не мерила всех людей сердитой меркой дедушки. Но она ответила на это: «Ты бы уж помолчал!.. Ты сам, как капля воды, похож на своего деда... И женишься, как он, когда волосы станут седыми... Или вовсе не женишься, как баде Пэтраке!... Братец твоего дедушки так и помрет холостяком!..»

С досады мать могла сказать ему и такое.

И была, в общем-то, права, но потом все-таки жалела, что сказала старшему сыну это. Но слово — не воробей, вылетит — не поймаешь.

2

Василе Суфлецелу, когда выпивал лишнего, ходил по улицам и, как бы угрожая, возвещал во всеуслышанье, что женится. В течение многих лет грозил он селу. Отделавшись, однако, легким испугом, кукоарские девушки успокоились, махнули на потенциального жениха рукой; но он все-таки женился. Дед Тоадер подводил итоги: «Околдовала его Аника, вот как держит!.. У самой головка с детский кулачок, с айву, ахватило ума... присушила, окаянная, мужика. Пекёт с ним по дитю в год, коровья образина!.. Чертов помет!.. Маленькая, тощущая, а так и мечет этих байстрючат... И все как на подбор мальчишки с чубчиками на лбу... И куда только глядит всевышний?.. Иная бабица, здоровенная и толстая, как винная бочка, не может произвести на свет и одного мальчонку... А эта каждый год по одному. Куда это годится?!..»

С той поры как баде Василе оженился, он уже не приходил к мош Тоадеру Лефтеру затевать трынту¹. Теперь он заявлялся к старику как солидный, степенный и благоразумный человек, как полагалось женатому. Приходил провести час-другой за беседашкой, за которой можно еще распить кувшинчик вина, поделиться воспоминаниями о войне. Иногда мош Тоадер делал ответные «визиты», заглядывал к Василе, чтобы отведать и его винца. Старый ворчун не забывал при этом рассовать по карманам разные лакомства, чтобы угощать ими детвору Василе. Ему нравилось гладить их по головкам и бормотать:

— Ну и шкеты!.. Ни зимой, ни летом никакая болячка не прилепится к вам. Ну и дьяволята!..

Любая хворь, действительно, обходила ребятишек Василе стороной потому, что они сами себя хорошо закаляли: зимою босиком бегали по снегу, срывали с соломенных крыш сосульки, дрались из-за этого ледяного монпансье, волтузили друг дружку до тех пор, пока не налетала на них ястребом Аника.

Летом мать вообще видела их редко. Целыми днями они пропадали на кладбище. Там у них было все: черешня, шелковица, вишни, яблоки, груши, сливы, айва, орехи — все жители Кукоары у могил своих ближних непременно высаживали фруктовые деревья, и со временем кладбище превратилось в великолепный сад. Народ верил в то, что и усопшие в какой-то час выходят из могил и едят плоды с этих

¹ Молдавская национальная борьба.

деревьев. И вообще, плохо ли, когда кто-то из ныне здравствующих забредет сюда, отведаст яблочка, груши ли и скажет «спасибо»!

Мош Тоадер не разрешал «байстрюкам» забираться в его сад и вообще во двор. Однажды разрешил, а они, чертенята, вместо сада забрались на крышу, стали ее теребить в поисках меда от диких пчел, нередко водившихся в старой, трухлявой камышине. После ребячьего нашествия крыша выглядела так, словно бы ее обстреляли шрапнелью или напугали до того, что ее волосы-камышинки поднялись дыбом. Старик ничего не оставалось, как взобраться на кровлю и в течение всего дня подправлять ее старую прическу.

Теперь мош Тоадер был осторожнее — яблоки, груши и прочее бросал ребятишкам через забор, а в сад не пускал, чтоб не набедакурили там, а заодно и во дворе. Хоть и хлопотно было с ними, хоть и возникали время от времени меж стариком и детьми разные конфликты, но мош Тоадер любил мальчишек баде Василе, как собственных внуков. Когда был свободен, выходил с длиннющей жердиной на кладбище и сбивал для них гроздь рябины с самой верхушки, недоступной даже для них, ребятишек.

«Нате, шкоденята, подбирайте! — напутствовал дед, орудуя длинной палкой. — Собирайте и несите домой... Теперь ягоды еще нехороши, кисловаты, стянут вам губы в трубочку... А вы поместите их где-нибудь под лавкой, в тени... Через какую-нибудь неделю они созреют, потемнеют, и лопаите их сколько душе угодно, саранча вы несчастная!.. Так-то вот!.. Ваш отец, коровья образина, только все обещает вам посадить виноградник, а его обещаньями сыт не будешь... Вот вы и карабкаетесь по деревьям, точно гусеницы... Шастаете по чужим садам, и некому перебить вам ноги!..»

Намерение баде Василе разбить свой виноградник имело такую же длинную историю, как и его женитьба. О женитьбе толки на селе окончены, а о винограднике продолжают до сих пор. О нем затевалась речь, как только баде Василе переступал порог хижины мош Тоадера. Сколько кувшинчиков винца «усидели» они под эти бесплодные речи! Планы относительно будущего виноградника у баде Василе замечательные, и неудивительно, что от них сейчас же воспламенялся и мош Тоадер, включался со своими советами, спорил, горячился, пока не добивался того, чтобы Василе принял его поправки к своему проекту. После этого отправлялся в погреб за вторым кувшинчиком.

Когда баде Василе вернулся с войны, мош Тоадер еще сильнее уверовал в его давние замыслы в связи с несуществующим пока виноградником. Видя, однако, что дело никак не подвигается, а, напротив, стоит на месте, одной поздней осенью сам натаскал опилки, закопал

в них черенки-саженцы; страшно довольные тем, что возок стронулся наконец с мертвой точки, друзья кутили всю зиму, угощались друг у друга на славу до самой весны. Саженцы уже начали прорастать в землянке деда Тоадера, а баде Василе словно бы позабыл о них, заходил к старику все реже и реже. Иногда мош Тоадер излавливал его где-нибудь на улице, раздвигал под орех, а тот лишь втягивал голову в плечи, потупившись, что-то бормотал в свое оправдание: мол, и ямки еще не выкопал, да и сам участок как следует не подготовлен — времени, вишь, у него на это не хватало. Да и как бы это он управился в срок с одной-то рукой! Другая, как известно, осталась где-то там, за Прутом или за Дунаем...

Вместо винограда мальчишки баде Василе лакомились ягодами терна, которые в изобилии находили у забора Негарэ. Тот развел колючий этот кустарник для укрепления изгороди, к осени он был буквально усыпан черными плодами, не менее вкусными, чем спелые виноградники.

В тот день, когда Тоадер Фрунзэ пришел к баде Василе, все его отпрыски торчали в терновнике Негарэ.

— Э, ребята!.. Отец дома? — окликнул их Тоадер-младший.

— До-о-ма! — ответил самый чумазый.

— Что делает?

— Читает книгу.

— Где?

— Да там, под завалинкой.

В эту как раз минуту из дому вышла Аника и сейчас же заголосила:

— Василе-э-э!.. Где ты?.. Вот нечистая сила... Пошел по воду и до сих пор его нету!.. У меня чуğun пустой на огне, а он с кем-нибудь ласы точит!.. Василе-э-э!

— Так он же не у колодца, мам! — засмеялся Федорикэ, старший сын.

— Как?! — всполошилась Аника. — Где же он?..

— Под завалинкой... Читает...

— Полопались бы его зенки!.. У меня чуğunок того и гляди разлетится на черепки без воды, а он читает!.. Я ему покажу такое чтение!.. Я ему покажу!..

Аника нырнула обратно в избу и тут же появилась вновь с предлинной кочергой в руках.

Однако выгребать из-под завалинки было уже некого: баде Василе подхватил ведро и с молодецкой прытью устремился к колодцу. Книгу не выпускал, плотно держал под мышкой, прижимая обрубком руки; ведро было в здоровой руке. На бегу все оглядывался, не настигает ли его жена со своим испытанным оружием.

Бедный Василе! В свое время Негарэ смилостивился над ним и разрешил несколько лет ходить в школу. Там-то и научился он грамо-

тешке. Выгнав в степь скотину своего благодетеля, мальчишка имел возможность на какой-нибудь час-другой склониться над книгой — над любовью, какая только оказывалась в его руках. Да так пристрастился к чтению, что в условиях сельской жизни оно вылилось у него в некий род недуга или порока, как, к примеру сказать, курение табака или выпивка. Из-за книг, с которыми не расставался ни при каких обстоятельствах, у него было немало неприятностей. Аника давно уже окрестила своего неисправного книгодея «лодырем». Грозилась даже выжечь ему глаза раскаленной железкой.

«Другого для меня слова у нее нету. Лодырь да и только! — жаловался Василе кому-нибудь из односельчан. — Увидит в руках у меня книгу и кидается, как разъяренная тигрица. Норовит вырвать у меня ее. Раньше-то, когда было две руки, легко отражал ее атаки. А теперь иногда и она берет верх: отнимет книгу и — в огонь!»

Баде Василе донес ведро с водой только до порога и вмиг отпрянул на середину двора. Оказавшись в «зоне недосягаемости», то есть на почтительном расстоянии от кочерги, сам стал огрызаться:

— Сегодня же праздник, дурал.. Неужто и в такой день я не имею права взять в руки книгу?!

Тодадера Фрунзе, как это ни странно, занимала сейчас отнюдь не эта семейная перепалка. Его удивило то, что тетенька Аника, кажется, не была беременной. Он привык видеть ее всегда на сносях, с округлым животом. Сейчас ее не узнать: худенькая, верткая, похожая на неугомонную, озорную девчонку, затеявшую игру в прятки с отцом. Так разительна была в ней эта перемена. В наименьшей степени поразило гостя и то, что на руках у Аники не было маленького, прильнувшего к груди, высвобожденной из кофты. Она, по-видимому, решила, что выполнила свой долг и перед природой, и перед государством, и теперь могла всерьез заняться воспитанием мужа. Перво-наперво определила во что бы то ни стало отлучить его от книги. Но Фрунзе вовсе не был убежден, что ей это удастся. Надо было видеть, каким ясным и добрым светом светились глаза Василе, когда в его руках оказывалась книга! Исправною рукой он нежно оглаживал ее переплет и мурлыкал что-то ласковое, как над колыбелью младенца. Иной раз вдруг радостно восклицал:

— А что еще написал этот Гоголь?.. Хочу все прочитать! Живот можно надорвать от смеха! — и смеялся, обливаясь радостными слезами. — Ну и ну!.. У него полная книга чертей!.. Один на метле летает, другой пробирается через трубу... А какие попы у Гоголя!.. Таскаются ночами по чужим бабам... Потеха!.. А вареники?.. Сами окунаются в сметану и сами же лезут тебе в рот!.. А какой-то выживший из

ума барин собирает по дорогам старые подковы и гвозди. Уморал.. И такой еще есть там чудак — ездит по селам и скупает мертвые души!.. А у одного сбежал нос, и хозяин ищет его по всему Петербургу... Это как!.. Ха-ха-ха!.. Вот это сочинитель!..

— Где раздобыли вы книги Гоголя? — спросил Тодер.

— Как где?! У Милуца. Милуца-почтальон ссуживает их мне на время. Вот кому позавидуешь! Счастливейший человек! Денно и ночью только то и делает, что читает. А зарплата идет. Подымется пораньше, обежит Кукоару, разнесет почту — и к книгам. Сидит себе и почитывает!.. Вот это, я вам скажу, жизни!

— Создадим колхоз, и найдется вам дело по душе, баде Василе.

— Дай-то вам бог!.. Ей-ей, я был бы почтальон не хуже Милуца! В один миг бы доставил всем те письма и газеты. Это мне не в тягосты!

— И для чтения выкроил бы времечко. Так ведь?

— И не только это, Тодер. Для меня важнее другое: подальше оказался бы от жениного языка, от ее ругани. Да и подзаработать малость не мешало б. Моя инвалидная пенсия невелика...

— Хорошо, что вы грамотный человек, баде Василе. Колхозу такие люди вот как нужны будут!..

— Не скоро вы его сколотите... колхоз тот, — вздохнул Василе.

— Почему?

— Почему?.. Народ, Тодер, это такая штука... Его нелегко сдвинуть с места.

— Это, пожалуй, верно. Вот вы, баде Василе, фронтовик, можно сказать, герой войны, инвалид, а заявления в колхоз до сих пор не подали. Что же говорить о других?..

— Я-то?.. За мною, Тодерикэ, дело не встанет. Я в один момент настрою нужную тебе бумагу. А вот ты попробуй столкнись с моей Аникой!.. Только вместе с моим крестным, с Негарэ то есть, она готова войти в колхоз. Без этого — ни в жизни!

— Может, ваш крестный совсем не желает вступить в колхоз. Тогда как же?!

— Да, пока что он почесывает у себя в затылке. Поехал вон с другими на Украину — узнать, как там и что. Еще не вернулся. Поглядим, какую песню запоет по возвращении.

— У каждого своя песня. Каждый должен жить своим умом и отвечать за себя.

— Так-то оно так, но что поделаешь с моей Аникой?

— На фронте вы не боялись вражеской пули, а теперь перед женщиной оробели.

— Э-э, Тодерикэ, не скажи! Она, проклятая, жена то есть, может ужалить больше

пули. Не гляди, что она такой воробушек. Подымет такое, что все село взбулгачит! Только тронь ее!..

Тоадер Фрунзе нахмурился:

— Вот все вы так. Один своей жены убоился, другой ждет, что скажет крестный... Третий не против колхоза, но хочет, чтобы он создавался где-нибудь в другом месте — только бы не в Кукоаре. А тут надо бы обождать, поглядеть, как получится у других, а тогда уж... Нет, баде Василе, так не пойдет. Пока мы тут будем чесаться да раздумывать, наши соседи захватят для своих колхозов брошенные помещичьи земли. Лучшие земли, заметы! Ну, как?

Последние слова Тоадера Фрунзе — это не дань безхитростной агитации. В них была истина. Кукоара относилась к разряду селений, которые именовались «резеш», то есть к тем, какие никогда не принадлежали помещикам, были вроде бы вольными. Но они дорого платили за эту свою «волю»: лучшие земли давно прибрали к своим рукам бояре, а этим гордецам оставалась самая никудышная, по существу, брошенная, почти ничего не родившая земля. Кукоаровцы и такие, как они, уверяли, что свою свободу завоевали в битвах с турками, в битвах, которые длились столетиями; бились, вооружившись луками, пиками, затем шомпольными ружьями, саблями. Сражались верхом на коне и в пешем строю — шли стеною на стену. Нередко приходилось брать в руки топоры, косы, вилы. Завидя костры на горе, люди бросали все свои дела, седлали коней и мчались на защиту родной земли. Прятали жен и детей в лесах, а сами становились воинами.

Древние старцы любили рассказывать о тех достославных временах. Рассказывали о каких-то необыкновенных телегах с двумя дышлами, изобретенных для того, чтобы лучше проехать по лесным дорогам. Если враги наступали с одной стороны леса, женщины быстро переводили волов с переднего дышла на заднее, и наоборот. Так вот и маневрировали в лесу, ибо защитить их было некому: все, кто мог держать оружие, находились на бранном поле. Вот как жили резеш! В вечных битвах! Колокольный набат, костры на холмах постоянно отрывали их от земли — звали на войну. Ну, и что же получили за свои ратные дела? Право гордиться ими?.. Пока воевали, бились с врагом, бояре захватывали самые жирные, плодородные уголья, а резешам оставили холмы да овраги, песчаные склоны да глинища, заболоченные места да солончаки. И все-таки резеш не гневались на свою судьбу, им все же было легче, чем селам, которые были в крепостной зависимости у бояр. Лучше быть голодным, но свободным. Суглинки, супеси, даже солончаки могут, пускай скудно, но все-таки могут прокормить человека, когда он чувствует себя сво-

бодным, когда не слышит на своей шее ярма. К тому же жителей в таких селах было немного — большая их часть погибала в сражениях, так что прокормиться и с тощих клочков земли было можно. Со временем и эти села разрослись, землю пришлось разрезать на малые куски, делить ее по числу душ, и от бывшей гордыни у людей ничего не осталось. Разве что лес, коего не было у степных селений. Но зато они после отмены крепостного права оказались на добротных землях, на таких, которые резешам и не снились. Между тем резеш судорожно цеплялись за самые крохи, за самые малые отблески давно минувших славных дней: мужчины, например, называли себя по-военному: «капитан». Даже теперь, когда во всех степных селениях люди обращались друг к другу словом «товарищ», кукоарские мужики произносили его лишь в сельсоветах или в других, как говаривалось в старину, присутственных местах. А на улицах или во дворах приветствовали друг дружку так: «капитан Георге», «капитан Василе»...

Правда, людей, которые при казенной должности, они именовали так, как принято в официальных инстанциях. В прежнее время, скажем, директор школы назывался «господин директор», перече́птор, то есть налоговый агент, — «господин перече́птор»; примарь — «господин примарь», ну и так далее. В наше советское время — соответственно: «товарищ директор», «товарищ председатель», «товарищ секретарь». К молодежи обращались вовсе уж бесцеремонно: «Эй, парень!» или «Эй, девушка!». Но стоит такому парню жениться, как он тут же удостаивался звания «капитан». И это было все, что могло указать на бывшие отличия резешей. Время все перемешало и переничило! Теперь уж никто не покупает верховую лошадь, когда женит сына, не соблюдает и многих других обычаев, бывших некогда привилегией резеш. Теперь над ними степняки посмеиваются: резеш, мол, дают в приданое своей дочери кусок глины с поля да десяток деревьев, чтоб построили хижину и плодились там. Попробовали бы сказать так прежде, резеш вмиг набросили бы намордник такому пересмешинику! А теперь любой может уколоть когда-то гордых резешей. Во время полевых работ нередко можно услышать: «Э-гей, резеш! Три фасолыны в тарелке и кругом одни долги... И всегда пусты желудки, но горды, как индюки... Ха-ха-ха!»

Да, многое изменилось. Резешские селения живут откровенно хуже. Степняки на базаре продают пшеницу, резеш — лук и чеснок, на вырученные деньги покупают хлеб у тех же степняков.

«Если не создадим в Кукоаре колхоз раньше, степняки опять переце́голяют нас», — грустно размышлял Тоадер Фрунзе.

Он очень любил свое село. Черт с ними, думал он о своих мужиках, пускай величают себя капитанами, хоть генералами, хоть маршалами, только бы не противились колхозу, только бы не улизнули от них хорошие земли! Колхоз, немедленно колхоз! Тогда можно будет сразу же наложить руки на бывшие владения Плешны и Флорины. Четыреста гектаров отличных угодий да еще участок бугая! Бояре давно улепетнули за Прут — их и след простыл. Эти помещичьи земли да участок, который отводился для мирского, то есть общественного, бугая, ждут своего нового хозяина. Степные крестьяне намеревались самостоятельно захватить их, присвоить себе, мотивируя это тем, что они когда-то были крепостными у этих помещиков. Наши, мол, деды и прадеды переносили всяческие издевательства, побой и унижения от бояр, потому-то нам-де, их потомкам, и надлежит владеть этой землей. Резеши зарятся, мол, на дармовщинку! Они не гнули своих спин, не работали с темного до темного на барина — только задавались: мы, мол, капитаны, ходим в хромовых сапогах и меховых кэгулэ¹. А крепостные обувались в лапти, иной раз и лаптей не было — босыми шастали по стерне.

Про эти бесконечные споры, которые в любой момент могли перейти в драку, знали все жители Кукоары. Тоадер Фрунзе решил подсыпать сольцы на больное место своих односельчан. На собрании особый упор сделал на то, что самые хорошие земли уведут соседи прямо из-под носа кукоаровцев, ежели они будут так долго рядить да гадать насчет колхоза. Кто первый создаст колхоз, говорил юный уполномоченный, тому и отойдут бывшие боярские владения.

«Как это так?! — вскакивал кто-нибудь из мужиков. — У них и так лучшие земли. Теперь и боярские захватят?!»

«Не захватят, а возьмут. Возьмут по праву первых, передовых то есть, если создадут колхоз раньше нас!» — говорил Тоадер Фрунзе.

«Пусть только попробуют!.. Закопаем их в ту землю! Пусть тогда едят ее!»

«Ее закопают же вы их заживо... Вот посмотрите, скоро прилетят аэропланы и сфотографируют боярские участки».

«Это еще зачем?.. Как сфотографируют?»

«Очень просто. Сфотографируют — и все. Потом нанесут на топографическую карту. Сделают на ней пометку: такой-то колхоз. Отдадут ему эти земли на вечное пользование, выдадут соответствующую бумагу, акт, значит. Потом государство пришлет машины — паши, колхознички, живите на бывшей боярской земле и добрая наживайте. А вы, дорогие мои земляки, будете хлопать ушами, но ничего уже не сделаете. Вот оно как будет!»

«Разве мы не сражались на фронте?»

«Сражались... Но и они сражались!»

Придя в сельсовет после таких-то вот собраний, Фрунзе находил там еще несколько заявлений. Но то были заявления по большей части от бедняков, от людей, которые не имели ни стоящей земли, ни тяглового скота. Правда, все они были честными, работающими крестьянами и не по своей вине не могли выбраться из нужды. Лодыри в колхоз не торопились. Эти искали побочные приработки в районе: устраивались конюхами, водовозами, сторожами при районных учреждениях, всячески увиливая от тяжелых земляных работ сеятеля, благо для этого сами обстоятельства шли им навстречу. Всюду требовались рабочие: на шахтах Донбасса, на вырубке леса, на строительстве дорог и различных зданий; из города этих «перекати-поле» привозили домой на машинах, а по утрам на автобусах же отвозили на работу, на которой они были далеко не ударниками, но денежки получали неплохие...

Фрунзе знал, что баде Василе хоть и не надрылся в трудах праведных, но и лодырем не был. Ему бы только взяться за какое-нибудь дело, но ежели он брался, то исполнял его на совесть. Туговат был на раскачку. Без посторонней помощи едва ли сдвинется с места. Вот и сейчас бубнит свое:

— Мне, сынок, не надо повторять два раза. Как только вернется крестный с Украины, подам заявление в колхоз.

Расставаясь с гостем, еще раз заверил:

— На худой конец сокру что-нибудь своей Анике... обведу ее вокруг пальца. Скажу, что крестный тоже подался в колхоз, потому как нагляделся на украинских колхозников — живут, мол, в тыщу раз лучше нашего... Вот что я ей скажу. Только — чур: пускай это останется только между нами.

И чтобы гость уж нисколько не сомневался в его честном слове, баде Василе, поворачиваясь вокруг своей оси, потянул в себя воздух со всех четырех сторон света. Так он делал всегда, когда принимал какое-нибудь решение. Поступал так перед тем, как выйти на поле или на огород с мотыгой на плече, — и в этом случае медленно вращался, обнюхивая воздух. В результате обнюхивания решал окончательно: быть или не быть, идти на поле или отложить это дело на завтра.

Такою привычку баде Василе приобрел во времена своего пастушества. Известно, что никто лучше и точнее пастуха не может предсказать погоду. Может быть, учится он этому сложному искусству от своих подопечных — коров там или овец. Животные эти реагируют на малейшие атмосферные изменения, ноздри их чуют приближение дождя, ветра или суховея.

¹ Кэгулэ — длинная островерхая пацаха.

Так или иначе, но баде Василе тоже раздувал ноздри парусом и принимался к воздуху, уверяя при этом, что его барометр никогда еще не подводил своего хозяина.

Как же он сработал у него на этот раз?

Этого пока что Тоадер Фрунзе не знал.

3

Большое приусадебное угодье было когда-то у Георге Негарэ. Лишь теперь, когда оно было поделено на части, люди с удивлением обнаружили, как много дворов могло бы разместиться на нем. Зная про то в малые свои лета Тоадер Фрунзе, не терялся бы в догадках, отчего это Негарэ не обрабатывал свой огород лопатой и мотыгой, как делали все его односельчане, а распахивал сохой, а то и плугом: иначе бы ему и не управиться. Земля при дворе ценилась в Кукоаре на вес золота. За один ее клочок можно было купить десятину на поле. В поле, однако, без особого труда можно определить размер делянки, но попробуй сделать это относительно приусадебного участка Георге Негарэ, когда он, участок этот, окружен зеленым забором из терновника, прячется от стороннего глаза. Сейчас только стало видно, что раскинулся он больше чем на десятину. Другие селяне, экономя землю, заполняли свой участок грядками фасоли, чеснока, укропа, петрушки, лука, чтобы, значит, было чем приправить борщ. Что же касается Негарэ, то большую часть огорода он отдавал картошке и луку: дело прибыльное.

Тоадеру-младшему не раз приходилось работать в огороде своего богатого соседа. Вместе с Митрей и Викою окучивал картошку, пропалывал грядки лука. Окучивали, как правило, после дождя. В сухую погоду принимались за лук — рыхлили землю, пропалывали сорняки. Негарэ вел огородное хозяйство по-умному. Он знал, что после дождя окученная картошка надолго сохранит у своих завязавшихся клубней влагу, что и обеспечит при всех капризах природы хороший урожай. Но только глупый человек будет обрабатывать грядки лука в сырую погоду: замажешь поры земли, почва затвердеет, лук захиреет, а сорная трава взывает пуще прежнего — она только того и ждет!

Мальчишка Фрунзе мог бы, конечно, догадаться, как велик огород у Негарэ. Но тени, отбрасываемые деревьями и живым зеленым забором, скрадывали его величину. Только теперь, когда Негарэ отдал небольшой клочок под избу Василе Суфлецелу, построил посреди участка дом для Вики, а неподалеку от него — для Митри, после чего осталось еще много места для младшей дочери и для себя, — только теперь Фрунзе мог увидеть настоящий размер огородных угодий Георге Негарэ и понять на-

конец, почему они обрабатываются не мотыгой и не лопатой, а сохой и плугом. Просторный огород обманчив, как большая вода. Лишь поделенный на куски, он укажет на истинный свой размер, на свою подлинную величину.

По селу пошли толки:

«Прослышал про колхоз и тут же искромсал свой огород...»

«Этот своего не упустит! Знаем мы его!..»

Говорили разное. Одни — может быть, даже из зависти — осуждали, другие старались защитить Негарэ. Эти, последние, горячо урезонивали односельчан:

«Чего вам нужно от него? Если он женил племянника, должен же выделить и для него усадебное местечко!.. Как вы думаете?! Ведь племянник всю, почесть, жизнь батрачил у него. Надо же было как-то отблагодарить его!.. А потом — дочь... Ее выдал замуж. Почему бы не отрезать и для нее какой-никакой кусок? Не на чужом же огороде он построил для нее дом, а на своем!..»

«А сыну? — не унимались супротивники. — Почему и для Митри нарезал участок — он ведь не вернулся с войны, пропал без вести?..»

«Кто его знает... сегодня пропал, а завтра — отыскался... И такое бывает с фронтовиками...»

«Негарэ казенную бумагу получил про то, что его сын пропал без вести. Откуда же ему вернуться?!»

Разумеется, Негарэ знал, что его сын пропал без вести.

Поначалу Митря, не желая того, чуть было не избавился от фронта. Спустившись в погреб под клубом, чтобы поучить там девочек стрелять из немецкого автомата, он нечаянно стрелнул себе в ногу. Но пуля, не задев кости, пронзила лишь мякоть. Рана, к великой радости парня, быстро зажила. Перед уходом из села он сказал Тоадеру Фрунзе:

— Окажись эта рана настоящей — не видать бы мне окопов!

— Не на фронт, так попал бы под трибунал, — резонно заметил своему соседу Фрунзе.

— Не попал бы... В трибунале, чай, не такие глупцы, как ты...

— В партизаны думаешь податься?

— Да, в партизаны... Пускай сбросят меня с парашютом в наши леса, покамест там еще враг... Я хорошо знаю эти места, знаю людей!..

Ушел Митря и не вернулся. Как ни старался Тоадер Фрунзе хоть что-то узнать о судьбе своего друга, но ничего не узнал. Писал в разные места, но отовсюду получал один и тот же ответ: пропал без вести.

Было известно, что Митря действительно попал в партизанский отряд. Говорили, что вскоре напоролся на засаду: пошел за водой и к своим не вернулся. Только об этом и знали в Кукоаре, да и то из случайных, весьма

ненадежных источников. Говорили еще, что слышали перестрелку у колодца да разрывы гранат. И все.

Митря Негарэ исчез, как исчезает лесная ветка, сорванная налетевшим ветром. А война посильнее того ветра — сорвала не одну такую ветку, от которой и след простыл.

Между тем советские войска стремительно продвигались вперед. Быстро сменялись в сводках не только названия селений и городов, но даже стран. Необразимым половодьем разлились фронты — какой же волной подхвачен тот или иной солдат и куда будет унесен ею?..

Веточка, легкая, почти невесомая...

Нет, для Тоадера Фрунзе Митря не был простой веточкой. Он был для него другом детства — этой самой золотой и солнечной поры нашего пребывания на грешной земле. Но где отыщешь его? И мыслимо ли это, когда тысячи, сотни тысяч матерей ищут и не могут найти своих сыновей, жены — своих мужей, мужья — жен? Нет такой семьи, которая не понесла бы страшных потерь. Павшие на фронтах, погребенные где-то далеко на чужбине, эвакуированные и пропавшие без вести... Целые семьи раскидала война по белу свету. Поди собери их! Отыскавшиеся были так редки, словно воскресшие из мертвых, их возвращению верили и не верили. Труднее всего было напасть на след тех, о которых сообщалось с боевых фронтов: пропал без вести.

Родные же не теряли надежд, что они отыщутся, эти сгинувшие без вести, верили, что вернутся. Вернутся?.. Откуда же? Может, из гитлеровских газовых камер в виде мертвого пепла? Может, всплывут со дна реки, куда попали при переправе под огнем противника? Или из-под обломков блиндажа?.. Нужно, чтобы кто-то видел, как ты умер. Иначе над именем твоим будет вечно висеть дымка безвестности, тревожная немота недосказанности, кем ты был до той роковой минуты и кем остался в самую эту минуту... Нет горше и печальнее удела пропавших без вести!..

Митря Негарэ был как раз из тех, о которых хранила тайну умолкнувшая недавно война.

Его отец, Георге Негарэ, выделил для сына приусадебный участок, потому что свято верил, что Митря вернется. Другие бы, глядишь, смирились с печальным обстоятельством, перестали бы ждать. Но Георге ждал. Он знал, что бывает на войне. Он сам был на фронте, находился в плену у немцев без малого четыре года. Жена ждала его и дождалась. Да, Ирина ждала! Правда, та, прошлая война, была не столь жестокой. Сражались, сколько сражались, убивали, сколько могли убить. Но потом наступал час, пушки, пулеметы, винтовки умолкали, враждующие стороны подымались, выходили на поле, чтоб без помех подобрать убитых и раненых. В войне же, в которой участво-

вал Митря, таких поблажек никто никому не давал.

«Озлобился народ, озлобилась, стала лютей и война», — говорил Георге Негарэ.

Конечно, плен есть плен. Попал он туда раненым и хлебнул горяшка по самую завязку. Четыре года прожить за колючей проволокой и питаться одной гнилой свеклой — дело нештучное! Сколько народу пропало на его глазах в тех проклятых лагерях! Гасли, как мухи. Умирали от гангрены, от дизентерии, тифа, от туберкулеза. Умирали тысячами и тогда. Но он-то, Георге Негарэ, все-таки выжил! И теперь верил, что выживет, выскочит из лап смерти и его сын. Ежели б не верил, не выкраивал бы и для него куска земли из своего участка, не возводил бы собственными руками загодя хату для Митри. Пускай люди говорят, что им вздумается, он-то, отец, знает, что делает, сердцем чувствует, что сын вернется!

Думая про все это, под тяжестью нелегких таких мыслей, Тоадер Фрунзе бродил как пришибленный. Со стороны могло бы показаться, что он пьян и не может выкарабкаться из-за плетней и изгородей в усадьбе Негарэ.

— Может, вы ищете дедушку Пэтраке?

Фрунзе вздрогнул. Перед ним, на завалинке, стояла Вика, дочь Георге Негарэ. Она развешивала на веревке пеленки, детские нагруднички, распашонки.

Боже мой, как же она изменилась! Тоадер Фрунзе знал, что она уже, мать, но не думал увидеть в ней такие перемены. Вика, конечно, тоже не ожидала встретить его тут и потому растерялась не меньше, чем он. Она то развешивала ребеночье белье, то вновь срывала его с веревки. Была она в стареньком, вылинявшем платье из дешевенького ситца и потому, видать, застеснялась еще больше. После родов бедра ее расширились, и тонкая ткань лишь подчеркивала их полноту.

— Ну... заходите... посмотрите на нашего парнишку...

— Ага!.. Да, да... конечно!..

— Он уже большущий. «Сидит на попе и курит табачок», как сказал дедушка Тоадер Лефтер... ваш дедушка иногда бывает у нас.

— Мой дедушка — и заходит?! — удивился Фрунзе.

— Заходит.

Впрочем, чему же тут удивляться: старый Тоадер мог в любой день заглянуть сюда, а внук его месяцами не бывал в Кукоаре. К тому же старик жил на той же окраине села, что и Негарэ.

Молча поднялся за ней, такой же растерянной и молчаливой, по ступенькам крыльца в избу.

— Чем вас угостить? — наконец заговорила она. — У меня есть айвовое варенье...

— Не беспокойтесь... Ничего не нужно... пожалуйста...

— У меня есть мед...

— Спасибо.

— Сухое спасибо никому не мило!..

Сын Вики лежал в постели у печки — играл там какими-то цветными кубиками. Завидя Фрунзе, решил было, что это его отец, простер ручонки, залепетал:

— На... на... пруа...

— Думает, что это Прикопие. Просится на руки!..

Фрунзе поднял ребенка и еще более смутился — только теперь узнал, какие же они легкие, дети, и как хрупки. Он невольно прижал дитя к груди, боясь выронить его из рук.

От ребенка пахло молоком, молоком матери. От этого запаха Фрунзе мучительно покраснел, дыхание перехватило, и, чтоб не выдать своего страдания, своей душевной боли, он поспешно уложил мальчишку в постель и принялся столь же поспешно и неуклюже обшаривать свои карманы в поисках какого-нибудь гостинца для ребенка.

— Сейчас должен прийти и Прикопие, — между тем говорила Вика, ставя на стол блюдца с вареньем и медом.

Фрунзе знал, что Викин муж, Прикопие Иванович, вынужден был оставить работу в школе, потому как не смог одолеть всех наук в педагогическом училище. Бессчетное число раз совершал путешествие в Оргеев, но так дальше второго курса и не продвинулся, с этого курса его и «попросили». Теперь он был продавцом в сельской кооперативной лавке и мог в изобилии снабжать своего сына разными нарядными одежонками.

— Почему же не едите? Попробовали хотя б...

— Я не привык к сладостям.

— Сейчас придет муж и угостит вас чем-нибудь покислее... покрепче.

— И крепкого не принимаю.

— Эге! Что-то не верится.

Фрунзе, конечно, лгал, но лгал неумышленно: просто с языка срывалось непроизвольно то, что срывалось. Он еще никак не мог справиться с волнением, овладеть собой. Запах материнского молока, молока Вики, заглушил для него и запах айвового варенья, и запах меда, и все остальные запахи. Всё, решительно всё в этом доме сейчас пахло женским молоком. Может, сказать ей об этом? Но стоит ли? Скорее всего она только посмеется над ним.

Не найдя ничего иного, он извлек из кармана все деньги и торопливо сунул их в подол детской распашонки. Это была вся его зарплата за целый месяц.

— Что вы делаете? — испуганно кинулась к постели сына Вика.

— Купите ему конфет...

— Столько денег... на конфеты?

Он выметнулся из хаты, будто пчелой ужаленный. Вика добежала лишь до калитки с паучою денег — догнать его не смогла. Если б и догнала, вернула бы ему деньги, он бы выбросил их, но не взял обратно. Ему и самому его поступок казался до крайности глупым, но уже ничего нельзя было изменить. Деньги-то он берег для того, чтобы купить хотя бы килограммов тридцать зерна. Знал ведь, что мать давно уже подмешивает в муку высушенные и перемолотые на жерновах виноградные выжимки. Знал, что кисловатая эта примесь дерет горло и неприятно скрипит на зубах.

Больше, однако, беспокоило другое: как бы Вика не подумала, что он мстит ей: гляди, мол, я чего-то достиг в жизни, не то что твой муженек. Могу, мол, сорить деньгами... В самом деле, как еще посмотрит этот муженек, когда узнает, от кого деньги!..

Муж... ее муж... «Мой муж», — так назвала его Вика.

Может быть, он сейчас догонит его, Тоадера Фрунзе, и с презрением вернет деньги...

В Викином доме у Фрунзе не было времени думать обо всем этом. Там он не отдавал отчета в своих действиях, внезапный порыв души оказался сильнее разума. А теперь казнил себя за содеянное...

Чтобы привести свои мысли в какой-то порядок и хоть немного успокоиться, обрести душевное равновесие, он решил пойти к мош Пэтраке: рядом с этим человеком даже камням делается теплее. Врожденная доброта его как-то сразу и незаметно переливается и в тебя.

Кроме того, Тоадеру Фрунзе просто очень хотелось повидать старика в теперешнем его положении. С той поры как Негарэ начал возводить избу для своего Митри, Пэтраке вынужден был раньше срока перебраться в этот недостроенный дом. Перебрался сюда не только сам, но и перетаскал весь строительный материал, который многими годами собирал, скапливал для собственной хижинки, в которой полностью была закончена только одна комнатка. Сени, балконная пристройка до самой крыши были завалены бревнами и досками. Горько и смешно было видеть, как мош Пэтраке почти попластунски пробирался в свою каморку, похожую на барсучью нору. А теперь вот весь этот древесный материал, собранный с таким невероятным трудом и тщанием, чудаковатый старик собственноручно перенес к чужому, вроде бы, дому, не пожалел и своего забора, выдрал из него ясеневые доски и тоже притащил к будущему жилью пропавшего без вести Митри. Впрочем, он, может, и не сделал бы всего этого, если б в свою очередь не верил, что Митря жив, что он непременно вернется. Он верил, и верил так, как, вероятно, не верили

ни Негарэ, ни Ирина, ни Вика, — верил и надеялся несокрушимо, иначе он бы не перебрался в недостроенную избу.

До этого мош Пэтраке покидал свою барсучью нору лишь тогда, когда узнавал, что Ирина заболела или даже чуток прихворнула — в таком случае старик приходил в дом Негарэ, натапливал там печки так, что детишки могли бы бегать нагишом по всем комнатам, даже тогда, когда на дворе стоял трескучий мороз! Так Пэтраке выходил занедужившую Ирину. Очень уж он верил в целительную силу тепла. Может быть, потому, что самому-то ему тепла всегда не хватало: всю жизнь ходил оборванный и раздетый, до самых костей пробирали его жгучие, ледяные ветры, они как бы навсегда поселились во всех его суставах, даже душевная теплота не могла отпугнуть их от его зябнущего тела. В вечном страхе перед холодом и натаскал он горы леса к своей убогой лачуге. Постоянно думал: «А вдруг заболел? Кто мне поможет?.. Пускай же возле моей хаты вдоволь будет дров».

Он думал так, и эта мысль немножко согревала его. И вот теперь добровольно, без всякого понуждения со стороны, унес весь лес к чужому жилью. Возле него соорудил для себя нечто вроде шалаша. И спал в нем. Недостроенная изба была полностью завалена сеном: Негарэ не торопился с окончанием строительства. Возвел он стены, поставил на них стропила, покрыл оцинкованным железом, сделал дощатые завалинки, вставил окна и навесил двери. Печей пока не клал и не настилал потолков и полов. Всё это можно будет сделать по возвращении сына. Доски для пола и потолка, а также просмоленные балки для маток лежали наготове и ждали своего срока. Вернется Митря — через какую-нибудь неделю может вселиться в свой новый дом. Георге Негарэ снимет тогда перевязанный полотенцем крест, закрепленный сейчас на самом коньке крыши, спустится с ним вниз, освятит им новую избу, и пускай будет счастлив в нем его сын, пускай наполнит эти комнаты внуками. Он у Негарэ один, Митря. Зачем же мучиться ему с постройкой дома. Пускай войдет в готовый и будет вечно благодарить отца, который избавил его от тяжкого труда, от какого не могли избавиться многие парни, задумавшие жениться...

Тоадеру Фрунзе не терпелось повидать Пэтраке. Вспомнилось сейчас ворчанье собственного деда, нацеленное прямо в этого чудака:

«Коровья образина... Вот... вот... снова приклеился к Иринкиной юбке!.. Весь свой лес перетаскал, чтобы построить царские палаты и дворцы Иринкиному сынку!.. А ко мне и не заглянет... коровья башка... Ждет, чтоб я сам пришел к нему... Не дожидется! Умру, а не пойду! Увидят меня тогда, когда волосы вырастут у них на ладони!.. Гмм... Когда просил

у него палку для окосья, целый час ворчал, отдавал — как от сердца отрывал! А теперь растранжирил весь свой лес, пустил по ветру все свои запасы и не жалеет!..»

Не только душевная неурядица, но и простое человеческое любопытство подталкивало Фрунзе наведаться к мош Пэтраке — хотелось посмотреть, как выглядит новая изба Митри. Тоадер-младший давно не бывал там, с той поры, как возводилась крыша. Теперь же изба красовалась на солнце ослепительно белой крышей, будто большая рыбина своей серебряной чешуей.

Но Фрунзе не суждено было в тот раз повидать старого Пэтраке и Митриного дома. В тот момент, когда он столь поспешно покинул Вику и выбежал на улицу, ему повстречался его младший брат. Пот ручьями катил с паренька. И поскольку Никэ никогда не склонен был проливать свой пот просто так, за здорово живешь, то сейчас же набросился на старшего брата:

— Где тебя черт носит?.. Я все село обжегал, чтобы отыскать тебя!..

— А что случилось?..

— Случилось!.. В сельсовет тебя вызывают!

— Кто вызывает?

— Кто, кто?.. Шеремет — вот кто!..

— Приехал Алексей Иосифович?

— Приехал еще утром. И страшно сердитый!..

— Наконец-то, наконец-то!

Шеремет обещал приезжать в Кукоару каждую субботу и каждое воскресенье. Но почему-то не исполнил своего обещания. Вероятно, был перегружен делами: ведь он снова остался без первого секретаря и все райкомовские хлопоты должен был взять на себя. Было немало хлопот у него и дома, что и привязывало его в субботние и воскресные дни к городку. Большая семья, мальчик и три девочки, и все мал мала меньше. Всех их надобно было накормить, напоить, обуть и одеть, а райкомовская его зарплата была жидковата для этого. Не хватало денег даже на махорку. Он выкуривал те двести папирос, которые получал на месяц по карточкам, а потом начинал мужественную и мучительную борьбу с самим собою, принуждая себя бросить куренье.

Да, чистая совесть покоится на честном заработке, а не на прибавках, добытых иным способом. Это хорошо знал коммунист старого покроя. А именно таким и был Шеремет. Одним взглядом он мог бы закопать в землю того, кто рискнул бы предложить ему бутылку подсолнечного или конопляного масла или мешок картошки.

Иногда Фрунзе привозил из своих поездок по селам зеленые листья самосада. Они вместе сушили их, измельчали, превращая таким об-

разом в махорку. Тоадер-младший не был заядлым курильщиком, но свои двести папирос охотно получал по карточкам. Курил скорее для утоления элементарного голода. Дым «Казбека» либо «Беломора» чем-то отдаленно напоминал ему по запаху сытный пар, исходящий от только что испеченного хлеба. Махорку же не терпел — она выедала ему глаза и прерывала дыхание. После двух-трех затяжек голова начинала кружиться, а в груди подташнивало точно так же или даже сильнее, чем от натурального недоедания: курение крепчайшего самосада не только, оказывается, не утоляло голода, но еще более обостряло его. Пускай, рассудил Фрунзе, хоть Шеремет пользуется этим зельем, поскольку последнее не действует на него столь разрушительно. Фрунзе прямо-таки боготворил Шеремета и старался во всем ему подражать. Тоадер даже брюки носит такие, как и Шеремет, те, о которых говорят, что сшиты они из чертовой кожи, габардина, вытиравшегося на выпуклых местах до зеркального сияния. Носит и будет носить — пускай кто-то там посмеивается над ним. Фрунзе был убежден, что настоящий коммунист нигде и ни в чем не должен искать для себя каких-то там привилегий, как не ищет их его кумир Шеремет. На первого секретаря райкома партии Фрунзе поглядывал с некоторым недоумением. Не в пример Шеремету тот заявлялся в райком в военной форме, с майорскими знаками отличия, папиросы держал в ящике стола, всегда запертом, и Тоадер не видел, чтобы «первый» с кем-то делился ими, кого-то угощал. Потому, зная, Тоадер Фрунзе не очень-то высоко оценивал это главное лицо в их районе. Может быть, еще и потому, что видел: «первый» старался решать все районные дела с помощью голосовых связок, которые были у него весьма крепки. Кричал, громыхал голосищем, нередко пускал в телефонную трубку грубые ругательства. А такими криками и окриками Фрунзе был сыт по горло. Когда звонили ему из Оргеева, из уездного комитета комсомола, то разговаривали с ним таким вот образом. Крик непременно оканчивался угрозой, строгим предупреждением: вызовем, мол, на бюро, посмотрим, как ты тогда запоешь!..

Не нравилось Тоадеру Фрунзе и то, что первый секретарь при встречах никому не подавал своей руки, и когда у него кончались папиросы, то посылал за ними пожилую женщину, старую коммунистку, в спецмагазин, заведенный им для партактива. Делал это даже во время заседаний бюро. Крестьянский характер повелевал Тоадеру помалкивать. Молчать-то он молчал, но видел все и в душе очень не одобрял барских замашек в поведении «первого». Какой же он коммунист, ежели посылает за папиросами старушку, хотя мог бы своими молодыми ногами в один миг сбегать за ними сам!

Где бы ни был, в каком бы месте не оказался, первый секретарь райкома на ночь обязательно вернется домой, не подвергая себя ни малейшим лишениям и неудобствам. И это в то время, когда другие работники райкома мотались по селам, ночевали где попало, недосыпали, недоедали целыми месяцами. Когда же «первый» примечал, что кто-то из его уполномоченных возвращался в город, чтобы сменить белое (не отдавать же себя на съеденье вшам!), то начинал метать громы и молнии, стучать по столу, кричать, сопровождая все это обязательными угрозами: «Партбилет надоед! Ну что ж, положишь его на стол. Я этого так не оставлю!»

Фрунзе был убежден, что коммунисты должны работать не за страх, а за совесть. Тем, кто выполняет свои обязанности лишь по принуждению, не место в партии. Не должно быть там места и тем, что орут на своих подчиненных, как приказчики в бывших боярских имениях.

Другим типом руководителя был Алексей Иосифович Шеремет, который меньше всего уповал на упругость своих голосовых связок. Но вот и он почему-то, если верить Никэ, нагрянул в Кукоару с криком, чем-то крайне разгневанный. Сейчас младший брат шел следом за старшим в своей неизменной цветастой майке с короткими рукавчиками — специально носит такую, чтобы все видели, какие у него часы. Ну и фрукт этот Никэ! Вот бы кого в секретари райкома комсомола: этот не стал бы ходить в потертых до блеска брюках и в огромных американских ботинках с подвязанными подошвами, в каких ходил всю зиму и весну его старший брат по Валя Реутулуй. Никэ настоящий цеголь, а еще и самый отчаянный спорщик и краснобай. Именно за эти качества ребята из интерната прозвали его Чацким. При любой погоде Никэ придет в школу в начищенных до солнечного сияния ботинках, так что, глядя в них, он мог бы, как перед зеркалом, поправлять прическу или подкручивать усики, если бы таковые у него имелись. Чацкий, одним словом.

Братя шли теперь рядом — прямо через огороды.

— В районе ограбили контору «Заготживсырье», — обронил Никэ.

— Кто ограбил?

— Кажется, Гицэ Могылдя, — равнодушно ответил Никэ. — Его банда.

— А тебе откуда это известно?

— Все так говорят.

— И что же унесли бандиты?

— Все каракулевые шкурки сиреневого цвета. На несколько десятков тысяч... А также все охотничьи ружья и весь запас пороха...

— А сторож?.. Пьян был и спал как убитый?

— Нет. Его нашли на дне оврага связанным по рукам и по ногам, с кляпом во рту.

Этот Никэ все знает! Во все сует свой нос! Но глупо было бы сейчас сердиться на него: Никэ ходил в район за школьными учебниками и узнал там подробности ограбления. Правда, он любил кое-что прибавлять и от себя, приукрасить события, что-то в них преувеличить, но не настолько, чтобы уж очень-то далеко уйти от истины. Недалек он был от нее и когда говорил, что Шеремет страшно рассержен. «Огонь и пламя», — говорил о нем Никэ, накаляя обстановку, которая совсем вроде не походила ни на огонь, ни на пламя.

Шеремет спокойно сидел за столом и что-то записывал в небольшой блокнот. Но спокойный вид сидящего вовсе не успокаивал Тоадера Фрунзе. Последний уже знал, что когда большой начальник что-то заносит в свой блокнот, ничего хорошего для себя не жди. Фрунзе, конечно, мог бы вспомнить сейчас, что Шеремет никогда не расстается со своей записной книжкой, называя ее незаменимой помощницей своей памяти, хотя память у него была прямо-таки феноменальной. И все-таки он любил отметить в блокнотике все, что намечал для себя сделать: с кем поговорить, кого вызвать в райком, кому позвонить по телефону. Иногда пункты программы, составленные в блокноте на день, задерживали его в кабинете до поздней ночи, а то и на всю ночь.

Фрунзе мог бы уже свыкнуться с такой привычкой Шеремета. Он знал, что в этой малюсенькой, размером с карманное зеркальце, книжке, есть такой же крошечный календарик, по которому Алексей Иосифович проводил свои рабочие дни и ночи, недели и месяцы, заседания бюро, районные активы, собрания и заседания исполкома, партийные и иные собрания в селах, на которых должен сам присутствовать, учительские конференции; намечал переговоры с сельскими руководителями, телефонные запросы в Центральный Комитет партии республики.

В записной книжке Алексея Иосифовича можно было найти все телефонные номера нужных учреждений и людей. Фрунзе и сам часто прибегал к помощи этой незаменимой книжки, получая попутно упрек в том, что сам не обзавелся до сих пор такой помощницей. Алексей Иосифович говорил при этом:

— Вот видишь... Ты не можешь найти себе дела, потому что работаешь бессистемно, без определенного плана. Райкомовский план ты кладешь под стекло, сразу же забываешь о нем, а потом глядишь в потолок и мучительно соображаешь, чем бы еще тебе заняться в этот день. Так ведь?.. Не забывай, Фрунзе, ленивцам приходится бегать, тратить, стало быть, сил куда больше, чем другим, тем, скажем, кто умеет упорядочить свой стиль работы...

Такое приблизительно внушение делал ему Шеремет, и возразить было нечем, поскольку секретарь райкома партии говорил сущую правду. Но так до сих пор и не обзавелся Фрунзе своим блокнотом — не мог привыкнуть к нему. Если и отмечал, что должен был сделать, кому позвонить, с кем поговорить, то делал это на отдельных клочках бумаги, которые, конечно же, терялись, прятались где-то в куче других бумаг, и их приходилось долго отыскивать.

Эх, как все-таки хорошо пахать и сеять, полоть и косить! Там вся твоя работа видна, как на ладони. Клин, который ты только что вспахал, лежит перед тобою, курится легким парком, радуется твой глаз и твою душу. Так же ясно, отчетливо видишь ты и поле невспаханное, еще серое, без чернеющих, лоснящихся на нем борозд. Тут все видно, что еще остается сделать, за что приняться в первую очередь и во вторую. Все чрезвычайно просто и ясно. Подвязанные кусты виноградника выглядят красиво и празднично, как девушки, принаряженные к хороводу. Неподрезанные и неподвязанные лозины напоминают тех же девчат, только непричесанных и ненарядных, каких-то сонных и некрасивых. На хорошо прополотых делянках кукуруза стоит веселая и густо-зеленая, на запущенных — серая и вялая. Скошенная полоса напоминает тебе книжную строку, стена нескошенной травы укажет на то, сколько еще осталось скосить, и вообще, какая тебя ждет еще работа!

Ничего подобного не видел Тоадер Фрунзе в своей нынешней деятельности — на посту секретаря районного комитета комсомола. Бывали моменты просто отчаянные, когда хотелось попросить об освобождении с этой работы, чтобы не мучила собственная совесть, то и дело спрашивавшая тебя: за что же ты получаешь деньги? Секретарю райкома иной раз очень трудно, чаще всего даже вовсе невозможно определить точно, что же он сделал, какую конкретную пользу принес другим людям, чтобы со спокойной совестью есть свой хлеб. Как узнать, что ты вспахал и посеял в душах молодых парней и девчат, какую драгоценную мысль заронил в их горячие головы, какой — богатый или скудный — урожай получится от твоего посева?

Чтобы примириться со всякого рода абстракциями, чтобы ощутить всегда трудно ощутимые результаты труда, подобного твоему нынешнему труду, вряд ли поможет записная книжка — что там одна, тысячи таких книжечек вряд ли помогут таким людям, как Тоадер Фрунзе! Он был неисправимый мужик, крестьянин, привыкший все взвешивать прежде всего на своих тяжелых, корявых, жилистых ладонях. Там, на земле, он хорошо видел, когда нужно начинать дело и когда его оканчивать, не испытывая особой нужды ни в часах на руке, ни в телефоне, ни в бумажках. Там он полностью полонен зем-

дею, она взяла его целиком, без остатка. Ему, крестьянскому сыну, и теперь легче было бы десятки раз обегать разные организации, чем поднять трубку и вести телефонные разговоры.

Первое время Шеремет смеялся над такой бессмысленной, с его точки зрения, потерей рабочего времени у Фрунзе. Но потом примирился. Узнав характер своего юного друга, он не звонил ему, не отдавал таким образом своих указаний, потому что не раз видел, как тот, окинувшись потом, стоит с трубкою у уха навтыяжку в разговоре с каким-нибудь начальником. Алексей Иосифович вызывал теперь парня к себе, и вместе они легко приходили к обоюдному решению любого вопроса.

Но боялся ли в самом деле крестьянин телефона? Вряд ли. Недоверчивый по природе своей, землешапец тем более не мог довериться механическому существу, открыть душу какому-то там телефону. Подняв трубку, он и сам подымается, становится навтыяжку, может быть потому, что так легче представить себе говорящего с тобою на расстоянии другого человека, который поймет тебя лучше, когда ты не сидишь, а стоишь перед ним. Не верил Фрунзе и в бумагу, которая для большинства людей имела магическую силу. Решительно не верил! Он никак не мог представить себе, чтобы с помощью холодного листа можно поднять людей на какое-то большое дело. К тому же, думал он, слова, которыми заполняются бумаги, могут быть поняты по-разному со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями. Ведь кто-то может понять их в противоположном смысле. Что тогда? Ведь рядом не окажется того, кто писал бумагу, кто, значит, мог бы поправить дело, объяснить, растолковать. Потом, где гарантия, что твоя писулька не затеряется в пути или не придет в нужное место с большим опозданием, когда от нее не будет уже никакого проку?

Можно было как-то еще довериться печатному тексту, но ведь в ту пору на весь район оказалось лишь две пишущие машинки — в райкоме партии и в райисполкоме, да и бумаги-то чистой не было. Постановления, разные там решения по комсомольской линии Тоадер Фрунзе писал на старых газетах, поперек печатных строк, используя для этого модное перо «рондо», оставлявшее после себя четко выделявшиеся характерные буквы.

Ну и времечко! Для размножения решений мобилизовались грамотные комсомольцы чуть ли не со всего района. Их усаживали за столы в каком-нибудь самом большом по размеру кабинете или даже в зале заседаний, парней и девчат, и пошла, как говорится, писать губерния! Пишут, пересмеиваются, перемигиваются, просто гогочут молодыми жеребчиками — посиделки, а не конторская работа! Легко догадаться

о результатах такого аврала. Едва разослав свои бумаги, Тоадер Фрунзе вынужден был все-таки привязать себя к телефонному аппарату и целыми часами давать пояснения местным комсомольским руководителям, которые, получив инструкции либо постановления из района, ничегошеньки не могли в них разобрать. К вечеру у районного «комсомольского бога» дрожали ноги и всего его било, точно в лихорадке. И все-таки до конца он не был убежден, что его разъяснения помогли, что подчиненные разобрались в посланных им бумагах. Некоторые сразу поняли, поскольку догадались для расшифровки этих «персидских грамот» привлечь сельских учителей. Большинство же поступало еще проще: не поняв ничего из бумаги, преспокойно подшивало их в дело. И все-таки нужная работа выполнялась. Где лучше, где хуже, но выполнялась.

Другое дело — Шеремет. Его не терзали такие сомнения: рядом с телефонным аппаратом он чувствовал себя как рыба в воде, или лучше сказать — как с добрым другом-собеседником. Перед давно знакомым и близким товарищем незачем стоять навтыяжку, сиди и разговаривай. Алексей Иосифович, свободно расположившись за письменным столом, как-то умудрялся делать два дела сразу: одною рукою держал трубку у уха, а другою чиркал спичкой о коробок, поставленный на попа, и закуривал, не прекращая разговора по телефону. В другой раз свободная от трубки рука исполняет у него иную операцию — записывает что-то в заветный блокнотик. Однажды и Фрунзе попытался сделать так же, но сразу потерял нить разговора, смешался, запутался — махнул рукой и вновь встал «во фрунт», как говаривали в старину.

Сейчас, в сельсовете, Алексей Иосифович, глядя на Фрунзе, кончиками пальцев поглаживал свой подбородок, словно бы хотел убедиться, хорошо ли он выбрит. Глянет на вошедшего, потом опять уткнется в записную книжку, не переставая поглаживать подбородок. Это, конечно же, плохой признак — Шеремет чем-то недоволен. Ничего не говорит, ни о чем не спрашивает, будто он не секретарь райкома, а судебный секретарь либо следователь, который заносит в протокол ответы обвиняемого.

— Где секретарь?

— Какой секретарь? — мгновенно вырвалось у Фрунзе.

Отвечать вопросом на вопрос — это уж мужицкая, крестьянская, привычка. Но так только и мог ответить любой человек, когда не знает, зачем его вызвали и почему допрашивают. Это еще и инстинктивное желание выиграть время, чтобы прикинуть в уме, сообразить, какая же западня тут уготована тебе и как бы избежать этой западни.

Но Тоадер Фрунзе ответил вопросом на вопрос без всякой хитрости, просто механически.

язык его сработал в этом случае как автомат, что и заставило Шеремета расхохотаться и прекратить писанину:

— А-а... секретарь сельсовета?! Разве в Кукоаре он не один?

— Я не знаю, где секретарь, — сказал Фрунзе, — но это можно узнать.

— «Можно узнать», — повторил Шеремет, — как же ты узнаешь, когда весь день мотаешься по селу — из дома в дом, как некогда сельский поп!..

— Люди... народ... У них свои дела...

— Ну конечно! У одного у тебя только и есть время, и ты не знаешь, куда бы его деть!.. Кажется, мог бы вызывать людей и в сельсовет, и тут беседовать с ними. Зачем же заглядывать в каждый дом? Только зря теряешь время...

— Я не теряю времени даром...

— Что же ты там делаешь? Угощаешься вином?

— Нет.

— Ну хорошо. Вином ты не балуешься, знаю. Но ежели ты ходишь по селу, то должен же знать, что в нем происходит.

— Ничего особенного не происходит.

— То есть как это «ничего особенного»? Уже неделя, как исчез бесследно секретарь сельсовета, а ты говоришь...

— Как это — исчез? Что он, иглока?

— Спрашиваю покамест я. Вот и ответь, как это ему удалось исчезнуть?

— Это... это невозможно, Алексей Иосифович! Сейчас же найдем... найду то есть!

— Ну, ну, давай. Может, ты счастливее, удачливее меня.

Шеремет закрыл записную книжку и встал из-за стола. Видно было, что он очень устал: веки припухли, под глазами — мешки, щеки как-то обвисли. Когда не был утомлен, то выглядел мальчишкой: худощав, с мягким ребячьим чубчиком, с четким, красивым пробором и живыми, насмешливыми глазами: парень да и только! Теперь же его легко можно было принять за пожилого человека.

— Мне очень нужен этот секретарь, Тоадер. Погляди, может быть, тебе и в самом деле удастся напасть на его след, — сказал Алексей Иосифович и снова тяжело уселся за канцелярский стол. На этот раз он не раскрыл перед собою записную книжку, а придвинул планшет военных времен, извлекая из него блестящую металлическую табакерку.

Фрунзе ожидал, что его руководитель откроет эту табакерку, возьмет из нее самодельную махорку и начнет не спеша сооружать самокрутку. Но вместо табака Алексей Иосифович взял несколько белых пакетиков, высыпал на язык порошок и потянулся за стаканом воды. Запив содержимое пакетиков, скривился и затаил голову — экая дрянь!

— Я привез тебе неплохую новость. Тоадер. Тебя премировали. Двухнедельной поездкой по стране. Это решение ЦК ВЛКСМ.

— За что же?

— За хорошую пропагандистскую работу...

— Похоже, вы меня так представили наверх... Какой из меня, к чертам, пропагандист?! Это все вы...

— Почему — я?... Приехала комиссия из Центрального Комитета комсомола Молдавии. Все проверила и пришла к выводу...

— В мое отсутствие?

— А что? Разве результаты пропагандистской работы ты упрятал в сейф? По-моему, ее и так было видно, без тебя.

— Спасибо, но...

— Никаких «но»! Думаю, тебе совсем не помешает такая поездка.

— Не помешает, конечно. Но сейчас я не могу поехать.

— И такой вариант предусмотрен. В решении ЦК сказано, что тот, кто не сможет выехать, получает компенсацию в деньгах. В размере месячного оклада. Какой у тебя оклад?

— Тысяча двести рублей. Вы же знаете... Но не в рублях дело. Я готовлюсь к экзаменам, Алексей Иосифович. Времени на подготовку почти не остается, а меня в педучилище ожидает уйма хвостов. Я ведь не смог поехать на летнюю сессию. Зимняя же очень короткая. Не успею сдать всех экзаменов!..

— Получишь, повторяю, деньгами. Ровно одну тысячу и двести рубликов. Не так уж плохо, правда?

— Неплохо, конечно. Но поехать вот как хочется!.. Москву бы смог увидеть!..

— Много смог бы увидеть. Но ты прав, Тоадер, ученье прежде всего!

После Фрунзе долго мотал головой в крайнем недоумении. Он никак не мог представить себе, что можно получить премию или вообще какую-нибудь награду за работу, результаты которой ты не видишь, не можешь потрогать руками, взвесить на ладони, показать другим людям. Что же там могли увидеть члены незнакомой ему комиссии? Самым же странным, пожалуй, было то, что в денежном выражении премия как раз равнялась месячной его зарплате. Той самой зарплате, которую он так лихо оставил на кровати Викиного сынишки. Хотя и говорит народная пословица, что дорога в рай устлана терниями и булыжниками, но скорее всего ее устилают люди добрыми своими делами на этой грешной земле.

Тоадер Фрунзе не видел и не знает тех, кто принял решение о его премировании, но, похоже, что очень умные и зоркие люди, ежели на расстоянии увидели, что парень остался без единой копейки в кармане. Теперь его

матери не придется подмешивать в кукурузную муку виноградные и желудевые отруби.

Да, все-таки бескорыстные людские дары ведут нас в рай!

5

Когда вино начинает поигрывать в чанах, веселеют и кодряне — жители лесной полосы Молдавии.

Молодое вино играет две-три недели. Две-три недели во всех дворах царствует веселая канитель. Из бункеров и погребов вытаскиваются все бочки, большие и малые, те, что называются боченочками. Мужчины ходят с папоротником в зубах, женщины спуют туда-сюда с чугунами кипятка, в котором разбавляется каустическая сода. Все сосуды — бочки, чаны, кадки — стоят в полной боевой готовности. Толстенный винт давяльного пресса обильно смазывается дегтем — предстоит горячая работа. Все бочки и корыта вымыты до блеска и сушатся на солнце. Ото всего этого веет миром и благостью. В такие дни веселятся не только люди. По двору валяются захмелевшие поросята, пьяно ковыляют куры и утки. Даже воробьи, наклевавшись виноградных зернинок из бурлящего молодого вина, делаются уж совсем не в меру болтливыми, то в одном, то в другом месте затевают промеж себя драки. Все живое, вкусив от юного вина, шалает на ту пору.

То были дни, когда легче легкого отыскать человека, который тебе решительно не нужен, и очень трудно, почти невозможно найти того, кто тебе необходим прямо-таки до разреза. Селения охвачены невиданных размеров сутолокой. Люди дают вино, а это значит, что они священнодействуют. Всюду идет возня с корытами, деревянными ведрами — вино из-под пресса перекочевывает в погреба, где его ждут бочки всевозможнейших размеров. А охмелевшие и от вина, но больше, пожалуй, от общего возбуждения, от пьянящего труда, кодряне все подкручивают и подкручивают пресс, чтобы в давяльном чане не осталось ни единой капельки. Ждут эти капельки, жадно затягиваются самокрутками, время от времени дегустируя молодое вино с помощью деревянного ковша.

Гость в такое время даже для скуповатых людей является наижеланнейшим. Достаточно услышать со двора, что ты с кем-то разговариваешь там, посреди улицы, так тебя сразу же кличут в этот двор, приглашают, значит, отведать молодого винца. В дождливые года оно не такое свирепое, не сразу валит тебя с ног. Но вот сейчас, после страшной засухи, вино получается густое, терпкое и крепости необыкновенной. Потому и не удивляйтесь, когда видите, например, такое зрелище: многие селяне, угостившись, засыпают на чужих завалинках,

в чужих скирдах соломы, в чужих же сараях и ригах. Жены костерят мужей на все лады: то же мне родственничек, кум, сват, двоюродный брат!.. Дома, что ли, своего нету? Ишь развалился, налил бесстыжие свои зенки!.. Иная сердитые эти слова подкрепляет и соответствующими действиями.

Но что делать мужикам! Сладкое вино обманчиво, само катится в роток, как та песенная чарочка-каток, не заметишь, как подставишь тебе ножку, проклятая. Известное дело, все сладкое таит в себе большую толику зелья. Вино же в Кукоаре в тот год было очень сладким, с остро горьковатым привкусом, словно его настояли на майской полыни. То был год начала коллективизации.

«Вот покончим с уборкой винограда и создадим колхоз. Создадим, будь он неладен!» — думал про себя один крестьянин.

«Пусть перебродит мое вино, и тогда я подам заявление... Ну, товарищ уполномоченный, куда нам торопиться?.. Не нападают же на нас турки!..» — размышлял вслух другой.

Народ повеселел и сделался необычайно разговорчивым. Люди поразвязали языки, стали вроде бы более податливы, взаимоуступчивы, но с подачей заявлений в колхоз что-то не спешили. Все ссылались на вино. Управимся, мол, с ним, тогда... Все говорили так, словно бы успели столкнуться меж собой там, у тех бочек, у тех же чанов и прессов. Да что, мол, много тратить слов на одно и то же?! Придет время, будет и у нас колхоз — куда все, туда и мы. Но сперва посмотрим, как у других. Пригладимся, как живут люди в других коллективных хозяйствах, как там пекут свой общий каравай... А потом, товарищ уполномоченный, и мы организуемся в свою артель, и покатаются о нас добрые вести на все четыре стороны света, за все моря и океаны... Разве, мол, мы не видим, что от колхоза никуда не деться, как, скажем, от военной службы, от рождения, от смерти — таков уж закон жизни. И колхоза, мол, не боимся, но зачем же лезть в него поперед батьки, зачем торопиться — нужно же приглядеться, что там и как там, в соседних селах!..

Тоадер Фрунзе нахарчился такими речами сверх всякой меры. Куда лучше было бы, если бы вместо речей люди приносили к нему заявления о вступлении в колхоз. А то что-то таких маловато. Даже мош Ион Мустяцэ-Нани, который чуть ли не под присягой поклялся написать такое заявление хотя бы назло своей бабке, теперь тоже приклеился к чану с молодым вином, оглаживая огромную посудину своими заскоруждыми руками и напевая неизвестно для кого свои разухабистые песни, забыв про все на свете, в том числе и про свое ненаписанное заявление в колхоз.

Между тем именно с ним, с мош Ионом, Тоадер Фрунзе связывал главные свои надежды.

Много покатавшийся по белу свету, мош Ион привык не только к перемене мест, но и вообще любил всякие перемены в жизни. Казалось, он и теперь первым устремится к новому берегу. Но этого, как видим, пока что не случилось. Пока что мош Ион натянул на себя старые, запятнанные прошлогодним вином шаровары и горланил на всю Кукоару:

Хорошо вино, нравится мне оно.
Рос бы виноградник на печке,
Трижды подвязал бы его.
Был бы виноградник за хатой,
Подвязал бы его своим халатом!
Был бы виноградник на лежанке,
А не там, на моей деланке...

Не завершив песни, мош Ион начинал уж без всякого рифмования громко глаголить про то, что его виноградник находится на песчаном склоне, а потому и вино у него обладает медвежьей силой. Кто не верит, пускай зайдет во двор мош Иона и сам попробует. Лукавый старикашка! Он выпил бы с Тоадером Фрунзе полбочки, лишь бы тот не напоминал ему о заявлении. Пускай молодежь создает колхоз — ей жить в нем. Мош Ион сделал свое дело на земле, исполнил свой долг. Исполнил желанное и нежеланное. Больше, кажется, на его долю приходилось последнего. Что стоит только одно путешествие в дальневосточные края, в непроходимые дебри тайги, где долгих десять лет ему куковала кукушка, где вместо вина он выпил реки молока. Теперь же на молоко он и глядеть не может — напился там на всю жизнь. Сейчас его больше потягивало к винцу...

Ко всем неприятностям Тоадера Фрунзе прибавилось еще и это — бегство секретаря сельсовета Аверкия Богдана. Вот теперь нищи его, выгони хоть из-под земли! Но где отыщешь, ежели вся Кукоара купается в молодом вине, когда все в ней перемешалось, когда люди, точно раки, расплзлись по чужим подворьям?! Ты самым серьезным образом хочешь спросить про того мерзавца-секретаря, а тебя хватают за рукав и тянут к бочке, потчуют. Все точно перебесились, орут, хохочут, норовят силой влить в тебя сатанинского напитка, твердят при этом одно и то же:

— Пошли, пошли, Тоадер!.. Подумаешь! Секретарь — не иглолка, никуда не денется!.. Сказано же: никудышняя вещь никогда не потеряется. Ха-ха-ха! Пошли!

С Украины вернулся председатель сельсовета. С его помощью поисковые дела пошли вроде бы лучше. Голова его была свежей, не отягощена винными парами. Контузия, полученная им на войне, начисто исключала употребление горячительных напитков. Жители Кукоары хорошо знали про то, а потому и не приставали к председателю с кружкой или с ковшом вина. Но и трезвенник-председатель узнал немного. Только то, что его секретарь опять оказался

в полосе угрюмого запоя. Говорят, что его красавица жена сбежала с главарем банды Гицей Могылдя — это кинуло ее несчастного супруга в тугие объятия зеленого змия. Однако где пьет и с кем, никто на селе не знал. Видели его то на одном, то на другом дворе, но где секретарь обретался на этот час, никто не знал, не ведал.

В конце концов Шеремет распорядился прекратить поиски. Вызвал к себе и Фрунзе и председателя сельсовета. Совершенно неожиданно для обоих вдруг объявил:

— С организацией колхоза не спешите и не делайте нажима.

— То есть... как это... не спешите?

— А вот так. Для этого будут более подходящие времена. А сейчас мобилизуйте всех грамотных людей — в первую очередь, конечно, школьных работников, — и составьте списки наиболее пострадавших от засухи жителей Кукоары. Государство приходит к нам на помощь. Дает займы хлеб... В степной зоне, в долине Реута, налицо все признаки голода. Ваших односельчан выручают вино, орехи, фрукты. Но долго ли они могут продержаться на такой «выручке»?.. Так что загодя составляйте списки. В первую очередь заносите в них многодетных, инвалидов войны, стариков, семьи фронтовиков... Мобилизуйте транспорт — повозки, телеги, все что было наготове! Найдите удобные помещения для организации питательных пунктов. Наметьте честных людей для распределения хлеба и других продуктов, которые будут получены от центрального правительства. Отберите несколько толковых и совестливых женщин, которые могли бы готовить горячую еду на питательных пунктах. Под их ответственность будут отданы и крупы и жиры. Заблаговременно подготовьте большие котлы. Котлы эти на селе имеются. Раньше в них варили сливовое и виноградное повидло... В общем, будьте готовы. Мы поможем вам и медицинским обслуживанием. Заранее наметьте подходящее помещение и для медперсонала, и для лекарств, да и главное для больных. Один раз в неделю мы будем ждать от вас письменной информации. Сводка должна быть подписана уполномоченным райкома партии, врачами, председателем и секретарем сельсовета. Секретаря же надо разыскать во что бы то ни стало. Поняли? Ну вот, пока и все.

При расставании Шеремет снова вынул два белых пакетика, высыпал их содержимое на лодочку языка и проглотил, запив водою. Попрощавшись с Фрунзе и председателем, влез в бричку, засунул ноги под солому, хоть во дворе было очень тепло и всюду светило солнце. Далее, не стесняясь того, что на него глядели другие люди, вынул из планшета плоский пистолет, снял предохранитель. Тоадеру Фрунзе приказал:

— Скажи мош Косте, чтобы заглянул ко мне сегодня. А если не может нынче, то обязательно завтра. Я буду в райкоме. Обязательно пусть зайдет!

«Мош Костя!»

Что случилось? Ведь Шеремет всегда называл отца Тоадера Константином Георгиевичем, а тут вдруг «мош Костя»?.. Не пошло ли дело на смягчение? Вероятно, Шеремет успел узнать кое-что из того, что могло бы изменить дело отца к лучшему.

Председателю Фрунзе сказал:

— Ну что ж. Будем составлять списки.

— А где взять бумагу? — председатель развел руками.

— Покопаемся в школе. Придется взять школьные тетради, выдирать из них листы и склеивать. Другого выхода у нас нет. Керосин у вас есть?

— Откуда я знаю?! Лампы — это забота секретаря.

— Да-а-а... Хорошенькое время он выбрал для своего загула. Из района его ведь выгнали тоже за пьянство. Сюда прислали, видно, для исправления. Хорош, нечего сказать!.. Если он действительно запил, то мы не увидим его две недели. Это как минимум! А потом заявится с дрожащими руками и опухшими глазами. Грохнется на колени, будет целовать ваши руки и даже ноги и спрашивать: «Не убил я никого? Ничего такого не натворил?»

— Видно, что-то мучает его, если бонится самого себя, — предположил председатель.

— Говорят, у него сбежала жена. Это правда?

— А кто же будет жить с таким? Ведь он когда напьется, выгоняет жену нагишом на улицу. Однажды, как лунатик, взобрался на крышу избы ночью, мы с трудом стащили его оттуда. Выдывал там такие штуки, что ты и представить себе не можешь. Видал я немало страдающих запоем, но такого видеть не приводилось.

Поговорили о том о сем. С помощью почтальона Милуца нашли бидон с керосином и приготовились, было, протереть ламповые стекла, как в сельсовет совершенно неожиданно ворвался секретарь комсомольской организации Илье Унгурияну. Парень забыл даже поздороваться. Прямо с порога спросил:

— Товарищ Шеремет уже уехал?

— Уехал.

— Я хотел сказать ему, что... что нашел секретаря сельсовета!

— Где он?

— У Георге Негарэ. Пошли скорей!

— Что там случилось?

— Бо-о-о-ольшое происшествие!

— О, черт тебя подери! Говори же толком, что случилось?

— Он... он... этот... все бочки у Негарэ

искромсал топором!.. А теперь гоняется и за людьми... Того и гляди порубит всех!..

— П-п-пошли... По-п-позвоню прокурору! — сразу же став занкой, пробормотал председатель. Занкался он лишь при большом волнении (последствие контузии). Сейчас это волнение было уж так велико, что разобрать слов председателя было почти невозможно. Но он продолжал: — То...то...товарищ Фрунзе...то...то...товарищ Ун...Ун...Унгурияну... М-М-Милуца... П-по... поищите ве...веревку!

Но где бы это Милуца взять эту веревку, ежели в его хозяйстве были только книги, газеты, моток шпагата, сургуч для опечатывания посылок, печать, которую он прилепывал к расплавленному сургучу?! В веревках же он никогда не испытывал ни малейшей нужды.

— Н-н-нету веревки?.. Х-хорошо, я сам найду! Зз-за мной! — необыкновенно зычно скомандовал кукоаровский «голова».

Они побежали прямо через сады. Ветви деревьев срывали с их разгоряченных голов парусиновые кепки, срывали не сразу со всех, а соблюдая очередность, так что приходилось то и дело останавливаться либо председателю, либо почтальону, либо уполномоченному, чтобы подобрать кепку и вернуть ее на полагающееся ей место. При исполнении этой операции отчаянно матерились, забыв про свои чины-звания... На то, чтобы прихватить с собой участкового, у них не хватило времени. Так что мчались к месту происшествия без этого солидного подкрепления.

На своем пока еще коротком веку Тоадер Фрунзе успел-таки пережить немало число пьяных, налюбоваться, что они вытворяли. Одни, не сообразуясь с мелодией, горланули песни (пример тому мош Ион), другие жалостливо причитали над собой, третьи затевали драку, в которой им, как зачинщикам, влетало больше всего. Знал, что от водки, если употребить ее сверх того, что мог бы вынести самый выносливый организм, можешь схлопотать белую горячку. Но это от водки. Фрунзе что-то не помнил, чтобы такое случилось с человеком от обыкновенного виноградного вина.

Однако ж вот случилось. Разыскиваемый так долго секретарь Аверкий Богдан совершенно утратил человеческое обличье. Он скорее походил сейчас на затравленного зверя. Глаза были по-кроличьи красными. Изорванная в клочья рубашка вырывалась из-за пояса и трепыхалась на ветру, как крылья подстреленного ястреба. К удивлению прибежавших, толстый и обычно неповоротливый, неуклюжий их секретарь сделался вдруг ловок и изворотлив, как пантера. Мгновенно увернувшись от преследователей, он вновь появлялся то из-за угла избы, то из-за хлева, то еще откуда-нибудь, скрываясь в многочисленных надворных постройках. Метался среди них с непостижимой быстротой.

словно в него и вправду вселилась нечистая сила. И не просто бегал, а еще и покрикивал зловеще:

— Пожалуйста, милости прошу, господин Негарэ!.. Поближе... поближе ко мне... Дай-ка я положу твою головку на полено, как клал когда-то голову курицы... Ха-ха!.. Не хочешь идти в колхоз, гидра!.. Не хочешь подавать заявление, мироед, куркуль!.. Из-за тебя и другие не хотят!.. Я все знаю!.. Это ты укрывал мою жену, а теперь она сбежала в лес к тому бандиту... польстилась на сладкое!.. Он награбил тех конфет по кооперативам!.. Она теперь грызет те конфеты, а Гицэ Могылдя ездит на ней верхом!.. От сладкого у нее зад стал, как у откормленной кобылицы... Я был на фронте, воевал с немцами, а этот гад... а эта стерва, жена моя, получала от бандита подарки... кружевное белье и прочее... Теперь носит украденное в советских магазинах!.. У-убью курву!.. Всех убью!

В конце концов силы буяна иссякли. Он уже не бегал по двору, не прятался, а, прислонившись к двери, кричал, матерился, угрожал всем, не выпуская из рук топора.

Этим-то моментом и воспользовался самым расчудесным образом Илие Унгуряну. Через слуховое окно он пробрался сперва на чердак избы, оттуда в сени, а из сеней молодым медведем кинулся на секретаря, взывая:

— Товарищ... товарищ председатель!.. Хватите... отнимите у него топор!.. Скорее! Не то упушу!..

Последние слова не более чем театральный жест, долженствующий подчеркнуть или усилить и без того весьма драматическую ситуацию. В могучих объятиях Унгуряну бедный секретарь мог бы вполне испустить дух. При желании Илие мог бы взять его под мышку и унести со двора под восторженный рев зевак. Матушка природа одарила его такой силищей, что ее хватало бы и на десятирх. Все дивились богатырской стати этого парня. Недоволен был ею, кажется, только он сам.

«Ну за каким чертом меня господь бог создал таким?! Ни в одном кооперативе ни обуви, ни одежды не отыщете по моему размеру!» — вполне серьезно сокрушался Илие. И сколько неприятностей было и у ни в чем не виноватого Прикопие Ивановича, мужа Вики, из-за непомерно больших лапщ этого добра молодца. С таким шутки плохи! Не уйдет из магазина до тех пор, пока не перевероршит в нем все, пока собственными глазами не убедится, что нет ботинок или сапог сорок восьмого или сорок девятого размера.

«Завербуюсь в Донбасс. На угольные шахты подамся, — в крайней досаде размышлял в таких случаях Илие Унгуряну, — там-то уж наверняка для меня отыщется подходящая обувь. Не у всех же мужиков в огромной России дамские ножки!»

Бедный Илие! Если бы с малых лет на его ногах были ботинки, а не лапти, глядишь они, ноги, и не расплзлись бы в такую страшную длину и ширину. Лишь один раз — было это еще в войну — Шеремету каким-то чудом удалось отыскать для него где-то пару ботинок по ноге. Но сколько их пронесит человек? Особенно Унгуряну, который и часу не посидит на месте. Парень бегаёт день и ночь. В войну гонялся по лесам за дезертирами, после войны — за бандой Гицэ Могылдя. Много у него было и других хлопот: собирал по селу подводы для вывозки хлебопоставок, инвалидам войны и овдовевшим солдаткам помогал вспахать и засеять землю, подписка на государственные займы тоже лежала на плечах секретаря комсомольской организации — да мало ли еще чего лежало на этих богатырских плечах!..

В конце концов, чтобы избавиться от нареканий Илие, сельский кооператор Прикопие, которому в поисках товаров приходилось часто выезжать в разные города, купил, огоревал где-то за собственные деньги пару немецких сапог нужного размера. (Признался позже, что нашел их на какой-то толкучке.) Были те сапоги скроемы престранным образом: верхний раструб непомерно широк, а нижний, у щиколоток, узок, как бутылочное горло. Теперь, обуваясь, Илие весь свой гнев, всю свою ругань направлял не на голову Прикопие, а в адрес немцев, сконструировавших этикие уродины. В верхней части раструба могла бы свободно поместиться нога даже слона, а в нижнюю просунешь человеческую ногу не иначе, как обернув ее в тонюсенький носовой платок, а не в обычную портянку. Правда, со временем Илие нашел применение и этим широченным голенищам: в одном носил тяжеленную ракетницу, а за другое засовывал книги и тетради, когда снисходил до того, чтобы заглянуть в вечернюю школу. Случалось, впрочем, такое очень редко и, кажется, только тогда, когда комсомольскому вожаку требовалось завербовать кого-нибудь из учителей для переписки протоколов комсомольских собраний.

Унгуряну есть Унгуряну. Нередко маячил, что-то выкрикивая, под окнами незамужних учительниц, мазал их ворота дегтем, а когда для расследования хулиганских этих выходов приезжал кто-нибудь из района, когда все улики были против него, он решительно отрицал свою вину, клялся и божился, тарачил на презжего такие чистые и праведные очи, какие бывают лишь действительно у непорочного дитяти. Сама святая невинность была в этом удивленном, наивном и обиженном взоре!

Эти расследования, беседы с инструкторами всегда оканчивались одним и тем же: в атаку переходил сам Илие Унгуряну:

— Когда же мы получим наконец комсомольскую форму?

— А ты что, из-за формы поступил в комсомол?

— А что, по-вашему, я должен ходить оборванцем?.. Чтобы надо мной смеялись кулаки, все мировые капиталисты?..

Теперь, когда Илие Унгуряну стал еще и завклубом, он немного уgomонился, уже не требовал от райкома комсомола форменной одежды для себя. Но Тоадер Фрунзе знал, что и сейчас его товарищ приходит нередко в клуб с красной лентой на шапке. Война закончилась, а Унгуряну все еще партизанит. Что поделаешь, такой уж он есть, Илие Унгуряну!

Сейчас вот он без всякого шума мог бы утихомирить секретаря сельсовета Аверкия Богдана — взять его в охапку и унести в глубь сеней. Но Илие хотелось, чтобы это укрощение произошло более зрелищно, чтобы все видели, какой он, Илие, герой, как рисковал своей жизнью, чтобы потом все парни и девчата в Кукоаре долго еще восхищались его удалью. Унгуряну был бы не Унгуряну, если бы упустил такую возможность!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Опасность миновала.

На подворье Негарэ потянулись соседи. Затем начали выползать из своих убежищ и хозяева. Одни несли на головах пучки соломы, другие — толстый слой пыли. Приходилось хорониться и в скирдах, и за мотками шерстяной пряжи, и за тербленной коноплей, и на чердаке недостроенной избы, которую Негарэ возводил для своего сына Митри.

Припожаловали к месту происшествия и баде Василе Суфлещелу с мош Пэтраке.

Все эти люди только еще приходили в себя от пережитого. Пожимали плечами, переглядывались, смущенно и растерянно улыбались, словно бы стыдясь за свое малодушие. Долго не знали, за что приняться, что делать. Бродили по двору, как потерявшие клушку цыплята.

Ирина Негарэ плакала и проклинала мужа:

— Все это из-за тебя дурака!.. Зачем бежал, зачем вырывал из рук мужа эту потаскуху!.. Разве она не заслужила того, чтобы он проучил ее хорошенько?!

— Жалко ведь. Женщина же!

— Ишь какой жалельщик отыскался!.. Куда ты ее спрятал? Тащи теперь ее сюда, покажи ей, что натворил тут ее суженый!..

Мош Тоадер Лефтер молча оглядывал поле недавнего сражения, оценивая, как велик ущерб, нанесенный этому двору. Старик позже

других узнал про этот скандал. В самый его разгар Лефтер с помощью дочери Катинки снимал с чердака фасоль и провенвал ее на решетке. При этом отчитывал свою старуху, которую давно похоронил, хотя до этого часа поминал Домнику только добрыми словами: «Господь ее прости!.. Да будет земля ей пухом!»

Сейчас же бранил ее, и делал это так, словно бы она была рядом с ним и могла слышать его брань. Просеивал фасоль и громко кричал:

— Прости ее, господи, за пропавшую фасоль, за эти сгнившие бобы!.. Сама сдохла, коровья образина, а мне вот... вот... оставила мне работенку, чертовый становой пристав!

Фасоль всегда была заботой бабки Домники. Мош Тоадер только хвастался, что и сеет ее, и пропалывает, и убирает, вылушивает стручки и прячет для сохранности, а потом носит на базар, чтобы променять на мясо. В действительности все это делала его жена, бабка Домника. И вообще никогда эти два старых человека не смешивали, не ссыпали своих кошельков в один кошелек. Каждый держал свои деньги отдельно. И выручка у них была от разных товаров. Из заработков, полученных за просеивание пшеницы, мош Тоадер покупал своему «становому приставу», то есть Домнике, одежду, справу на себя тоже приобретал из своего же кошелька. А куры там, яички, фасоль, чеснок, петрушка, укроп, вся огородная мелочь, фрукты — это бабушкин товар. Вино старик оставлял за собой, но где же это видеть, чтобы он продавал вино?!

Нередко эти разные товары были для стариков яблоком раздора. Бабка Домника прятала от мужа ключи от винного погреба, чтобы в течение зимы дед не осушил и то, что предназначалось на будущее лето. К тому же втайне она надеялась некую толлику вина пустить и на продажу и пополнить таким образом свой кошелек: как-никак, и она немало сил положила при уходе за виноградником. Лишняя копейка не помешала бы в хозяйстве. Но попробовал бы кто обхитрить ее старика! Случалось, намекнет ему о своих замыслах, он сейчас же обрушится на нее: «Обуваю тебя, одеваю, чего же тебе еще надо?! Не хватало того, чтобы я, как цыган, ходил с кружкой по чужим дворам!..»

Что же касается фасоли, то на первых порах мош Тоадер даже похваливал свою старуху:

«Эх, какая же она у меня бережливая была! Какая умница, будь земля ей пухом! Собрала целый воз фасоли, какое большое подспорье будет мне в голодный год!»

И вдруг все переменялось. В ничего не ведающую покойницу полетела сердитая брань. Дело в том, что бабка Домника, экономя тару, фасоль, собранную в разные годы, перемешала и ссыпала затем в имеющиеся в ее распоряжении пять кадушек. Бобы пятилетней и более

того давности оказались у нее в одной посудине с новыми, свежими, от последнего урожая. Свежая фасоль разваривается в одну минуту, как, скажем, пшено или гречневая крупа, а старая от кипячения будет лишь твердеть, так что ею вполне можно было бы заменить картечь, которой заряжаются ружья при охоте на кабана или другого крупного зверя.

Но с этим бы как-то примирились. Хуже то, что старуха перемешала все сорта. Пеструю фасоль, незаменимую для борща, повенчала с белой, черной, салатной, стручковой, с бобами каких-то неведомых сортов и даже с соей. Нетрудно было и определить, что занималась этим бабка Домника всю свою долгую жизнь, начиная со дня своего замужества. Видеть теперь всю эту мешанину старику было прямо-таки невмочь, потому что сам он был не только очень горячим, но и в высшей степени аккуратным человеком. В каждом из многочисленных отделений его сундука никогда не увидели бы инструменты разного назначения, не увидели бы там и однородных, но различного калибра и размера, как-то: двух неодинаковых буравчиков, двух пилок, отверток и всего прочего. Все было разложено, что называется, по полочкам, для каждой железки имелось свое место. А тут — на тебе! Не проконтролировал в свое время жену, а теперь должен был распутывать то, что напутала она за всю ее жизнь с ним — за целых полвека! Старик не стал бы этого делать, не будь нагрянувшего на беду голодного, засушливого года.

«Чего ты шумишь?! — пыталась урезонить и как-то успокоить отца Катинка. — Благодарю бога, что и это есть!»

Он было примолк, но ненадолго. Когда под руки ему попались в фасоли подгнившая айва, грецкие орехи, мочки конопли и льна и еще что-то там такое, совершенно уж постороннее и несъедобное, старый Лефтер взъярился пуще прежнего. Подскочил, как петух, на одной ноге, метнул туда-сюда злым глазом и помчался со двора, чтобы оказаться подальше от греха, чтобы во гневе не натворить какой-нибудь беды. Не знал при этом, что лицо его покрылось сажой, которая, просочившись через дымоход, в течение многих лет оседала в кадушках с фасолью, а теперь вот переселилась на морщинистый лик строптивого старца.

Поэтому первое, что он сделал, оказавшись во дворе Василе Суфлецулу, это принялся громоподобно чихать. Вся Кукоара легко могла определить, кому принадлежит такой ядреный чих, — конечно же тому, кто имеет дело с кроильным решетом, нанюхается пыли и давай: хап-чхи, хап-чхи, хап-чхи!..

От бурного приступа чиха старые глаза Лефтера заслезились еще больше.

«Вот... вот... слепну, — бормотал он. — Слепну... хап-чхи! хап-чхи!.. Ко всем чертям!»

И когда услышал он шум на подворье Негарэ, то все еще продолжал чихать, а потому и не мог прибежать к месту происшествия вовремя. Но как только «отстрелялся» своим носом, мелким старческим скоком устремился к усадьбе Негарэ, подгоняемый неудержимым зудом любопытства.

Прибыв, тут же стал все оценивать, изучать своими строгими, все еще слезящимися глазами. Посреди двора наступил в лужу, ноги расплзлись, раскорячились, словно бы их хозяин устраивался возле своего решета, когда он для большей устойчивости расставлял свои костлявые конечности именно вот так. Когда же добрался до распахнутой настежь двери погреба и увидел, что погреб наполовину залит вином, поверх которого плавают пустые бочки с выбитыми днищами, то заорал что есть мо-ченьки:

— Коровья башка!.. Образины!.. Что же вы стоите? Может, и вас связал веревкой Илие?! Марш ко мне!.. Да поживей — на пожаре разве люди себя так ведут?.. Там бы вы вертели, как черти!.. А ну марш, марш!.. Хватите ведра, пока все вино не ушло в землю!..

И свершилось чудо. Люди словно бы и ждали этой команды. Откуда-то в один миг обьявились ведра, огромные ковши. Бочки с одним уцелевшим днищем сейчас же были поставлены на попá и вытащены из погреба. По ступенькам лестницы наполненные ведра передавались наверх из рук в руки, и вино рекою полилось в только что вытащенные полууцелевшие бочки. Все это делалось с непостижимой быстротой и делалось людьми, которые были чужими для этого дома, потому что потрясенные хозяева никак не могли прийти в себя. Соседи и люди с дальних окраин, привлеченные сюда необычным шумом, работали сейчас молча, не тратили друг на друга лишних речей, всяк понимал товарища с полуслова.

Мош Тоадер Лефтер, бросивший искру в дремавшую до него энергию, сам не принимал участия в спасении вина. Сил у древнего старика осталось так мало, что от его подмоги все равно было бы немного проку. Сознывая это, он нашел себе другое дело. Пока народ трудился в поте лица, мош Тоадер пытался утешить Георге Негарэ:

— Не горюй ты, коровья башка!.. Что нюни развесил?! Земля осядет на дно бочки, а дрожжи будут делать свое дело. Хоть ты у нас и важный боярин, вон у тебя и мельница в сениях, и перец на чердаке, а простых вещей не понимаешь!.. Вино само очищается, отцеживается, как и мед!.. Слушай, что я тебе говорю... Я поболее твоего живу на свете. Сам не раз на своем долгом веку терпел такую же вот беду и знаю, что с вином, ежели вовремя его прихватить, ничего не случится. Земля останется на дне бочки, а вино станет еще чище, еще про-

зрачнее, прямо как невестины слезинки! Вот так...

Ирина Негарэ попыталась было поблагодарить старика, но он резко оборвал ее:

— А ты помолчи! Не мешай. Мне сейчас не до твоих глупых бабьих речей. Ежели я разговариваю, то разговариваю с хозяином, glavой семьи, с мужиком. За всю жизнь на голове моей не было ни шали, ни платка или там бабьей косынки! Ты можешь вить веревки из моего братца Пэтраке, потому что он дурак дураком, вол, баран бараном... Коровья башка!.. Меня так просто не возьмешь — не дамся!..

Большую часть вина все-таки удалось спасти. Люди явно были довольны самими собою. Как же иначе: ведь ими сделано доброе дело! Порозовело чутко, избавилось от сини и лицо Негарэ. Он хотел угостить односельчан, отблагодарить как-то за оказанную ими помощь. Но те заторопились по домам.

Тоадеру Фрунзе не терпелось узнать, откуда появился к Негарэ секретарь сельсовета, у кого скрывался до этого много дней подряд. Но никто толком не знал, где он был, где и с кем пил, где прихватил топор и кто направил его к дому Негарэ. Мош Пэтраке сообщил, что первый раз секретарь приходил просто узнать, не скрывается ли тут его жена, а во второй раз перемахнул через забор уже с топором в руках.

— На тот момент ни меня, ни хозяина во дворе не было. Георге уехал в лес за желудями, ну а я находился в избе Митри, — повествовал мош Пэтраке.

В новой избе для него оставалось еще много работы. Из глины, перемешанной с песком, он выкладывал под для будущей печи, каждый день подправлял, выравнивал его. Как только глина подсыхала, он вновь sprыскивал ее водой, опять выглаживал и подправлял. Покончив с этим делом, принимался возить тачкою землю, чтоб под полом она была вровень с завалинкой. В основной двор к Негарэ мош Пэтраке заглядывал редко. Пищу обычно приносили ему прямо в строящуюся избу. Он был несказанно рад, когда это делала сама Ирина. Когда же наступала очередь Вероники, младшей ее дочери, то мош Пэтраке оставался вообще без еды, потому что девчонка эта почему-то давно и сильно невзлюбила старика. Зная, что тот не любит перца и лука, она нарочно накладывала того и другого в суп в непомерно большом количестве. От красного стручкового перца мош Пэтраке моментально терял голос и шипел, как рассерженный гусак. Веронике же до этого не было никакого дела! В голове девушки ее возраста совсем другие мысли, очень далекие от того, чтобы готовить старику какую-то особую еду, без лука и без перца. Другие-то едят ее с приправой, и ничего, не жалуются. Съест и этот, съест как миленький!

Недоразумения между мош Пэтраке и младшей дочерью Негарэ возникли сразу же после того, как их старшая дочь Вика вышла замуж, тогда ее место на кухне заняла капризная Вероника. С нею ни о чем нельзя было договориться. Как любая юная повариха, она ждала от всех одной лишь похвалы своим кулинарным способностям. Пэтраке же не только не хвалил, а злился и натужно кашлял, как только в зубах его застревала крошка разваренного лука. Откашлявшись, начинал поругивать молодую стряпуху, что и приводило ее почти в бешенство, так что она готова была напичкать этого лука даже в жидкую мамалыгу или в компот и кислое молоко!

Досадуя на нее, в какой уж раз думал про себя Пэтраке: и в кого только уродилась эта негодница? Хорошие люди почему-то не задерживаются долго на земле, а с такими не то что бог, но и сам сатана не справится.

Под старость мош Пэтраке сильно затосковал по Митре. Душевная боль все сильнее тянула его к Вике, старшей его сестре. Мош Пэтраке иногда прикидывал: если не вернется Митря, то он попросится на жительство именно к Вике. Муж ее целыми днями торчит за прилавком кооператива или мотается, как некогда купец, по району в поисках нужного товара, а собственное хозяйство совсем запустил, не занимается им нисколько. Викиному двору явно не хватало мужской руки.

Доставалось мош Пэтраке и от его старшего брата, от Тоадера Лефтера то есть.

Фрунзе знал про все это и жалел старика. Мош Пэтраке чувствовал такое к себе отношение, старался не оставаться в долгу перед навестившим его Тоадером-младшим. Он не знал, где посадить и чем угостить парня. Высыпал перед ним сушеные груши, свежие орехи. Угощая, то и дело вопрошал:

— Что подельывает бэдица?¹ Все еще гневается на меня?

— Почему вы ссоритесь?

— Кто знает! Придешь к нему за советом, а он наскочит, как петух, и давай клевать, и давай!.. Не нравится ему, что я связался с этой вот постройкой...

— Пройдет с ним это, помирится.

— О, не скажи, сынок! Я и так и этак пытался подойти к нему... Делал вид, что мне нужно то сверло, то пилка, приходил к нему за этими вроде инструментами... Куда там! Хватает слегу и за мной!.. Кричит, что я когда-то не дал ему жердины для окося, а теперь весь лес перетаскал к новому дому Митри...

— Все это одни его причуды. Разве вы его не знаете!

— Может, оно и так, сынок, причуды. Но клянусь господом богом, никогда не просил он

¹ Старший брат.

у меня той палки. Он просто придумал все это, чтобы придрататься ко мне, оскорбить, обидеть меня!..

— Мош Пэтраке...

— Что, сынок? Слушаю! — встрепенул старик.

— Почему вы были против?.. Почему не хотели, чтобы я женился на Вике?.. С той поры прошло много времени... Может, хоть сейчас скажете?

— Кто тебе сказал такое? Я не был против. Может, Ирина заупрячилась или сам Георге...

— Нет, это вы были против, мош Пэтраке. Разве я забыл, как вы ворвались в школу и устроили мне там скандал. Я ведь тогда был директором... Помните?

— Не помню. Может, и приходил... Так по их же просьбе! Они же, наверное, и упростили меня! Кто ж еще? Я ведь не чужой им. Сколько лет батрачил у Негарэ. Сделался вроде члена этой семьи...

— Ваша воля. Не хотите сказать — не говорите.

— Нечего мне тебе сказать, внучек...

— А Вика... Счастлива хоть она-то?

— Бог ее знает. Ворчит иной раз, как все бабы. Ругает Прикопие, что ушел из педучилища, не окончил его. Поворчит и бросит. Куда теперь денешься. В школе ему было бы не легче, чем в магазине. Может, чести было бы побольше. Это другой вопрос. Но одной честью сыт не будешь. А тут, как ни говори, магазин, место, прямо скажем, посытнее. Кто упрекнет Прикопие! Нельзя же иметь дело с медом и не обливать своих пальцев...

Мош Пэтраке подсел к огню и вытянул над ним руки, словно решил погладить чью-то золотокудрую головку.

— Ну, спокойной ночи, мош Пэтраке.

— До свидания. Спасибо, что зашел, не забыл, проведаль старика!..

Тоадер Фрунзе поздно ушел от мош Пэтраке: жалко было оставлять его, видел, как сиротски одинок он возле этого недостроенного, чужого для него гнезда. Теперь он опять оставался один, чтобы всю ночь слышать, как где-то между сухих бревен стрекочет сверчок.

Ночью пала изморозь, и пыль, которая за день не успевала осесть на землю, теперь тяжелым слоем покрыла деревья и травы. В засушливую летнюю пору она подымается до самого неба, закрывает солнце бледно-серой пеленой, так что можно было подумать: где-то недалеко находятся либо каменоломни, либо меловые горы, возле которых по целым дням копошятся люди, поднимают эти серые облака. Небо казалось задернутым какой-то тонкой непроницаемой завесой и было ненастоящим, каким-то нереальным, без голубизны и глубины. Но теперь, с заморозком, отяжелев, эта

легкая штора как бы кем-то была сдернута с небес.

К полудню солнце еще пыталось вновь взять дело в свои руки. Но оно было уже далеко, его падающие под острым углом лучи скользили по земле, шли по касательной и не могли нагреть землю настолько, чтобы опять поднялась пыльная завеса. Достаточно было небесному светилу еще немного склониться к горизонту, как полетному одетый прохожий начинал чувствовать остужающую свежесть, пожимал плечами. Ночью звезды делались необыкновенно крупными и яркими; лягушки примолкли, не квакают в прудах и болотах — время их шумных веселых концертов отошло. Все лето, днем и ночью, целыми сутками они надрывались, орали на все лады, вселяя в людей призрачную надежду: к дождю, мол, это они так голосят. Лягушки кричали, а с небес за все лето не упало ни капли.

Худо, должно быть, живется сейчас мош Пэтраке. Как-то надо помочь ему. Он и в урожайные-то годы часто сживал без куска хлеба. Весну и лето батрачил на Георге Негарэ и не думал о том, что придет зима и самому ему есть будет нечего. В хорошие времена Негарэ все-таки иногда приносил в его хибарку то немножко мучицы, то сумочку фасоли, то кое-чего из солений. Теперь же не только пшеница, но и кукуруза уродилась лядщей, — кто же поделится ею с тихим, забытым не только людьми, но, кажется, и самим господом богом стариком. Он и в добрые годы, перезимовав, выходил из своей норы истощавшим настолько, что еле передвигал ноги, поскольку всю зиму питался одними орехами. Теперь же и вовсе мог угаснуть...

2

В свои двадцать лет Тоадер Фрунзе успел все же кое-что сделать в жизни. Для этого ему не нужно было быть каким-то исключительным. Рос он, как все его одноклассники, в Кукоаре. Работать начал с малых лет, как водится в деревне. Когда исполнилось пять годков, отец посадил его на лошадь и приказал отвести ее на пастбище. Лошадь не могла, конечно, принимать всерьез такого наездника, этого комара, судорожно вцепившегося в ее холку; молодая кобылка взлягивала, поддавала задом и передом; чтобы избавиться от него, она проделывала разные акробатические номера до тех пор, пока мальчонка не летел кубарем наземь.

Таких падений у Тоадера-младшего было великое множество, но, к счастью, отделялся он всегда лишь легким испугом. Лошади все-таки большие умницы. Они сбрасывали парнишку на ровном месте. Сбросив, подходили к неудачливому жокею, мягкими, бархатными

губами причесывали его вихор, как бы прося прощения: мол, нечаянно, невзначай, а ты уж впредь держись покрепче. Родителям было не до сына. Занятые с утра до ночи на полевых работах, они не видели, как летит он с лошади, не могли подойти и пожалеть страдальца, который, плюхнувшись в траву, тер глазенки и плакал не столько от боли, сколько от досады. Сам он жаловаться не мог — мешала мальчишеская гордость.

Когда Тоадер маленько подрос, ему торжественно вручили кнут, решив, видно, что из мальчишки выйдет неплохой пастух. Несладко ему было и с овцами, особенно с теми, у которых поздний окот. Молодые ярочки ягнились трудно, и Тоадер носился по степи в поисках человека, который бы поспешил к неопытной родительнице: овца могла издохнуть.

Вернувшись (иногда не один), он чаще всего видел одну и ту же картину: ягненок, живой и невредимый, лежит на травке, а мать стоит рядом и облизывает новорожденного, то есть делает то, что и полагалось делать овце во все времена. Облизывает для того, чтобы малыш поскорее подсох, поднялся на собственные ноги и сунулся упругой мордочкой в ее набрякшее молоком вымя.

Вечером — новые мучения. Только что появившиеся на свет ягнята не могли на своих ногах возвращаться вместе с отарой в село. Их нужно было нести на руках. Временами их оказывалось сразу несколько. Часть дороги Тоадер сперва нес одного, затем возвращался за другим, третьим... И так до самой Кукоары.

И все-таки пришло время, когда все эти затруднения остались позади. Его теперь не пугал окот овец. Он научился даже помогать им, взяв на себя роль повивальной бабки. В нужный момент хватал цепко за скользкие копытца ягненка и выдергивал его из материнской утробы, как свеколку из земли. Через определенное время брал новорожденного на руки и совал его мордочкой под брюхо матери — теперь, мол, соси, новый житель! Житейский опыт подсказал Тоадеру, что если ягненок насосется молока сейчас, то его не придется потом тащить на руках: добежит до села и сам, на это у него хватит теперь собственных сил.

Но пасти приходилось лишь весной, когда не было еще общего стада. Летом же овец отдавали под покровительство взрослого, опытного чабана. Тоадер по указанию матери и отца переключался на иные дела, которых, казалось, никогда не переделает: полел лук, сторожил бахчу, таскал для запарки свиньям свежую траву. А через год-другой его уже по утрам ждали коса, грабли, вилы, серп, мотыга... В зимнюю пору ходил с отцом на лесозаготовки. В летнее время вместе с другими ребятами и девушками выходил в поле, на так называемую помощь, которая широко практиковалась в се-

лах и деревнях. Не было, кажется, такой деревни в окрестностях Кукоары, на которой не попотел бы Тоадер-младший то во время прополки, то в разгар уборочной страды.

Был он потом и учителем и даже директором школы, учил зимой детишек читать и писать, летом ему поручали готовить допризывников к военной службе.

А теперь вот — секретарь райкома комсомола. Да, он не мог посетовать на нехватку работы. Не успеет закончить одну, а уже десятки других выстраиваются перед ним в длинную очередь в ожидании, когда он примется за них. Но в таком положении он был не один. Грамотных людей кот наплакал. Только и слышишь отовсюду: кадры, кадры, не хватает кадров! Новая жизнь с ее темпами и повышенными требованиями к людям накатила стремительно, была непривычной, такой, о которой молдаван и понятия не имел. Так что хлопцам вроде Тоадера Фрунзе только успевай поворачиваться. Не сам он выбирал для себя дело, а делал то, что требовали от него другие люди. «Ты солдат партии, — говорили ему умные и решительные товарищи, — и обязан идти туда, куда тебя пошлет партия, где ты ей нужнее в данный момент!»

В справедливость такой суровой в общем-то формулы он, Тоадер Фрунзе, верил несокрушимо. Однако когда ему, секретарю райкома комсомола, пришлось быть еще и секретарем сельсовета в родной Кукоаре, он едва не взбунтовался. Это уж действительно слишком! Бывший секретарь, очнувшись наконец от длительного запоя где-то на печке Анишоары Кибирь, прикинулся самым несчастным человеком во всем белом свете, начал по-бабьи плакать и причитать:

— Ай, ай! Что я, негодяй, наделал!.. Пропал, совсем пропал!.. Конец мне!.. Если спасусь от прокурора, то не спасусь от рук Гицэ Могылды!.. Он отнял у меня жену!.. Теперь покончит со мной. Это уж точно!..

Он дрожал всем телом, метался на соломе, служившей ему на печи подстилкой. Рубашка военного образца была изорвана на нем в клочья; от пота эти клочья промокли настолько, что их хоть выжимай.

— Дурак, дурак! — клял он сам себя. — Какой же я идиот! И какой черт заставил меня вернуться из армии и простить этой суке все?! Ведь знал же я из писем родных о ее проделках!.. Знал, что спуталась с тем бандюгой!.. Пресвятая богородица, прости и спаси меня, дурака несчастного!

Так казнил, распинал себя секретарь всю первую половину дня. Во вторую же, к тому моменту, как в Кукоару прибыть районному прокурору, снова испарился, «как сон, как утренний туман». Посланнику Немезиды удалось лишь узнать, что секретарь покинул родное

селение не один, а прихватив с собой и Анишоару Кибирь. Расспросы людей мало что дали. Одни предполагали, что беглец со своей спутницей подался в Донбасс, другие допускали, что он мог укрыться у сестры в Кишкаренгах. Ясно было одно: пить-то секретарь пил, дебоширить-то дебоширил, но и о последствиях такого своего поведения не забывал — видно было по всему, что побег его был заранее спланирован.

Дочь Кибиря, Анишоара, была хоть и пониже ростом непутевой женушки сельсоветовского секретаря, но так же ладненько скроена, как и та, как и у той, был у нее томный, зовущий, заманивающий взгляд с ленивой поволокой. Взор невинного создания, в котором, однако, прятались черты, те самые, которые обитают в тихом омуте. Смиренькая с виду Анишоара принадлежала к тому роду женщин, которые, затаившись, долго и терпеливо поджидают где-то в сторонке, в засаде свою жертву.

Узнав о новом исчезновении секретаря, Тоадер Фрунзе решительно объявил:

— Ни в какой Донбасс он не уехал. Он же артист! Опохмеляется где-нибудь поблизости, уплетает за обе щеки горячие пироги и запивает молодым вином... И Гицэ не больно-то он испугался. Секретарь боится его не больше, чем я прошлогоднего снега!..

Фрунзе были хорошо известны повадки бандита. Они сродни волчьим. Не приведи господи повстречаться с ним где-нибудь на глухой лесной тропе — там уж он не пощадит тебя. А в селе он никого не тронет, слишком осторожен для этого!

Тоадер знал Гицэ еще до войны, когда приходилось с мешками кукурузы приезжать на мельницу его отца. Была у них передвижная молотилка. Летом, в разгар уборки хлебов, отец Гицэ обмолачивал пшеницу или рожь на токах тех, кто имел возможность нанять его для этого. Зимой же паровичок устанавливался во дворе, под старым навесом. Оттуда, из-под навеса, тянулся длинный привод, который проходил сквозь стену закопченной и запыленной кладовки и там крутил жернова весьма примитивной мельницы. Впрочем, ежели паровичок раскрутит жернов на достаточную скорость, даст ему большие обороты, то получится и хорошая мука, вкусно пахнущая жареным и похожая на яичный порошок.

Хоть горячий запашок, исходящий от мельницы, и был приманчив, Фрунзе все-таки приезжал сюда с великой неохотой. Мельничный двор находился на краю Чулука на топком, болотистом месте. В пору помола, когда у мельницы было заведено, там скапливалось много телег, фур, разных шарабанов. От колес, от копыт лошадей все подступы к мельнице превращались в непроходимую топь. Люди с трудом выдергивали ноги из этой трясины. Со

стороны можно было бы подумать, что отец Гицэ нанял их для того, чтобы они намесили ему глины, смешанной с навозом, — такую глину обычно приготавливают для обмазки изб и некоторых надворных построек. После того как ты побывал на мельнице, потребуется целая неделя, чтобы отмыть собственную обувь и ноги лошади или волов. Мало чем отличалась от наружной и внутренняя часть этого предприятия. Стены и потолки затянуты паутиной, в которой в невероятном количестве запутались и мухи, и пыль, белесая от того, что к ней примешалась мука. Зимой и летом тут сохранялся неискоренимый запах плесени и мышиного помета.

Фрунзе не раз видел Гицэ на мельнице. Он перемещался с места на место, приземистый и черный, как навозный жук, вместе с другими месяа своими короткими ногами грязнцу во дворе. Позже он как-то быстро вытянулся вверх. Теперь же в глазах трусливого люда он вообще рисовался неким богатырем. Эти готовы были приписать ему крупные кражи и грабежи на тысячу верст окрест. Кто-то сочинил даже песенку:

От Днестра и вплоть до Дона
Ходит банда Филимона.

Филимон — это прозвище Гицэ Могылды. Говорят, что кличка эта пришлась головорезу по душе и что, мол, он приказал кому-то из своих сподвижников сочинить такую песню. Кое-кто хотел бы несколько приукрасить бандитские дела Гицэ, придать им политический оттенок — он-де борец за какие-то свои идеи. Сам же глава банды, что называется, ни ухом ни рылом не слыхал, что там о нем говорят новоявленные «идеологи». Он не питался лесными травами и кореньями, не утолял жажды одной лишь пустой водой: грабил все и всех подряд и ловко ускользал от преследователей, а стало быть, и от заслуженного возмездия. В шайке своей он установил такие порядки, что никто и ни в чем не смел перечить ему. За малейшиеслушания карал жестоко. Всеми мерами охранял автономию своей банды; боясь главаря, бандиты не решались устанавливать связь даже с близкими им по духу и образу действий бандеровцами, орудовавшими в соседних карпатских лесах. Молодчики Гицэ больше промышляли по кооперативным лавкам, забирали там дневную выручку, спиртные напитки, ткани, одежду, яйца, соленую рыбу, хлеб, сало, колбасу — словом, все, что подвернется под руку, и уносили добычу в лесную глухомань. Были случаи, когда Гицэ не обходил своей «милостью» и крестьянские дворы, нападал на них, уносил ценные вещи и угонял скот. Иногда на него накатывала блажь: среди бела дня вдруг заходил в какой-нибудь сельсовет, до смерти перепугав сонного старичка-сторожа. Впрочем, делал он это

редко и не иначе, как хорошенько поразведать, не сулит ли ему такой поход нежелательную встречу с осодмилловцами¹, у которых при себе всегда было оружие, выданное им милицией. Встречаться с таким народом Гицэ не хотел. Если он и отваживался нападать на вооруженных, то делал это из засады, ночью, и опять же только тогда, когда знал наверняка, что объект его нападения (им чаще всего был ночной страж возле кооперативной лавки) вооружен охотничьим ружьем либо старой берданкой.

Обо всем этом знал Тоадер Фрунзэ. Подумал же сейчас об этом мельком, как бы мимоходом, поскольку был занят другим делом — составлением списков. Составлял эти списки, а сам с оттенком горечи думал про себя: люди-то вообще не шибко ценят тех, кто корпит над бумагой, занимается какой-то там писаниной. Подумаешь работа! Водит себе пером по бумажке, царапает там что-то, а какой вес в бумажке? Да никакого!

Так когда-то представлял себе писарские дела и сам Фрунзэ. Теперь же, после того как с утра до ночи просиживал он над этими самыми бумажками, у него ломило все тело. Голова кружилась, перед глазами скакали, мельтешили какие-то зеленые чертенята. А зарешеченные окна вместе с сельсоветовской комнатой напоминали тюремную камеру, в которую он, Тоадер Фрунзэ, упрятан ни за что ни про что. Вот тебе и канцелярская работа!

Впрочем, в последнее время, когда повсюду открылись ликбезы, крестьяне, кажется, несколько изменили свое отношение к умственному труду. Изменили после того, как с них самих сошло сто потов во время выведения какой-нибудь единственной буковки. Может быть, и сейчас кто-то из них остался прежнего невысокого мнения о канторской работе. Кто-то, может, и остался, но только не Фрунзэ! В эти долгие дни и ночи своего корпения над списками он окончательно уразумел: тяжела ты, шапка Мономаха!

Трудился он в сельсовете не один. Ему помогали учителя из Кукоары. Яцку, например, который умел лучше других вычерчивать линейки, занимался только этим. Но прежде он производил следующую операцию: снимал скрепки, которыми до этого соединялись тетрадные листки, затем склеивал листочки между собой во всю их длину и, когда подсыхал клей, начинал разлиновывать. Длинные, размером чуть ли не в простынь, листы передавались затем в руки других учителей, возле которых лежал толстенный том «Похозяйственной книги». Из этого фолианта грамотей выписывали фамилии жителей села, количество членов каждой семьи, указывали, сколько на каждую

семью потребуется килограммов пшеницы, кукурузы, картофеля, гороха...

Учителей от работы никто не отвлекал, а Тоадера Фрунзэ — ежеминутно.

Голод сорвал людей с мест, погнал их по всем дорогам. Одни ехали с вином в надежде обменять его на хлеб. Другие с той же целью гнали скот, везли ковры, ковровые дорожки. Немало было и таких, кому вообще нечего было продать. Эти искали себе работу в Буковине, в прикарпатских областях, уходили на фабрики и заводы. Село было похоже на потревоженный муравейник. Одни приезжали сюда, другие уезжали отсюда. И всем нужны были документы. Сельсоветовская справка заменяла им и паспорт и документ, без которого нельзя было ничего продать. Этот клочок бумажки, подписанный председателем и секретарем поневоле, то есть Тоадером Фрунзэ, удостоверял, что корова, овца ли, ковры или вино принадлежат «представителю сего», а не кому-нибудь еще. Заторопились вдруг и с заявлениями в колхоз. Вчера еще колебались, почесывали в затылках, а сейчас пошли один за другим.

Теперь не было нужды ходить по избам и уговаривать — народ сам двинулся. Не было надобности и в агитации за колхоз. Напуганные приближающимся голодом, люди видели в коллективном хозяйстве единственное свое спасение. Приходили по одному, а иной раз группами, словно бы заранее где-то сговорились, организовались.

«Да, да... вот именно... ищут спасения в колхозе!» — без труда оценил этот неожиданный энтузиазм своих односельчан Фрунзэ. Позвонил Шеремету и сообщил ему обо всем этом.

— Заявления принимайте, — посоветовал тот без всякого колебания, — и складывайте в отдельную папку. Подойдет скоро очередь и колхозов. Пока же — списки, списки и еще раз списки! Поскорее высылайте их в райисполком на утверждение!

Легко сказать: принимайте заявления. Но большинство желающих вступить в колхоз были неграмотны, — эти изъявляют о своем желании устно. Значит, ему же, Тоадеру, и придется писать за них заявления. Стало быть, еще прибавилась ему работенка! Эх, люди! Ну как вас понять? Вчера еще вы не поддавались никаким уговорам, старались увильнуть от здравых речей уполномоченного, а сегодня валите к нему валом, идете толпами, когда вас никто и не тревожил, не приглашал в сельсовет... Страх перед «косою», перед голодом, конечно... А может, что-то иное... В крестьянской стихии могут быть всякие неожиданности. Во всяком случае, будет лучше, ежели Тоадер Фрунзэ сам справится у своих земляков.

— Что случилось? — спросил он одного. — Почему несете заявления чуть ли не все сразу?

¹ Осодмил — общество содействия милиции.

— А ничего не случилось, — спокойно ответил тот. — Просто собрались, посоветовались и приняли решение.

— Кто?

— Мы.

Пришедшие молчали, потупившись. Из этих-то не вытащишь ни единого слова, хоть возьми крючок, которым выдергивают сено из стога. Самый же разговорчивый может еще добавить:

— Живут же где-то при колхозах люди — и ничего. И мы не пропадем.

Учитель Яцку, оставив на минуту свое занятие, объяснил все по-своему:

— Списки наши их подстегают. Хлебом запахло от наших с вами бумаг...

Наверное, какая-то доля правды была и в этом. Но только доля, а не вся правда. Днями пришла с заявлением, например, мать Илие Унгурияну, а ведь упрямей этой женщины не сыскать человека во всей Кукоаре. Овдовев в молодости, она замкнулась в себе, сторонилась людей, была крайне подозрительной и недоверчивой настолько, что не верила даже собственному сыну. Может быть, ее очень многие и много обманывали, что она в конце концов стала такой: никакими словами ее не вразумишь. Сделалась к тому же очень набожной. После того как ее сын Илие снимал в своей избе иконы, упрятал их на чердаке, а попу пригрозил закрытием церкви, мать обрушила на него громы и молнии. Вытурила из дому, крича вслед: «Продался антихристу, нечистая сила!.. Пропали ты пропадом, изыди с моих глаз, еретик! Прочь, прочь!.. Бог, знать, наказал меня — вскормила своей грудью змееныша!.. Попугай еще батюшку — кипятком ошпарю тебя, прода!..»

К такой никто бы из активистов не рискнул пойти с агитацией за колхоз. Но вот теперь она сама пришла в сельсовет. На сына, который также был привлечен к составлению списков, даже не посмотрела. Войдя, попросила Фрунзе написать ей заявление, предупредив при этом:

— А этого лоботряса не вписывай в мою бумагу.

— Э, мать! Не смейся людей! — взорвался Илие. — Не я ли уговаривал тебя вступить в колхоз?! Сколько самых лучших слов на тебя затратил!.. А ты — хватъ кочергу и за мной... Гонялась по всему огороду... И слушать не хотела... А теперь, может, батюшка присоветовал?

— Не твоего ума дело. Может, и батюшка.

Женщина ушла, а Яцку распрямил спину и, повернувшись лицом к молодой учительнице Нине Андреевне, изрек:

— Не приведи вам бог занять такую свекровь!

Юная преподавательница вздрогнула, даже подскочила от неожиданности, завертелась на тоненьких каблучках своих туфель, — так дела-

ла она всегда, когда сердилась. В такую минуту она более прежнего походила на осу: и без того тонюсенькая ее талия делалась еще тоньше. Казалось, фигурка ее составлена из двух частей — верхней и нижней, соединенных тонким гибким стерженьком.

Сейчас Нина Андреевна вспыхнула, как порох. На щеках, на шее заиграли языки пламени. Теперь жди потока бурных слов. Затрещит, как пулемет, не отыщется такой машины, которая могла бы подсчитать в точности, сколько слов в минуту она выпускает. Намек коллеги показался Нине Андреевне очень обидным, а потому на коллегу этого и обрушился прежде всего ее гнев. Он выслушал в свой адрес такое, что пригнул голову до самого стола и прикрыл ее на всякий случай руками. У юной учительницы была причина так гневаться. Ей и без намеков Яцку было несладко. Этот притихший сейчас вот Илие Унгурияну мучил ее целыми ночами — пел у ее окна любовные свои серенады, запирали двери ее дома снаружи, так что бедной девушке приходилось выбираться на улицу через окно; два раза обмазал ее ворота дегтем, опозорил, ославил на все село, разбойник...

Чтобы как-то поправить дело, виноватый, пришибленный словами Нины Андреевны Яцку попытался перевести разговор на иное. По-серьезнее вдруг, заговорил:

— И что это, в самом деле, стряслось с твоей матерью, Илие? Сама, добровольно, так сказать, пришла вступать в колхоз?.. А? Может, ты объяснишь нам?

— Ничего с нею не стряслось... такого... особенного. По собственной инициативе смоталась на Украину, убедилась своими глазами, что колхозники живут и с голоду не умирают. Теперь решила и сама...

— А, ну теперь все ясно! — притворно удивился Яцку, который о путешествии паломницы, очевидно, был уже наслышан.

— Мало того, — грустно повествовал разговаривавший Илие, — притащила с Украины целую торбу махорки и теперь торгует ею, продает стаканами, спекулянтка! Позорит меня!..

Унгурияну продолжал бы и далее, но всех их отвлек своим появлением мош Ион Мустяца-Нани. Он положил перед Фрунзе очень памятный листок. Вместе они сочиняли на нем заявление еще где-то посредине лета. Судя по виду этой бумаги, мош Ион долго размышлял над нею, мучая ее то в руках, то в кармане, то на столе; вся она была запятнана красным вином, будто старик плакал над нею кровавыми слезами.

— Поздно вато же вы решили отомстить своей старухе, мош Ион, — пошутил Фрунзе.

— А что, больше не принимаете, внучек? — встревожился старик.

— Принимать-то принимаем, дедушка. Да обидно: ошибся я в вас.

— Как так... ошибся?

— Думал зачислить вас в активисты, в инициативную группу, а теперь...

— А теперь, что же, нельзя?

— Никак нельзя, мош Ион! Вы пришли со своим заявлением чуть ли не последним. Какая уж тут инициатива!

— А какое уважение будет той группе, внучек? — полюбопытствовал старик.

— Очень даже большое уважение! Группа эта — голова всему.

— Вон оно как! Ну что ж. Значит, опоздал я...

— Да, мош Ион. Пришел ты к шапошному разбору.

— Значит, в хвосте останусь?

— Вроде этого...

— Ну что ж, — примирился старик, — кому-то надо ж быть и там... в хвосте.

Перед тем как уйти, мош Ион задержался у порога. По тому, как он расставил ноги, как уперся ими в пол, было ясно, что уйдет он еще не скоро, что ему хочется о чем-то спросить и что он только не знает, с какого конца начать, в какие слова одеть беспокоящую его мысль. Начал, как это и водится у пожилого крестьянина, издав себя:

— Вот... управился я с делами на поле...

Для убедительности показал всем свои ладони. Это был отличный документ! Грубые, заскорузлые ладони потрескались, как кора старого дуба. Наверное, он долго оттирал их мокрым песком, шершавыми камнями и наждаком прежде, чем отправиться в сельсовет со своим заявлением. На руках мош Иона остались явные следы такой грубой операции. Перехватив взгляд Фрунзе, изучающего руки нового посетителя, старик поспешил объяснить, отчего они у него такие:

— Ничем их теперь не ототрешь, внучек... Да леший с ними, с руками... Важно, что с полевыми делами я покончил, управился!.. Теперь гора с плеч!

— Вы что ж, из-за полевых работ припозднились с заявлением?

Мош Ион не ответил. Он продолжал поворачивать ладони и так и этак. Руки его, может быть, помимо воли хозяина повторяли те самые движения, которые требуются при работе у пресса, когда давят виноград. Пальцы же производили действия, какие полагалось им производить при очищении орехов, лука, чеснока. По ладоням, по пальцам рук старика нетрудно было определить, что делали эти руки в течение всего лета.

— В колхоз, стало быть, — наконец подступил старик к самому, видать, важному для него, — в колхоз... А как же с вином? Что будет с ним?

— Вино останется у вас. Никто его не обобещивает.

— Хорошо, коли так, — обрадовался дед. — Я, дорогой мой внучек, молочко не пью. Вы ведь знаете все про меня, и всю историю с молоком знаете. Так что...

— Вино останется при вас, мош Ион. Сказал же!

— Ну, не сердись. Слава тебе господи!.. Винцо, значит, останется в моем погребе?

— Останется, мош Ион. Останется.

— Ну, слава богу! А мы-то думали...

Только после встречи с этим стариком Тоадер Фрунзе понял, что у его земляков, в их скрытых крестьянских умах, все было заранее рассчитано и распланировано. Люди затаивали с подачей заявлений, пока не управились со своим виноградом, пока не убрали все фрукты и овощи в своих садах и огородах. Теперь, когда весь урожай собран, рассован по погребам, сусекам и чердакам, можно было рискнуть относительно колхоза. К тому же и риск-то не такой уж большой: вернувшись из поездки на Украину авторитетные посланцы заверили своих земляков, что и в колхозах жить можно, да и жизнь там понадежнее: не будешь дрожать по-щенячьему в засуху, в холода, при других ли капризах коварной погоды. Артелью, чай, полечче бороться с такими капризами, да и государство не оставит в беде коллективные хозяйства. Вот, оказывается, какими долгими и извилистыми путями продирался недоверчивый крестьянский ум к истине.

Поняв это, Тоадер Фрунзе готов был плакать и плясать от радости.

Однако мош Ион все еще стоял у порога.

— Еще один вопрос, внучек, и я уйду, — сказал он.

— Хоть десять вопросов. Я вас слушаю, мош Ион! — с готовностью отозвался Фрунзе.

— Скажите мне, успокойте старика... Как вы думаете, тот леший... какой из бочек днища вышибает... не вернется случаем?

— Кто, что? — не сразу уразумел Фрунзе.

— Да секретарь!.. Бывший то есть!..

— Думаю, что не вернется. Сюда, во всяком случае.

— Ну, а ежели вернется, объявится, вы уж и ему скажите, что мош Ион тоже подал заявление. Не первым, мол, подал, но и не последним. Прошу вас...

— Не беспокойтесь, мош Ион.

— Легко вам сказать — не беспокойтесь. Но лучше будет, если вы и ему скажете. Так, мол, и так... Мош Ион вступил в колхоз.

После этих слов старик поглубже нахлобучил шапку и медленно вышел из сельсовета. Немного задержался еще у калитки, там тоже поправил шапку и только уж после этого быстро направился на улицу.

Говорят, за одного битого двух небитых дают, что всякая нахлобучка пойдет человеку впрок. Но сколько же должно быть этих нахлобучек, чтобы вот он, к примеру сказать, Тоадер Фрунзе, наконец поумнел! После строгого внушения Шеремета, после множества всяческих неурядиц, вытекающих из несовершенства человеческой памяти, он до сих пор так и не обзавелся блокнотом, в который мог бы занести адреса и телефонные номера, а также имена новых оргеевских секретарей, заводделами, инструкторов укома, а после ликвидации уездов — своих шефов из комсомольского штаба республики в Кишиневе, работников ЦК ЛКСМ Молдавии и других лиц, к которым то и дело приходилось обращаться. За неимением крохотной книжицы, которая могла бы свободно поместиться в нагрудном кармашке, он испытывал чертову прорву неудобств. Главные дела удерживались в памяти вместе с делами пустяковыми и с теми вопросами, которые уже решены, но все еще путались в его мозгу, мешали ему сосредоточиться на вопросах главных, неотложных, но еще не решенных. В записную же книжку как раз должно было занести вот эти самые важные пункты. Но Тоадер Фрунзе этого не делал и жестоко расплачивался за свою неорганизованность.

Однажды он позвонил в ЦК комсомола и, перепутав номер телефона, попал в кабинет первого секретаря в то время, когда ему нужен был секретарь по кадрам. Обнаружив скоро свою промашку, решил было, что это беда невелика: проблему кадров, пожалуй, даже легче будет решить с первым. Но в то же мгновение Фрунзе вспомнил, что не знает, как звать по имени и отчеству первого секретаря. Начал: «Василий... э-э-э...», запнулся и испуганно бросил трубку на рычажок аппарата. Счастье, что не успел еще назвать себя.

Отсутствие записной книжки прибавляло работы и его ногам. Известное дело, дурная голова не даст покою и им. Вместо того чтобы позвонить в нужную ему организацию, он мчался туда на своих двоих. Алексей Иосифович Шеремет, как известно, уже не раз советовал молодому руководителю обзавестись блокнотом, указывал Тоадеру на то, на что указывал и Ленин: самый плохой карандаш лучше самой хорошей человеческой памяти. Потом надо знать, что великий дар нашего мозга состоит не только в том, чтобы запоминать, но и забывать. Шеремет как-то рассказал своему ученику притчу про помещика и его приказчика, который потребовал от хозяина прибавки к своему жалованию. Я, мол, тружусь в десять раз больше, чем управляющий, а получаю за это в несколько раз меньше. Где ж, мол, тут справедливость?

«Хорошо, — говорит ему барин. — Сейчас попробуем вместе разобраться во всем. — Позвал управляющего и приказал при нем жалобщику. — Видишь вон ту повозку на вершине холма?

— Вижу, барин!

— Пойди и узнай, что с ней.

Приказчик прищипорил коня. Вернувшись, доложил:

— Обоз с бочками вина.

— Откуда идет и куда тот обоз?

— Сейчас узнаю, барин!

Снова полетел шлейф пыли за ускакавшим приказчиком. Через десять — двенадцать минут он опять докладывает:

— Вино купили в Кодрах. Везут в степные районы.

— Хорошо. Теперь изволь узнать, почему купили, почему собираются продавать.

— Сейчас...

Долго еще гонял так вот помещик своего приказчика. Лошадь его была уже в мыле, тяжело носила боками от такой скачки. Видя это, барин то же поручение дал управляющему. Через четверть часа тот вернулся, вынул из кармана записную книжку и подробно доложил хозяину все, что хотел тот знать: откуда движутся повозки, куда направляются, что везут, сколько было уплачено за ведро вина и кому теперь принадлежит это вино.

— Ну, милейший, — заговорил барин, поворачиваясь насмешливым лицом к приказчику, — теперь-то ты должен понять, отчего управляющему я положил жалование больше твоего».

Чтобы притча хорошенько запомнилась слушателю, Шеремет сопровождал ее своими острыми, колкими шуточками. Нельзя сказать, чтобы Фрунзе не пытался внять советам старшего товарища. Одну за другой заводил он эти злополучные книжицы, заносил в них кое-что, но почему-то все время терял их и вновь оставался без них. Осуждал, строго отчитывал за это сам себя, но все оставалось по-прежнему. Не мог привыкнуть он к блокноту так же, как и к портфелю. Будучи учителем, две зимы кряду носил учебники и тетради под мышкой. И теперь, когда все его подчиненные, заведующие отделами и инструктора имели хорошие, вместительные портфели, у него, секретаря райкома комсомола, не было даже школьной сумки. Сейчас, когда снег валил так, что свету белого не видать, он вез в район списки голодающих крестьян, пряча их под одеждой у себя на груди.

После страшной засухи природа словно бы спохватилась и решила вернуть земле свой долг в виде снега. Он валил теперь с небес валом, словно бы решил схоронить под белым своим саваном все, что было тут, на земле. Известно, однако, что снег ли, огонь, дождь, ночь, день, солнце и даже его затмение — все имеет для человеческой души свое очарование, все

дает ей определенный настрой. У открытой печи, когда гудит огонь, ты даже в одиночестве слушаешь сказку; в поле, у костра, — отзвуки истории. Рядом с огнем человек чувствует себя сильнее, без огня — он одинок, сиротлив. Огонь его верный товарищ. Они заботятся друг о друге: человек об огне, огонь о человеке. Кто тебе скажет, когда родилась между ними эта дружба? С таких же незапамятных времен человек породнился с дождем и снегом. Возможно, однако, что в разных краях и у разных людей, к ним, то есть к огню, дождю и снегу, разное и отношение. И то, что радует тебя, других может печалить, огорчать.

Для Тоадера Фрунзе засуха, неутоленная жажда, а значит, и страдания земли, полей, садов и огородов были его собственными страданиями. Большую половину года он проводил теперь в городе, но продолжающаяся многие недели и месяцы все испепеляющая жара делала для него невыносимым сидение в городе. И как только робкие капли дождя начинали стучаться в железную крышу, ему хотелось плюнуть на все эти собрания, заседания, бюро и, ошалевши от непередаваемой радости, выскочить под небесный душ, ловить дождевые струи и ртом и ладонями, умываться этой живой влагой.

Он и сейчас, будучи совсем взрослым человеком, комсомольским вожаком, членом бюро райкома партии, пряча за пазухой, будто украденный виноград, сельсоветские списки, с превеликим удовольствием кинулся бы в снег, прыгал бы в нем, кувыркался, безумный от счастья. После суховея и все иссушающей жары он был особенно желанен и чудесен, этот снег. Снежинки падали медленно в безветрии, казалось, что они опускаются на землю, а другие поднимаются им навстречу, летят вверх. Но так только казалось. В действительности все они падали вниз, если можно назвать падением это легкое парение в воздухе, и земля радостно брала на себя это почти невесомое белое покрывало.

Да, после такой свирепой засухи снежная зима воспринималась людьми с таким же праздником на сердце, как встречается ими обычно весна. Все вокруг и сами люди виделись обновленными, словно заново народились. Короткие дни, скупые на солнечное освещение, притемненные низко опустившимися тучами, будто продолжались и ночью — темнота отгонялась ослепительной белизной снежного одеяния. В такую пору лохматая шапка дыма, вставшая над трубой, звонкий стук чих-то сапог на пороге твоего дома, ледяной папоротник на стеклах окон, озабоченный писк синицы в голом саду — все это очень многое может сказать человеку, который умеет читать мудрую книгу земли.

Нахлынувшая было на сердце Тоадера Фрунзе освежающая радость тотчас же улету-

чилась, когда он добрался до райцентра и не увидел над трубой своего «казенного дома» живого дымка. Парень грустно подумал: директор лесхоза опять валяет дурака, опять забыл про комсомол, воспользовался, бюрократ несчастный, отсутствием секретаря райкома и не выдал ребятам наряда на дрова. Или выдал, но куда-нибудь к черту на кулички, за тридцать или сорок километров от города.

В райкоме комсомола, как он и ожидал, было холодно, как в леднике. В уголке, у стола, озябшими воробушками притулились две девушки — заведующая пионерским отделом и заведующая учетом. Впрочем, похожи они сейчас больше были не на воробушек, а на взъерошенных сов. Завучетом Роза и от природы была похожа на эту ночную птицу со своими всегда взлохмаченными волосами. Теперь, дуя на руки и обогревая их таким образом, она и вовсе забыла про свою прическу — сидела так, нахохлившись. Страдали же они не только от холода, но и от самой, пожалуй, неприятной работы. Девушки заняты были годовым отчетом. Более всего их мучили дела финансовые. Для каждой копейки они должны были найти положенное ей место. Не найдут — все статьи выйдут из строя, как недисциплинированные солдаты, разбегутся куда попало, — ищи их тогда свищи! Фрунзе хорошо понимал этих великомучениц-девичат. И сам не раз находился в их положении. Он с великой радостью положил бы свой рубль вместо пропавшей куда-то государственной копейки, да нельзя, это было бы нарушением закона, к тому же твой собственный рубль, вторгшись со стороны, мог бы перепутать все карты в финансовом отчете, в котором ни единой копейки нельзя ни прибавить, ни убавить. Дни, ночи, недели сиди как проклятый и ищи ту копейку, пока волосы не прорастут сквозь шапку!

Но вот копейка отыскалась, а твои мученья на том не кончились. Тебе надо еще произвести учет чистых бланков, незаполненных комсомольских билетов, не выданных значков. И тут не обходилось без длительных поисков, без потерь и находок, без взаимных обвинений, упреков и взаимных же потом извинений.

Когда же все находилось и составлялось на свои места, годовой отчет всеми своими четкими графами, статьями и параграфами начинал петь, как поет только что решенная тобою трудная задача из учебника математики.

Но попробуй составить такой отчет в холодном помещении! Было бы, пожалуй, лучше, если б все сотрудники райкома комсомола были мужского пола. Он, Фрунзе, разогнал бы хлопцев по району, а на дверях своего учреждения вывесил бы объявление, как в годы гражданской войны: «Райком закрыт. Все ушли на фронт».

И все-таки женщины, кажется, легче переносят житейские невзгоды. В таких случаях они более терпеливы и выносливы, хотя их и называют слабым полом. Ни ропота, ни упреков не услышал Тоадер сейчас от этих существ, по-старушечьи закутанных во что бог послал. Видать, для собственного утешения и для утешения своего руководителя они тут же сообщили, что не только у них, но и в райкоме партии нету дров: зима, как и в предыдущие годы, захватила хозяйственников врасплох. Сам-то директор лесхоза, ходит по улицам в какой-то диковинной шубе, сшитой из шкуры какого-то сибирского зверя, в шапке, изготовленной для него из той же шкуры. В этих недоступных холодам доспехах он заглядывает и в райком комсомола, заигрывает то с одной, то с другой девушкой, а кубометры его дров находятся черт знает где. Когда человек потеряет и стыд, и совесть, с него взятки гладки! Директору этому дрова доставляются на дом. Кто является хозяином леса, тот хозяин и теплая!..

Тоадер Фрунзе был зол на этого лесного лешего и по другим причинам. При всех кампаниях, при всех авралах, когда работники района разъезжаются обычно по селам, чтобы помочь местным руководителям в трудную минуту, директор лесхоза под любым предлогом оставался в городе. Его никуда не посылали в качестве уполномоченного райкома партии. Какой «ангел» его хранил, одному, знать, богу было известно. Все уезжали, а он оставался и всюду волочился за молоденькими учительницами средней школы.

«Ничего, голубчик, — думал про себя Фрунзе, — я до тебя доберусь! Ты не будешь меня гонять за дровами аж в ореевский лес!»

Думал он так по дороге в Кукоару, куда в тот же день возвращался с утвержденными списками. В адрес ненавистного ему теперь директора лесхоза слал проклятия. Личную обиду Тоадер мог бы еще стерпеть, пережить, но, когда обижали его сотрудников, он приходил в состояние бешенства. Гнев его возрос до точки кипения, когда он обнаружил, что пакет с папиросами у него промок от подтаявшего снега и он теперь останется без курева. Промокло двести штук «Казбека», уложенного им в длинный полуметровый пакет. Он получил эти папиросы вместе с хлебом и сахаром по карточкам. Теперь папиросная бумага, в которую были упакованы пачки табака, распалась, распалась — «Казбек» вывалился на снег, и его пришлось подбирать и прятать за пазуху и одновременно глядеть, как бы то же самое не случилось с хлебом и сахаром: то и другое было завернуто в такую же тонкую бумагу, которая в любую минуту могла превратиться в набухшую влагою промокашку.

Дома при ревизии своего добра Фрунзе не досчитался нескольких пачек папирос, и злость на директора подошла к конечному рубежу и вылилась в конкретные, решительные действия. В две-три минуты он отыскал Илие Унгуриану, драматически обрисовал ему положение, в котором оказался по вине директора лесхоза комсомольский штаб. К великому удивлению и огорчению Тоадера Фрунзе, Унгуриану принял его сообщение с полным равнодушием. Он даже зевнул, стервец! Спросил как бы между прочим:

— Сколько?

— Чего — «сколько»?

— Сколько, говорю, нужно саней?

— А я, думаешь, знаю?! — пожал плечами Фрунзе.

— Десять хватит?.. Ну, двадцать?.. Должен же я знать — сколько?!

— Хватит, пожалуй, и десяти...

— Так бы и сказал. Будет сделано!

И сделал! Как только это ему удалось, знает один лишь Илие! Фрунзе не успел еще как следует обогреться у себя в доме, не успел поесть, а Унгуриану уже свистит у ворот, вызывает его на улицу. На дороге стояли в ожидании пятнадцать саней. Не десять, а пятнадцать! Верно, Тоадеру нужно было бы при первой встрече с Илие назвать цифру пять, тогда он подогнал бы к его двору именно десять подвод...

Как известно, у Илие Унгуриана была одна слабость. Он дня не проживет без того, чтобы не натворить каких-нибудь чудес и не удивить ими своих односельчан. Попроси его подбросить охапку сена или соломы корове, он приволокет полскирды. Притащил бы и всю скирду, да рук не доставало, чтобы обхватить ее. Не боялся при этом, что его строгая матушка опять ухватится за кочергу и возопит: «Нечистая сила, целую скирду притащил!.. Оставил скотинешку без корму!.. Где я возьму деньги, чтобы купить новую скирду?! Где, я тебя спрашиваю, негодяй!..»

Обоз же был скомпонован Илие на славу. Во всех санях сидели парни с пилами, у кого не было пилы, тот за поясом держал топор или колун.

— В Тэблицу, в Хоштянку! — приказал Фрунзе.

Его распоряжение передавалось от саней к саням — и полозья закрипели.

— М-да-а... далековато! — проворчал сердито Илие.

— А что делать?.. Только там и найдем сухие дубки.

— Дуб и ясень и сырыми горят за милую душу.

— Горят. Но лес-то мы должны сохранять, как ты думаешь?!

— Лес — он ничейный, государственный.

— А мы с тобой чьи?

С Унгуриану лучше не спорь. Если уж он что зарядил, то будет вести свою линию до скончания века. И вообще, он великий ворчун. В непостижимо малый срок организовавший этот обоз, он сейчас вдруг расхныкался. Начал попугивать и себя и других, уверяя, что им не добраться до места в такую метель и пургу. А если и доедут, то по наметенным сугробам не выберутся из леса: темнеет, мол, в такую непогоду рано и прочее.

Между тем сани уже катились по лесной дороге. К ночи похолодало, вызвездило. Снег звонко закрипел под полозьями. Унгуриану повеселел. Забыв о своем недавнем нытье, заорал что есть моченьки:

— Ребята! Отсюда до самого района дорога все время пойдет под уклон, ни единого подъема... Уррра-а-а! — Илие ликовал так, словно сделал необыкновенное открытие.

При мысли о том, что они теперь могут быстро нагрузить сани дровами, что до города им не встретится ни единого подъема, он так взбодрился, такая сила почуялась в его жилах, что он уже походил на Уриеца¹ либо на русского Илью Муромца. Когда начали валить сухие деревья, он выхватывал пилу то у одного, то у другого парня, подменяя уставшего; то же делал и с теми, кто орудовал топором, — со страшною силой вонзал лезвие у комля дуба, оставлял там зарубину, чтобы затем дерево падало в нужную сторону.

Однако и давешние его опасения отчасти подтвердились на обратном пути. Дважды ребятам приходилось расчищать заспанную снегом дорогу, убирать сугробы. Особенно высоки они были на перекрестках улиц в самом райцентре. Это препятствие было не таким уж серьезным. Встретившись с ним, ребята выхватывали из саней лопаты и принимались за дело. Молодой неслежавшийся снег легко уступал им дорогу.

Приехали за полночь.

Городок спал. Нигде, ни в одном доме, не видно было огонька. Только кукоаровские комсомольцы во главе с Тоадером Фрунзе бодрствовали — их было тридцать парней. Они шумно заполнили широкий двор райкома комсомола, начали сгружать бревна; тут же принялись их распиливать. Те, у кого не было ни пилы, ни топора (к числу таких относились и Фрунзе с Унгуриану), стаскивали дрова в помещение и складывали их в двух свободных кабинетах, в которых еще недавно находились сушеные лекарственные травы, сливы, айва, яблоки, орехи, собранные для ленинградских детей-сирот.

Быстро до самых потолков набили оба кабинета. Дрова складывали аккуратно, полence к полence, как спички в коробке.

¹ Уриеца — великан, герой молдавских сказок и легенд.

В одной голландке уже весело горел огонь. Возле него Илие Унгуриану подогревал бочонок с вином, принесенный им из чьих-то саней. Тепло с трудом проникало сквозь дерево в чрево этого пузатенького сосудца. Теперь ребята работали еще проворнее. Забегут на минуту в дом, угостятся холодным винцом и снова мчатся во двор, понукая, подзадоривая друг друга:

— Давай, давай!

— Поднажми, ребята! Зима пришла!

— Поторапливайся!

— Да-а... без дров тут запоешь Лазаря!..

— Проснется Алексей Иосифович, глянет — мать честная, дрова! Откуда они?!

— Мы не признаемся, не скажем ему. Ускачем незаметно, и след наш простынет!..

— Какое там!.. Его занесет снегом, след наш...

— И лесхозовцы ничего не узнают...

— Да, подходящую мы пору выбрали...

— Давай, давай, ребята, поторапливайтесь. Меньше слов — больше дела!

Тоадер Фрунзе проводил своих молодых односельчан до городской окраины: ему хотелось видеть, как преодолеют они сугробы. Один из таких сугробов поднялся до самой крыши продуктового магазина. Из-за белой стены снега не было видно здания почтового отделения.

Комсомольцы, однако, проехали двором средней школы и благополучно выбрались на полевую дорогу, которая теперь меж виноградников приведет их прямо в Кукоару.

4

Никогда еще Тоадер Фрунзе не спал так крепко на райкомовском столе, как в эту ночь. Работа в лесу утомила его, а тепло разморило. Чувствовал, как холод уходит из него где-то через коленные чашечки ног. Согревшись, кости как бы размягчились. В дремотной истоме Тоадер слышал только, как потрескивает в голландке огонек, как перешептываются угольки, как гудит в дымоходе.

И все-таки проснулся рано.

Во всем доме не было ни единого выключателя. Свет зажигался и гасился сам. Вопрос, гореть лампам или не гореть, решался не здесь, а там, на электростанции.

Летом Тоадера будило солнце, которое вставало раньше людей. Но теперь он проснулся не потому, что в глаза, по лицу ударил электрический или солнечный свет. Ни того, ни другого не было. Его разбудил теплый свет непереданной радости, хлынувшей в сердце. Радость эта рождена была мыслью о Шеремете, который, конечно же, страшно удивится, когда вдруг увидит, что все стены его дома выложены поленьями настоящих дров. А что станет с

уборщицей и истопницей, Жоркиной матерью?.. Она, верно, всплеснет руками, плюнет себе за пазуху, перекрестится, закричит: «Матерь божья, ясная богородица!.. Не привиделось ли мне такое чудо?.. Печки раскалены докрасна... дрова кругом... И все это за одну выюжную ночь. Мать честная!.. Да кто же это сотворил такое?..»

След же творцов был замечен возобновившимся к утру снегопадом.

Да, рядом с источавшей тепло печкой можно было жить! И как заахают, как звонко захохочут от счастья те две комсомольские совушки, когда ровно в девять часов придут на работу. Плотные, пухленькие, круглые, как булочки, они будут теперь и румянянькими. И мальчишья их прическа будет приглажена, прибрана и не станет по-совиному топорщиться на их головках. Девчата сбросят с себя верхнюю теплую одежду и будут выглядеть по-девичьи, почти по-летнему, то есть такими, каких немножко побаивается чересчур стыдливый их руководитель. Летом, когда женщины выступали перед мужчинами полуобнаженными, хвастаясь своими прелестями, он, Фрунзе, прятал свои глаза и даже чуток краснел.

Но почему сейчас-то он думает про все это?..

Снегопад опять прекратился. Свет электрической лампочки терял уже свое очарование. Отпугнутый, отстраненный другим светом, проникшим через оконное стекло, он как бы холодел, терялся в дымке студеной зари, становился уже ненужным в человеческом жилище. Горожок оживал. Люди проснулись. Одни прыгали через сугробы, пробираясь с ведрами за водой, другие проделывали в снегу тропы к воротам, сараям, погребам. Горожане явно обескуражены. После такого знойного лета никто из них не ожидал ранней зимы и ранних морозов. Обычно морозы начинали покусываться где-то поближе к крещению, к концу первой недели января, не раньше. Но разве ее поймешь, небесную канцелярию? Может, у нее тоже есть свои весы с двумя большими тарелками, на которых вымеряется равновесие в природе? Было, скажем, засушливое, жаркое лето — теперь получайте, люди добрые, щедрую на снега зиму с ее высокими сугробами и свирепыми морозами.

Из дома Шеремета кто-то вышел во двор. Женщина, конечно. В студеную пору, по утрам, первыми просыпаются и выходят на улицу женщины. Это уж известно. Мужчины, как это ни странно, более чувствительны к холоду и весьма неохотно покидают по утрам свое ложе. Мужчина дождется, когда вставшая пораньше жена растопит печь, что-то там согреет, скипит для него, поставит на стол, и только тогда, ежась и позевывая, он выползет из-под теплого одеяла.

Та бесформенная в утренних сумерках тень, которая появилась во дворе Шереметов, была жена Алексея Иосифовича. Вот она набрала охапку дров и быстро убежала в дом. Впрочем, нет, не жена. Та не проявила бы такого проворства. Скорее всего, это была старшая дочь Шереметов, школьница. Это она шустрым мышонком скрылась за дверью. А вот и они, ее родители. Они вышли и тут же остановились в удивлении. Голосов их не было слышно, но они разговаривали — изо ртов вымахивал парок. Жестикулировали. И жесты эти указывали на то, что людей немало удивили невесть откуда взявшиеся дрова. Алексей Иосифович собрался было расчистить тропу, когда у ворот столкнулся со сторожем, направлявшимся к ним тоже с дровами. Тот опешил, увидев штабеля поленьев, выложенные у стен. Выронив дрова, он тоже заговорил, энергично размахивая руками. Видимо, и он вместе с хозяевами дома пытался теперь проникнуть в тайну почти сверхъестественного появления спасительных дров: в самом деле, откуда они, — ведь только святой дух мог доставить их сюда, не оставив ни малейшего признака своего присутствия, ни единого следа после себя!..

Что уж они там решили, Фрунзе не знал. Он видел только, что сторож тоже отыскал для себя лопату и принялся расчищать снег, чтобы шереметовский выводок мог высыпать на улицу и побежать в школу.

Тоадер Фрунзе вышел во двор, решив заняться уборкой снега. Но за него это сделал трудяга-ветер. Он подмел не только двор, но и навел порядки снаружи, отогнав снежный вал к забору столовой, что стояла по ту сторону улицы, как раз напротив райкомовского здания. Но на задах, в садике, принадлежавшем райкому комсомола, снегу было хоть отбавляй. Комсомольскому вожаку пришлось потрудиться в поте лица, прежде чем он прорубил тропинку до ветхой дощатой общественной уборной. Затем ему пришлось такие же тропы проделать и до дверей складских помещений, где были сложены привезенные ночью дрова.

Между тем в городе становилось все оживленнее. Всюду шла война со снегом. Горожане отгребали его от своих домов, школьники, красные от натуги, проделывали дорожку прежде всего к коммерческой столовой, где даже в самые тяжкие, голодные времена можно было получить кусочек мяса с белым хлебом и выпить глоток молока. Широко распахнулась дверь этого заведения, и все запахи — свежего снега, выстиранного, развешенного на веревках и смерзшегося белья, легких дымков над трубами, скудной, постной еды — все они были тотчас же заглушены запахом жареной свинины, вырвавшимся из этой распахнутой настень двери. Фрунзе мог поклясться, что жаркое приготовлено из молодого поросенка... Он даже

явственно ощутил на своих зубах его тонкую, хрустящую корочку-шкурку. Ведь только таких поросят разрешалось резать и палить соломой. Со взрослой свиньи всем строжайше предписывалось обязательно снимать кожу и сдавать ее государству.

И вскоре те же запахи из коммерческой столовой или отсутствие табака выгнали со своего двора и Шеремета. Вот уже слышно, как он поднимался по ступенькам лестницы в райком комсомола. По пути заглянул в буфет и купил там свои традиционные две папиросы — «Казбек». На улице успел, видно, порядком озябнуть. Войдя в кабинет, сейчас же наклонился к зеву печки, чтобы прикурить, а заодно и согреться.

— Значит, снова бросаете? — поздравившись, спросил, улыбаясь, Фрунзе.

— Это ты о куреве?.. Бросаю. А вот ты-то когда бросишь свои партизанские привычки?

— А чем же досадили вам партизаны?

— Ты думаешь, я не знаю, откуда эти дрова?

— «Из лесу, вестимо», — ответил Тоадер известной стихотворной строкой.

— Вот, вот!

— Мы выбирали только сухие...

— Кто вам разрешил?

— А что ж, мы должны были замерзнуть?

— Кто это «мы»?

— Известно кто: работники райкома. Тот поганец из лесхоза опять отсылал нас в оргеевский лес!

— Твой воспитанник. Чего ж ты жалуешься?!

— Не я принимал его в комсомол.

— Вот как! — не на шутку удивился Шеремет. — Ты что же, отвечаешь лишь за тех, кого лично принял в комсомол?

— Отвечаю и за других.

— Да, брат, придется ответить. За все сразу! Эх, Фрунзе, Фрунзе!

Алексей Иосифович был не в духе. Это понял Тоадер в тот момент, когда Шеремет, едва докурив одну, принялся за другую папиросу. И конечно же, не один дрова заботили секретаря райкома партии.

— В такой голодный год не хватало нам еще вот таких морозов и сугробов, — сказал он хмурясь.

— На санях легче будет привезти хлеб от станции, — попытался успокоить его Фрунзе. Но Шеремет упрямо отмахнулся:

— А кто проделает дорогу в таких сугробах? Народ-то истощен, обессилен. Лопата вон валится из рук. А ты...

Они уже вдвоем принялись за пачку «Казбека» из запасов Фрунзе. Шеремет какое-то время рассматривал желтые пятна на папиросине.

— Что с твоим табаком? Не заплесневел?

— Нет. Вчера уронил их в снег. Подмокли малость.

— Все мыкаешься без портфеля?

— Без него.

— Ну, так тебе и надо!

Побранив Тоадера еще за какие-то промахи, Шеремет стал помогать ему в составлении текста телефонограммы, которой комсомольцы всех селений призывались немедленно выйти на расчистку снегов на дорогах, ведущих к железнодорожным станциям.

— Ну, а как дела у вас, в Кукоаре? Вообще — в твоей зоне?

— У нас чуток легче, Алексей Иосифович.

— Опять ты хвастаешься!.. «Лесная зона»!.. «Нам полегче»... «У нас есть желуди, виноградные выжимки, вино...» Тебе, Фрунзе, нужно немедленно вернуться в Кукоару. Обязательства требуют. Сейчас же!

Предшественники Шеремета на этом посту были более удачливыми. В урожайные годы села в два-три раза больше сдавали хлеба государству, чем полагалось по плану. За это секретари райкома и другие руководители района были премированы деньгами и другими ценными подарками, на них поблескивали хромовые пальто, а на пиджаках — ордена Отечественной войны первой и второй степени. И какой был почет! Слово на дрожжах этого богатого хлеба, быстро подымались начальники и в своих должностях. Волна этих повышений и возвышений подхватила и Шеремета, подбросив его с первого этажа, из парткабинета, на второй — в кресло второго секретаря райкома партии. И тут вдруг все потускнело: начались засушливые годы. И если на небе месяцами не было ни единой тучки, то на сердце Алексея Иосифовича они почти никогда не рассеивались.

Началось самое страшное, что может только быть в жизни людей, — бескормье. Были подметены все сусеки, обшарены чердаки, собрано все до последнего зернышка, чтобы рассчитаться с государством. Но планы не выполнялись даже в самой малой степени. Людям становилось невмоготу. Не слаще было и самому Шеремету. Жена подвалила ему еще одну дочку, в большой и без того семье появился еще один рот. Жить же приходилось на две продуктовые карточки родителей да на то, что полагалось иждивенцам. Трудно, одним словом. Но и это еще не все. К жене прицепилась базедова болезнь — в местной воде, прекрасной на вкус, не хватало йода. Не принимать никаких мер тогда, когда у самого близкого тебе человека вырастает зоб, Шеремет не мог, и он просил, чтобы перевели его в какой-нибудь другой район. Больная же была еще более нетерпеливой. Грозилась немедленно уехать отсюда и даже оставить мужа одного со всем этим выводком. Ну, может, не со всем, а поделит пополам: двух

возьмет с собой, а двух — ему. И пускай тут живет как хочет. Пускай выкручивается...

И вот теперь эти снега. Сейчас только понял Шеремет, при каких обстоятельствах могла родиться поговорка: «как снег на голову». В этот год он действительно обрушился не только на дороги, улицы, крыши домов, но и на его бедную голову. Однако ни он сам, ни другие люди района не сидели сложа рук. В селах все от мала до велика вышли с лопатами на улицу, расчищали дорогу в направлении райцентра. А рабочие и служащие городка пробивались им навстречу, как бы протягивали друг другу руки через эти белые молчаливые пространства.

Только во второй раз в своей жизни видел Тоадер Фрунзе такую пропасть снега. Первый раз это было во время войны, когда шли ожесточенные сражения под Москвой. Он помнил, что тогда вся Кукоара была поднята на борьбу со снегом. Все, кто только мог стоять на ногах и держать в руках лопату, были выгнаны вон из домов и получили свою дневную норму — расчистить столько-то метров дороги. К концу дня, когда все выполнили свои нормы, от Кукоары и до леса, по руслу старой дороги, была прорыта в снегу широкая и глубокая, как противотанковый ров, рваная по краям траншея, в которой не было видно людей, саней, лошадей вместе с дугами. Казалось, что ты находишься за белой стеной какой-то крепости. Идешь по этой странной дороге меж высоченных снежных валов и ничего не видишь ни справа, ни слева от себя, кроме двухметровых или того выше снежных стен. Когда же выкарабкаешься наверх, то сразу же увязнешь там по шейку и будешь беспомощно барахтаться на одном месте, пока не лишишься сил от обуявшего вдруг тебя страха, когда покажется, что ты вот-вот утонешь в этом бездонном белом море. Днем, когда такие дороги проделаны во все концы и во многих местах переkreщиваются, люди веселеют. Рядом с оживленными взрослыми дети играют в снежки, кувыркаются, устраивают кучу малу. Но не дай бог оказаться в этом снежном царстве ночью! Вокруг ни души, кроме тебя; тишина — ни одна ветка не шелохнется, не пролетит птица; в сумеречной этой тиши снег обретает цвет висящего над ним неба, словно какой-то неведомый живописец провел по ослепительной белизне сугробов щеткой с ультрамарином, придав всему синеватый и холодноватый оттенок смерти...

Именно в такую пору возвращался Тоадер Фрунзе в свою Кукоару. Он шел и слышал, как в Хоштянке воют голодные волки. После андреева дня они бродят в окрестностях селений стаями и считаются весьма опасными. Нередко по ночам увязываются за саями, поэтому люди всегда держат наготове топоры, вилы, спички, жгуты соломы, непрерывно курят сигарки. Было жутковато оттого, что ты зажат

с двух сторон этими белыми крепостными стенами и зверь мог внезапно накинуться на тебя или на твою лошадь откуда-то сверху, справа и слева. Будь ты на просторе, ты мог бы изда-лека увидеть волков по синеватым огонькам их глаз, а тут лишен такой возможности: оттого и берет в полон робость.

Так уж создан человек. После захода солнца он уже не чувствует себя всемогущим. Достаточно ему увидеть мертвенно-холодную синеву снежного владычества и услышать, как в чаще недалекого леса завывает волк, человек ежится от страха, под одежду его заползает противный холодок, по спине колючей россыпью бегут мурашки.

Говорят, в такие минуты у людей волосы встают дыбом. Нет, Тоадер Фрунзе этого не чувствовал, шапка на его голове не шевелилась, не стронулась с места ни на сантиметр. Но холодная дрожь прошла по всему телу, по всем косточкам и добралась, кажется, до самого сердца. Лишь когда замерцали первые огоньки на окраине села, душа отошла, окунулась теплой и светлой радостью: слава богу, обошлось! Ему даже показалось, что он уже на горячей печке, в которой томятся на раскаленном поду пироги, и что он слышит теплые ароматы хлеба и вина, подогретого вместе с сахаром и медом.

5

За один только последний год Иосуб Вырлан как-то сразу сдал, постарел. Сказать правду, красавцем-то он никогда не считался, но в молодости был достаточно ладен и пригож. Теперь же лицо его осунулось; когда-то толстые, мясистые губы сложились в трубку, будто Вырлан всю жизнь играл на тромбоне. Старость не радость, она никогда не красит. Вернейшим признаком дряхлости Иосуба Вырлана было то, что, идя по улице, он разговаривал сам с собой.

Впрочем, такой грешок водился за ним и в его молодые годы. Он и тогда бормотал что-то себе под нос. Бормотал, обдумывая что-то и усмехаясь при этом. От этой загадочной усмешки ничего хорошего не жди. Черт знает что может прийти в странную голову этого человека! Иосуб может набрать в степи колючего татарника или вообще сухих колючек и ни с того ни с сего устелить ими твой двор, лестничные ступеньки, завалинку, крыльцо. И сделает он все это для того только, чтобы поутру видеть, как его сосед, матерясь на чем свет стоит, прыгает то на одной, то на другой ноге, извлекая из них занозы. Иногда соседу или соседке приходилось ложиться и задира́ть ноги вверх и проделывать все это на глазах Иосуба, который стоял за своим забором и от души хохотал.

За такие шуточки Вырлана многократно и жестоко бивали. Родственникам нередко приходилось приносить его домой на руках: отделанный на совесть, сам он уже не смог бы добраться до родимого порога. И поделом! На какую только пакость не способен Иосуб!

Вот каким он был, этот Иосуб Вырлан! Надо ли говорить, что такого человека не очень-то высоко ценили в родном селении, где о нем могли забыть начисто, если б он не напоминал о себе своим глупым художеством. Он мог шляться, скитаться, бродить где угодно и сколько угодно, о нем никто бы и не пожалел: пропал, ну и слава богу!

Но вот пришла Советская власть. А ей, оказывается, есть дело до всех людей — хороших и плохих. Ей было далеко не безразлично, чем эти люди занимаются. И не в последнюю очередь — плохие люди, то есть бродяги и бездельники. Они могут и убить, и зарезать человека ночью на большой дороге в голодную пору. В поисках хлеба многие бродягами стали поневоле — они разбрелись по всем городам и весям. Только и слышишь, что такой-то замерз на крыше вагона, такого-то бандиты уволокли в лесной овраг и там прирезали, ограбив предварительно. Иные отправлялись за рожью, свеклой и картошкой даже в Станислав и в Коломью, а приходили с мешками бураковых выжимок, добытых на каком-нибудь сахарном заводе. Случалось и так, что люди возвращались из своих странствий ни с чем, избитые, раздетые донага и разутые. Кое-кто пропадал и вовсе. Среди таких оказался вроде бы и Иосуб Вырлан.

Люди, которым было поручено отыскать причину его исчезновения, пришли к выводу, что дальше Бельц Иосуб не мог никуда уехать или уйти: в этом у него не было никакой нужды, поскольку в его доме было обнаружено мешков пять кукурузы в зерне, кадушечка пшеничной муки, не начатая бочка брынзы. Во дворе был скот — корова, овцы. Такие люди, как Иосуб Вырлан, зимою резали только кур и поросят, чтобы не растрачивать на них зерно. Остальную живность Иосуб не трогал — корову и овец можно продержать зиму на других, более дешевых кормах, на соломе, сене и прочем.

Сын Вырлана, помогавший в поисках Иосуба, сообщил, что у его отца была когда-то мысль продать теленка, но он почему-то этого не сделал. Может, потому, что не успел. Рассказывая, сын не скрывал своей неприязни к отцу: Иосуб ведь сделал его, своего сына, посмешищем на селе, из-за чего бедняга до сих пор не мог жениться: никто не хотел отдавать свою дочь в дом сумасброда.

Вскоре после таинственного исчезновения Иосуба из Кукоары Тоадер Фрунзе убедился, что никто всерьез и не думает разыскивать его:

кому же нужен такой сатана! Пускай черт его и разыскивает! Может, довела его до беды привычка шляться по базарам да прикладываться к чужим стаканам (впрочем, стакан-то, как мы уже успели убедиться, у него был свой, да винцо чужое). Может, замерз на обратном пути и волки его сожрали или провалился в чей-то колодец, присыпанный рыхлым снежком, и не мог выбраться оттуда без посторонней помощи — мало ли что может случиться с пьяным бродягой!

— Жил не по-человечески. Не по-человечески, наверное, и умер, — заключил Костак Фрунзе.

Он теперь работал секретарем сельсовета и по уши был завален разными делами. С утра до ночи сидел в конторе и составлял списки крестьян, которым государство должно было выдать семенную ссуду зерна, и у него не оставалось ни минуты, чтобы заняться поисками Иосуба.

— Если живой, то сам скоро объявится, — рассудил Костак, — потому как плохая вещь никогда не потеряется.

Говорил он так, находясь вместе с другими мужиками во дворе Вырланов. Не успел он сказать это, как от скирды обмолоченной кукурузы раздался жеребячий хохот. Оказалось, что это была вовсе не скирда, а большой шалаш, сооруженный Иосубом для того, чтобы в нем скрываться. Скрываться единственно из желания еще раз поиздеваться над своими односельчанами, над местными властями, в первую очередь поглядеть из своего убежища, как они мучаются, разыскивая его, — от него и этого можно было ожидать!

6

Члены поисковой группы выволокли Иосуба из этой берлоги и на совесть отлупили, после чего пострадавший начал засыпать жалобами район. Во всех бумагах уверял, что отколотили его за то, что не хотел подавать заявление в колхоз. Что же другое он мог придумать для районного начальства? Сказать правду? Тогда могут еще крепче надавать по шапке. Чтобы как-нибудь не проговориться, не открыть истины, он старался держать язык за зубами, не разговаривал даже сам с собой, что обычно делал под уклон годов. Случалось такое с ним лишь во сне. Тогда выборматывал невнятно одну и ту же фразу:

«И какой черт меня дернул!.. Нужна мне была эта терновая водка!»

На людях же он всю костерил местных руководителей, а в особенности тех односельчан, которые так неласково прошлись своими кулаками по его бокам, уверял встречного и поперечного, что его избili напрасно и что он этого так не оставит. Ночью же, в постели,

ворчал: «Глупая башка... совсем выжил из ума на старости лет... И все из-за этой проклятой терновой водки!»

Три раза Иосуб Вырлан собирался жениться на вдовой Виторе. Но ему обязательно что-нибудь да мешало.

Однажды они вдвоем отправились за грибами. Там отведали каких-то вдовушкиных запасов, после которых у них начисто отшибло память. Целую неделю бродили по лесам, оврагам и перелескам, словно бы чумные. Дьявол ее знает, эту Витору, что она там напичкала в еду. Ведь она, клятая, все лето собирает разные травы, коренья, сушит их, а потом сует без всякого разбора в пищу, так что от ее угощения можно не только обезуметь на неделю, но и вообще отдать богу душу.

После грибной прогулки Иосуб решил не очень-то часто навещать вдову. Но не зря, видно, говорится в народе: где волк сожрал осла, он девять лет кряду будет приходить к тому месту. И Вырлан подобно волку опять стал частенько появляться на тропинке, ведущей в хижину Виторы. Жила она теперь припеваючи. Во всех близлежащих селениях позакрывались церкви, и хитрющая баба извлекла из этого для себя большую выгоду. Приютила в своей сторожке божьего угодника, старого монаха, и он тайно и крестил, и венчал, как в настоящем храме господнем. И жизнь заулыбалась Виторе: она даже поросенка кормила теперь калачами. Мог ли Иосуб стоять в сторонке от этих калачей, не запустить в них своих пальцев с длинными ногтями (в зимнюю пору он их вообще не стриг, уверяя и себя и других, что без ногтей руки больше мерзнут), мог ли отказать себе в удовольствии полакомиться рисовой кутьей с изюмом, холодцом из петушиных потрохов, запить ломтик душистой просфоры глотком хорошего вина!

Желание вкусить всего этого, и по возможности скорее, превозмогло его опасения перед вдовушкиными снадобьями, заставило забыть недавнее отравление ими. Короче говоря, Иосуб вновь зачастил к Виторе, пропадал в ее лесничьей сторожке чуть ли не всю зиму, терпел там страшную духотищу, ибо вдова не жалела дров и натапливала свое жилище так, что Иосуб сидел за ее столом в распахнутой рубашке и все время почесывался. Так бы могло продолжаться долго, если б не этот дьяволенок Илие Унгурану, поднявший шум на всю округу. Выступает на собраниях, кричит, жалуется на то, что старый монах, этот поп-расстрига, этот контра, тайком венчает его комсомольцев и комсомолок, а по ночам крестит детей даже у коммунистов. В качестве примера назвал директора банка, прибывшего в эти края с самого Урала, — тот, мол, окрестил в Виториной сторожке всех своих троих малышей. Когда этот шум докатился, добрался до старческого уха

божьего слуги, тот подобрал полы своей рясы и скорехонько убрался куда-то. Одновременно с его бегством испарился и источник вдовушкиного обогащения. Все! Ни тебе вина, ни тебе холодца, ни тебе калачей. Виторе ничего не оставалось, как снова уповать на грибы, коренья, травы.

Видя такое дело, Иосуб мысленно скомандовал:

«Берегитесь, пятки, не то догоню вас!»

Не хватало, чтобы он опять питался ее мухоморами и другим разным дурманом! Давно ли выворачивало его наизнанку от ее припасов! Тогда он как-то еще вырвался из лап смерти, но надеяться на такой счастливый исход впредь он не мог. Из любого, даже самого несчастливого случая разумный человек может извлечь для себя пользу, сделать правильный вывод. А Иосуб был совсем неглупый человек. Он решил, что ногги его теперь не будет на подворье лесничихи. Он бы наверняка сдержал слово, данное самому себе, если б не одно событие, смешавшее все его карты.

Поблизости от сторожки лесничество отвело новый участок для порубок. Иосуб пришел туда понаблюдать, а заодно и прикинуть, нельзя ли для себя извлечь какую-нибудь выгоду из этого события. Он явился не один, а вместе с сыном в тот момент, когда лесорубы шаг за шагом приближались к поляне, сплошь занятой зарослями терновника. Сын подогнал туда рыдванку, чтобы нагрузить ее кустарником, верхушками только что спиленных деревьев, другим разным лесным отходом, выдаваемым ему по окупленным талонам. Иосуб помогал ему в этой работе и вдруг заметил Витору. Она направлялась к своей хижине с огромной корзиной терна, везла свою добычу на двухколесной тачке, не глядя по сторонам и не обращая ни на кого внимания.

— Э-гей, Витора! — не вытерпев, окликнул ее Иосуб. — Как поживаешь?

— Слава богу. Ягоды вот от терновника вожу. Видишь, рабочие уж к самой поляне подобрались, порубят кустарник — даром пропадет добро. Ягодки-то спелые, сладкие...

— Почему же не приглашаешь на пироги? До смерти люблю пироги с черешней да терном.

— А где я возьму муки?

— Гм... Верно, с мукой нынче плохо... Чего же ты собираешься делать с такой пропастью ягод? Сушить про запас или, может, пустишь в продажу?

— Сама решу, что с ними делать. В советах не нуждаюсь. Может, высушу, может, сварю варенье. Придумаю что-нибудь.

«А ведь она не в духе, — подумал Иосуб, — не сладко, видать, живет ей без монаха-то. И на меня, пожалуй, сердится, что не заглядываю к ней. Чего доброго может еще и отравить своим зельем, отправит на тот свет от обиды».

В тот день он больше не видел ее, а на следующий она вновь курсировала мимо со своей тележкой. Иосуб терялся в догадках: для чего же, в самом деле, лесничиха производит эти заготовки — навозила, чай, целый ворох этих кислотовато-сладких, терпких ягод? Ведь эта лесная ведьма ничего не делает зря. Он-то, Иосуб, очень хорошо знает ее!

«Секретничает, чертова баба!» — сокрушался он мысленно.

Каким бы придурком ни прикидывался Вырлан, но толк в хозяйстве знал, хоть и не обременял себя лишней работой, приберегал здоровье. Поразмыслив хорошенько, он пришел к выводу, что у этой Виторы кроме терна есть еще кое-какой запасец и что имеет смысл перейти к ней на жительство. Пускай сын вступает в колхоз, а он, Иосуб, укроется в лесной сторожке и будет в ней жить-поживать, как в сказке, да поджидать лучших для себя времен. Монаха тут теперь нету, делает, говорят, где-то глиняные горшки и миски, приторговывает ими. Илие Унгурияну не гавкает более на своих собраниях, оставил вдову в покое, не поносит ее на чем свет стоит. Так что можно спокойно перебраться к ней хотя бы на одну зиму. А там видно будет. Затем, когда они решат пожениться, хозяйка лесной сторожки уж не удержится, чтобы не заколоть кабанчика. Хороши у нее кабанчики, прямо на загляденье! И корма не надо далеко искать: полон лес желудей, бери лопату и нагребай сколько угодно, отвози на тележке в свою кладовку или в подвал. Видел ее Иосуб и за этим занятием.

До поляны вокруг ее сторожки никому не было дела. Не нужна она будет и колхозу. На что уж скуп был помещик, но и он никогда не вспахивал этой поляны, размещая на ней разве что пасеку, и то не каждое лето. Правда, Витора взрыхляла тут небольшой кусок для картошки, кукурузы, фасоли, бобов, лука, но весь ее урожай мог бы свободно поместиться в цыганской котомке. Иосуб же надеялся со временем более рационально использовать этот участок земли. При колхозах, говорят, нельзя будет держать лошадей на частных дворах. Но, во-первых, Вырлан и не собирается быть колхозником, а, во-вторых (он и это взял в соображение), можно обзавестись осликом, ишачком, на которого такой закон не распространяется. Ишак пригодится в хозяйстве. С его помощью можно будет и вспахать и засеять эту поляну. На нем же съездить в кооператив за керосином, солью, спичками, другой мелочью...

Мысль эта взбудорила старого Иосуба. В нем пробудилась вдруг лошадиная силища. Трудился на погрузке лесных отходов, как в лучшие молодые свои лета. В село не захотел возвращаться.

— Я останусь здесь.

— Опять на тебя напал жениховский зуд! — улыбнулся сын. — Стоило только увидеть ее...

— Тссс... тише ты!

— А не пора ли тебе остепениться, отец?

— Не твоего ума дело. Я уж давно остепенился. Только вот гляну, что она там делает с этим терном...

На этот раз его разведывательный поход к вдове затянулся надолго, потому что попал он там как кур во щи в превеликую катавасию.

У самых дверей сторожки его остановил визгливый голос, проникший аж через стены:

— Секретарь напивается как свинья, делает настоящий погром во дворе Негарэ... Фуркуца, не разобравшись, стреляет в спину... Потом узнает, что убит не председатель...

Костаке давно уже работал секретарем сельсовета, а люди по старой привычке продолжали величать его председателем.

— Человек шел из сельсовета. И я думал... Но и этот для нас с вами не безобидная овечка. Он ведь возглавлял отряд кукоаровских осодмиловцев!..

— Мо-о-ол-чать!.. Ты поднял на ноги всю милицию, скотина!

— А ведь имел все возможности пристрелить председателя, когда я выманил его из избы! — неожиданно послышался голос, хорошо знакомый Вырлану.

— Тогда я не мог стрелять мош Профир! Председатель вышел с ребенком на руках. Я мог бы попасть в ребенка...

— Все вы растяпы. Вáлите теперь один на другого!

— Председатель разговаривал со мной за акацией, у колодца. Фуркуце было с руки пулянуть в него...

— Говорю ж — ребенок... Как я мог стрелять?..

— И ты, баде Профир, не лучше! — проврался вновь звонкий, неприятный голос. — Не я ли приказывал тебе подбросить в огород председателя восемь мешков с кукурузой, чтобы потом люди могли уличить его в краже зерна, приготовленного для голодающих!.. Люди пухнут от голода, а этот гребет все себе. Хороша власть!.. Вот бы чего могли сказать мужики!.. А ты вместо восьми положил только четыре мешка, да и те неполные...

— То, что полагалось мне, я отнес. Нагрузил мешки пустыми початками да камнями и отнес... А за дедушку Андронаке я не отвечаю. Он вот перед вами, пускай скажет, как было дело...

Услышав такое, Иосуб должен был бы попытаться поскорее убраться с этого места, но он почему-то не сделал этого. Стоял как прикованный к той двери. Может, любопытство, может, запах жареного мяса, вырывавшийся из трубы вместе с дымком, может, не менее приманивающий запах терновой водки задерживали

его тут, кто знает! Чертова баба эта Витора, из всего может гнать свой самогонщик. Даже из бузины, когда та созреет. Иосуб сам пробовал бузиновку, и ничего — самогон как самогон, покрепче даже хлебного будет. А теперь вот пахивает, шибает в нос этой терновкой. В другое время Иосуб поторопился бы войти в дом, чтобы поскорее снять пробу с нового напитка. Он не прочь бы и посидеть с другими людьми, разделить с ними беседушку, потолковать о том о сем. Особенно с людьми важными. Для этого он и попа хотел сделать своим кумом. И Профир Коркодуш, который только что подавал свой голос там, за стеной сторожки, был важной птицей в Кукоаре, Иосуб выпил бы с ним чарку-другую с преобладающим удовольствием. Но разговор в избе насторожил его.

Вырлан знал, что сейчас в селе всюду шуровала милиция, разыскивая злодея, который застрелил осодмиловского начальника. Приехал в Кукоару и районный прокурор со своими следователями, чтобы разобраться в запутанном деле с мешками, оказавшимися в усадьбе Костак Фрунзе. Нет уж, лучше убраться отсюда пока не поздно, пока не влипнешь в какую-нибудь неприятную историю. «Я ничего не видел, ничего не слышал, и меня это не касается!» — наставлял себя Вырлан, не подозревая, что он уже влип в эту самую историю и что не так-то просто ему будет выпутаться из нее. Достаточно ему было сделать один шаг от сторожки, как его тут же схватили и втокнули вовнутрь помещения. За ним, оказывается, давно следили.

Худо бы пришлось нашему шутнику, если бы в доме не оказались некоторые его односельчане. И Профир, и Андронаке замолвили за него словечко, заверив остальных, что Иосуб, направляясь к лесничихе, не замыслил против них никакого зла. Его целью была хозяйка этого дома, да, может, еще свиное жаркое вместе с терновым самогоном. Профиру и Андронаке поверили, пригласили даже к столу бедного Иосуба, хотя он с удовольствием бы променял сейчас и самогон и жареное свиное мясо на обыкновенную луковицу и постную мамалыгу, лишь бы его поскорее отпустили домой. Но те, кто его задержал, и не собирались отпускать мужика. Не такие они были дураки, чтобы отпустить в Кукоару, кишащую милиционерами и следователями, возможного доносчика. Лучше будет, если он посидит с ними тут столько, сколько потребуется. Даже на улицу за дровами он отправлялся под конвоем человека, вооруженного автоматом.

Не знал Иосуб, что более двух месяцев ему доведется провести в заточении. Правда, без дела он не сидел. Без конца поджаривал семечки, лузгая их дено и ночью, думая свою тяжелую думу. У него уж язык горел от подсолнечной скорлупы, внутри все пылало от тер-

новки, от нее же, окаянной, сердце сдавало, стучало с перебоями. Кое-что мастерил по дому, чтобы хоть чем-то занять себя и скоротать время. Делал даже с помощью накаленного докрасна песка своеобразные цветы из кукурузных початков, называемые пуканцами. Вскоре Иосубу пришлось стать и сестроу милосердия, ухаживать за раненым бандитом. В обязанности Вырлана входило подавать по требованию лечащегося известную посудину, а затем выносить ее во двор под присмотром кого-нибудь из охраны. Словом, бедный наш ухажер натерпелся такого, что проклинал себя, особенно же тот день и час, когда понесла его нелегкая к дверям этой хижинки. Не обошли эти проклятия стороной и саму Витору — ей, пожалуй, влетело еще больше!.

Где-то в середине зимы Иосуб понял, что беда отодвинулась от него, что банда Гице Могылды перебралась в другие леса. Правда, хитрая Витора помалкивала об этом — не в ее интересах было освобождение узника. Но Иосуб был догадлив. Он судил о резком изменении обстановки по одной детали: из меню хозяйки совершенно исчезло мясо, теперь на завтрак, обед и ужин она подавала лишь терновый или черешневый взвар, компот то есть. Самогон был выпит бандитами полностью, а сушеных терна и черешни на чердаке Виторы было столько, что их хватило бы на несколько зим.

В конце концов Иосубу стало невмоготу от этого компота и, выждав момент, он утек на свое подворье в Кукоаре. Но и там, рассудив, что береженого бог бережет, не показывался на люди, соорудил из кукурузных снопов упоминутую выше берлогу и отсиживался в ней все время, когда его считали без вести пропавшим. Может, его бы и не нашли, если бы он сам не выдал себя своим жеребьичим хохотом: разыскивавшие его односельчане показались ему до такой степени смешными, что он не выдержал и захохотал, будто кто-то подкрался к нему сзади и пощекотал под мышками.

— Ура-а-а, братцы!.. Вот он я!!! — орал он, когда его выволакивали, как медведя, из шалаши.

Вот тут-то несчастный Костак Фрунзе и не стерпел — наградил насмешника столь звонкой пощечиной, что услышала вся окраина. Члены поисковой группы прибавили к этому несколько своих увесистых тумачков, которые прищипли по ребрам Иосуба. В довершение все по очереди плюнули в его нахальную рожу и поскорее покинули двор, как покидают обычно место, где обитает прокаженный.

Костак Фрунзе был очень вспыльчив, и эта-то горячность нередко подводила его, дорого обходилась ему, хотя-сам он и не считал за недостаток такую черту своего характера. Больше того, она давала ему право упрекать

своих сынов. «Вы, — говорил он им, — как мамалыга, из вас что угодно можно слепить. Тесто с глазами! В кого только пошли!.. Жены вас обрадуют и будут ездить верхом!»

А вот сейчас терпение, выдержка, скажем, старшего сына очень не помешали бы ему самому. Иосуб Вырлан, как и следовало того ожидать, не преминул воспользоваться вспыльчивостью нового секретаря сельсовета. Носился всюду как угорелый, метал в адрес Костак громы и молнии, повсюду жаловался:

— Меня колотят!.. Избивают меня потому, что не вступаю в их колхоз!.. Но ничего, они у меня ответят!.. Я найду на них управу! Я не хуже ихнего знаю советские законы!.. Никто не имеет права силком тащить меня в колхоз!..

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

— О господи!.. Есть нечего, а он усы себе отстрил!

— Ну и что с того?.. Усы еды не просят.

— Ума тебе не хватает, старый!

— А зачем? Я ж ведь взял себе умную жену...

— А куренье?.. Опять ты ухватился за эту соску вонючую!..

Костак Фрунзе отпустил себе жесткие усы с подкрученными кверху острыми кончиками. Лицо от этого сразу же сделалось чужим, казалось более продолговатым, осунувшимся. За пышными усами нос как бы уменьшился в размере. Постоянная поперечная морщина на лбу, с годами углубляясь, сейчас вроде бы опустилась до основания носа и разделяла лицо на две равные части — верхнюю и нижнюю.

Катинка сердилась. Но злили ее, конечно, не мужнины усы. Они были лишь предлогом. Не нравилось ей его непостоянство. Она не впервой видела его при усах. Но стоило ей только привыкнуть к ним, увидеть в них нечто даже привлекательное, Костак их сбрасывал, являлся перед женой и сыновьями гололицым, опять каким-то чужим. Столь же непоследовательным он был и относительно курения. Бросит — не курит год, другой. А потом начинал снова и курил с какой-то голодной жадностью, будто наверстывал упущенное. Видя такое, Катинка резонно замечала:

— Если ты можешь обходиться без курева годами, почему же не оставишь эту гадость совсем!

— Вы, женщины, мудрее нас, мужиков. Вы всегда правы, — лениво отшучивался Костак, чувствуя, что жена его действительно права. Он и сам бы не мог сказать, почему отра-

чивает усы, а затем снова убирает их со своего лица, почему бросает курить, а через какое-то время снова берется за сигарку.

Чтобы как-то оправдаться перед домашними, приводил слабые доводы, призванные объяснить им такое его поведение. Усы-де он сбрасывал только зимой, потому что от ледяных сосулек на них можно простудить зубы. Насчет курения помалкивал: тут уж ничего не придумаешь в свое оправдание. Он догадывался, что, браня мужа, Катинка беспокоилась не об одном только его здоровье. Она ведь знала, что всей его зарплаты хватало как раз на пять-шесть стаканов махорки. Да и здоровье у Костак было далеко не богатырским.

— Тебе бы родиться в городе! — говорила ему Катинка, когда видела, что ее муж не умеет как следует владеть косой, когда во время жатвы все время жаловался на боль в пояснице, когда быстро уставал на прополке.

Но это было давно. Со временем он научился орудовать косой не хуже других мужиков, мог теперь с любым посостязаться и на жатве, и на прополке, и на других полевых работах. И все-таки жена продолжала твердить свое:

— Нет, Костак... Что бы ты там ни говорил, а руки и ноги твои не для пахаря. Они — для горожанина...

Правду сказать, как руки, так и ноги у Костак Фрунзе были в самом деле не мужицкие, не крестьянские — тонкие, правильной формы. Ногти на пальцах рук и ног Костак продолговатые, с ровным полукружьем, и блестят, как у младенца, словно покрытые лаком.

— Ох ты господи! — сокрушенно вздыхала Катинка.

У нее была одна забота: удержать мужа возле земли, приохотить его к ней, а значит, и сохранить для себя — она-то уж, во всяком случае, никогда не уйдет от своих полей, огородов, виноградников. Сыновья все более отдаляются от нее. Один учится в средней школе, ночует в интернате и только по воскресным дням появляется в Кукоаре, как молодой месяц; а старший — вообще отрезанный ломоть, большим начальником стал в районе, всем комсомолом там командует и за все села отвечает. Часто мать остается одна-одинешенька со своими заботами.

За последние месяцы, хотя муж и старший сын находились в родном селе, она все равно видела их редко и так коротко, что не успевала как следует поговорить с ними. Они приходили домой поздно, измотанные до последней степени, наскоро ужинали, перебрасывались двумя-тремя словами и сейчас же валялись спать. Да и о чем она с ними или они с ней могли говорить, когда интересы их простирались в разных областях, когда они не имели одного общего дела — главного побудителя обоюдонеобходимого и увлекающего разгово-

ра?! Катинка вернется откуда-то с мотыгой, скажет мужчинам: «Нынче я прополола огород до старой груши!» Те посмотрят на нее и промолчат. Они-то, конечно, знают про ту грушу, она же понятия не имеет об их работе, об их каких-то протоколах, собраниях, заседаниях, решениях, обо всех этих резолюциях и телефонграммах, какие они пишут — и не слишком грамотно — в огромных количествах. Не знает она положительно ничего о разных там справках и удостоверениях, о свидетельствах о смерти и рождении, о приемах в комсомол и об исключениях из комсомола. Да, далеко они ушли от нее, муж и старший сын, тяжело переживала Катинка это отчуждение. Нередко, в своем одиночестве всплакнув, она запевала одну и ту же унылую и протяжную песню:

Все-то мне думалось: счастье к счастью.
А оно уж сгорало в огне.
Сердце мое погрузилось в ненастье.
Ох, надо б сгореть и мне.

Впрочем, были у нее минуты, когда она гордилась своим старшеньким. Было такое, что гордилась и мужем. Но стоило остаться одной и взяться за веретено, сердце обливалось горечью и из груди сами собой лились слова грустной песни, очень созвучной однообразному и бесконечному пению веретена.

Жаловалась Катинка этой печальной песней прежде всего на мужа. Сын... он в ответе за все. Шуточное ли дело: уполномоченный райкома партии! Он и так замотался, сердечный. В любую минуту, днем или в глухую полночь его могут вызвать, и он должен поспеть всюду. Вон, рассказывают люди, на хлебном складе обнаружилось несколько мешков муки, наполовину перемешанной с песком. Там же нашли много мешков, в которых вместо набитых зерном кукурузных початков были одни голые кочерыжки. Сын теперь занялся расследованием.

Из города приехал прокурор Рошу вместе со своим следователем. От органов госбезопасности прибыл капитан, финн по национальности, с которым Тоадер Фрунзе был уже знаком. Весною 1944 года они вместе откапывали тела советских активистов, убитых оккупантами при захвате Молдавии.

А перед уполномоченным райкома партии в длинную очередь выстраивались все новые и новые проблемы, одна сложнее другой. Домой он забегал лишь для того, чтобы поест, малость перевести дух, успокоиться. В отношении родителей старался не вмешиваться, только иногда просил мать, чтобы при нем она не пела грустных песен — и без них на душе иной раз было так-то мутно, что хоть плачь. Тоадер Фрунзе понимал, как ей трудно, тяжело живется, но жалобами и причитаниями нельзя помочь ни себе, ни другим.

— Вы стали какими-то бессердечными. Ты и твой отец, — сказала она как-то,

— Погоди, мама. Настанет время, когда ты заплачешь от радости. То будут хорошие слезы. Ты станешь красивой от них!

— Не утешай меня, Тоадер. Знаю, что горе и радость — все от господ бога.

Ожесточились... стали бессердечными... Может, оно и так. Разве мать не видит, сколько у них обеих забот? Нужно срочно организовать медицинские пункты, а также помещения для общественного питания. И всюду нужны были дрова, дрова, дрова... А где взять такую уйму дров?! Снежные курганы отрезали селения от лесов, от виноградников, где штабелями сложены сухие сляги, которые пошли бы на топливо. Во всех концах Кукоары стоит треск: люди рушат плетни и заборы, чтобы обеспечить топливом школу, клуб, баню, медицинский и питательный пункты. В этих условиях у руководителей должны быть железные нервы и стальной характер, чтобы, как в военное время, поднять народ, произвести всеобщую мобилизацию среди населения, чтобы выстоять, не погибнуть.

В конце концов пробили санную дорогу до леса. Те, у которых были волы или лошади, возили по ней дрова, а безлошадные все время следили, чтобы дорогу не занесло снегом сызнова. Когда же на железнодорожную станцию в Бельцах или Калараше прибывал состав с зерном, все сани направлялись туда.

На каждом питательном пункте было по дюжине поварих. В их распоряжение поступали пшеничная, кукурузная и гороховая мука, всевозможные крупы, молотые бобы, комбинированный жир, пакеты с сушеной картошкой...

В Кукоаре было организовано несколько зерновых складов. В одних отпускалось зерно на еду, в других — для посева.

Следовательно, зерно проходило через десятки рук. С ним имели дело ночные сторожа, стряпухи, весовщики. Они должны были обладать предельной честностью, чтобы удержаться от соблазна погреть руки у такого добра. Но таких людей надо было подобрать заранее, провести с ними соответствующую работу, и это дало свои плоды. Приставленные к хлебу работали на совесть. Именно на совесть, поскольку не требовали никакого вознаграждения за свой нелегкий труд.

Каким счастливым был Фрунзе-отец, когда видел такое! Он радовался, смеялся, находясь среди односельчан, был бесконечно добр к тем, кто всего себя отдавал общему делу. Тех же, кто украл пшеницу, заменив ее в мешках псом, кто вышелушил кукурузные початки и насовал в чувалы камней, он задушил бы собственными руками — у него хватило бы на то характера!

Вор был расчетлив. Он орудовал не здесь, а на станции, где одновременно выгружались тысячи мешков, где кишмя кишали люди, снуют

взад-вперед — отыщи-ка потом среди них злоумышленника! Об уворованном хлебе спохватятся разве что через неделю, когда разыскать вора будет ничуть не легче, чем иголку в стоге сена. Нацеливался жулик также и на семенной фонд, полагаясь на то, что раньше весны никто не будет перевешивать зерно, — риск, стало быть, не такой уж большой, возможность быть изобличенным в краже сводилась до минимума.

Все это надо было учитывать Фрунзе-отцу и Фрунзе-сыну, всюду надо было отдать соответствующие распоряжения. Набегаются за день так, что замертво падают в постель, нередко засыпали даже за столом с ложкой в руке.

Однажды вздремнул Фрунзе Тоадер вот так-то всего лишь одну минуту. Очнувшись, увидел в своем доме жену Георге Негарэ Ирину. Страшно удивившись этому явлению, в растерянности заморгал глазами: не почудилось ли ему, не видение ли это? Откуда она взялась? Секундою раньше ее не было здесь. А теперь стоит у порога и тихо переговаривается с его матерью. И вообще давно никто не видел, чтобы эта женщина ходила по соседям и пускалась, как сейчас, в разные разговоры. С тех пор как она связалась с мош Пэтраке, Ирина сделалась замкнутой: никого не проводывала сама и никого не принимала в своем доме. Известное дело: те, у которых есть секреты от своих мужей, либо предаются пьяному разгулу, либо обрекают себя на добровольное заточение, избегают людских глаз, чужих языков боятся, а свой собственный запирают на замок. Больше всего остерегаются своих сестер, своячениц, соседок, всяких там кумушек, ближних и дальних родственниц. В высшей степени скрытности пребывала долгие годы и Ирина. Тем более странно и удивительно, что она пришла сейчас в гости к Катинке. Но Тоадер Фрунзе хоть и удивился, но вовсе не обрадовался госте: он очень не хотел, чтобы кто-нибудь из посторонних видел его разбитым, растерзанным нечеловеческой усталостью. И особенно ему было неприятно оттого, что таким он предстал сейчас не перед кем-нибудь, а перед матерью Вики. Но она как нарочно приблизилась к нему вплотную, жалостливо вздохнула:

— Умаялся, бедненький!..

Не так его рассердили эти жалостливые слова, как то, что Ирина могла теперь собственными глазами видеть, как беден их стол. Будь на нем калач величину с колесо от телеги и кусище сала размером в ладонь, да толстый ломоть хлеба, да кусок овечьей брынзы, миска орехов да кувшин красного вина впридачу, он бы так не нахмурился, не опустил бы сердитых глаз долу. Хоть и говорят, что бедность не порок, но желудевые лепешки, которые сейчас лежали на столе перед Тоадером Фрунзе, едва ли прибавят уважения к его высокому положе-

нию. Так, во всяком случае, думал сам уполномоченный райкома, «комсомольский бог», как называл его иногда Алексей Иосифович Шеремет. Питался же он пищею, предназначенной явно не для богов. А баба она и есть баба. Скрытная по необходимости, теперь Ирина вряд ли удержится, чтобы не рассказать всякому встречному и поперечному обо всем, что видела в доме Фрунзе, в особенности же о том, что «лопает» старший сын Костакэ, этот самый уполномоченный и комсомольский главный начальник, — желудевыми лепешками пробавляется!

«Сама собственными глазами видела!» — завершит, для большей убедительности, именно этими словами свой рассказ Ирина.

Вполне возможно, что ни о чем таком и не помышляла женщина, но Тоадер Фрунзе продолжал мысленно разыгрывать за нее ее же роль. Он живо рисовал себе такую картину: сельские кумушки, выслушав Ирину, всплескивают руками: «Лепешки из желудей?! Господи!.. А может, это для отвода глаз?.. Вот, мол, гляньте, добрые люди, мы сами живем беднее бедного!.. Не верь ты им, кума! Списки-то в сельсовете они составляют сами!.. Они не дураки, чтобы обидеть себя... Шалишь! Будут они тебе жрать желуды!.. Пусть уж глухой верит тому, что ему скажет немой!.. А нас не проведешь!..»

Тоадер терзался, и понапрасну. Ирина Негарэ была достаточно деликатна, она даже краем глаза не смотрела, что там у него на столе. Во время голодовки из-за этой самой врожденной деликатности кукоаровцы старались не приходиться друг к другу в пору завтрака, обеда и ужина и если все-таки случайно заставляли хозяев дома за трапезой, то ни за что на свете не соглашались разделить ее с ними.

Ирина, конечно, и не думала о том, что в такой поздний час застанет кого-то за ужином. Отойдя от Тоадера, она вновь заговорила с его матерью:

— А знаешь, Катинкэ, мы ведь с тобой немножечко родные...

— Со стороны баде Пэтраке? — непреднамеренно вырвалось у хозяйки.

— Нет, нет! — заторопилась Ирина, чуть вспыхнув. — Подумай-ка получше, может, и вспомнишь! Ведь наши с тобой прабабушки были двоюродными сестрами. Значит, старая Затицха из нижней части села доводится нам с тобою бабушкой!..

— Э, а ведь правда! — удивилась Катинка. А ее гостя, как бы вспомнив, что они тут не одни, обернулась к сидевшему за столом Тоадеру:

— Тебе, поди, парень, надоело слушать нашу бабу болтовню?

Чтобы не затруднить еще больше и без того трудное положение, в каком он оказался, умная

женщина не стала ждать ответа на свой вопрос. Может быть, еще и потому, что заранее составила весь план своего поведения в доме Фрунзе, разработала, так сказать, всю тактику и стратегию. Сейчас же задала еще один вопрос:

— Ты не скажешь нам, сынок, когда будем гулять на твоей свадьбе?

— Вас, тетенька Ирина, по-моему, интересует что-то другое, — сухо ответил Тоадер. — Вы о чем-то другом хотели поговорить со мной. Так ведь?

— Так, сынок, — несколько не обидевшись, подтвердила женщина.

— Я вас слушаю, тетенька Ирина.

— Сперва погляди, парень, какой подарок я к твоей свадьбе приберегла!..

— Вы, тетенька Ирина, может, и невесту мне подыскали? — улыбнулся Фрунзе.

— Подрастет пускай еще немножко твоя невеста, нальется соками ягодка, поспеет...

Тоадер опустил голову. Он всегда смущался, когда говорили ему напрямую такие вещи.

— Ты не прячь глаза-то, сынок. Робкому да стыдливому достаются одни косточки. А мужики совсем другое любят...

Сказав это, Ирина по самый локоть погрузила свою руку в глубокий, как колодец, карман юбки и извлекла оттуда цветастый платок.

— Вот он, мой подарок. Накинешь невесте на ее хорошенькую головку или на плечики. То-то будет рада!

— Этого еще не хватало! — вспыхнул Фрунзе.

Заговорила и его мать:

— Сказывала я тебе, кума, не делай этого!..

Но Ирина Негарз будто и не слышала их слов. Она расстелила кружевной платок на холодной плите и поправляла на себе шаль, собираясь уходить. При этом как бы между прочим говорила:

— Вот я и думаю, Тоадер... Почему бы и нашей семье не быть в тех списках. С государством мы, слава богу, рассчитались хлебом, все сдали до последнего фунтика. И сынок наш, Митря, сложил свою голову за Советскую власть... Отчего же и нас не занести в тот голодный список?.. За какие же грехи...

— О чем вы, тетенька Ирина? — не утерпел, чтобы не перебить ее, Тоадер. — Вы же есть там!

— Правда, сынок. Есть. Но только в одном списке — на семенную ссуду. А на еду? Мы ведь тоже не святым духом питаемся! Разве мой муж вместе с другими не возил тот хлеб со станции?! Разве наши души не такие, как у всех! Другие получают по сорок килограммов на душу в месяц, а мы ни зернинки. Мы что? Богатеи, бояре?!

— Ах, вон оно какое дело! — еще больше взъярился Фрунзе. — Вот зачем вы принесли

мне свадебный подарок, тетенька Ирина! Чтоб я внес вас и во второй список?! Ну и ну!..

— Мало платка, я тут кое-что еще для тебя принесла, Тоадерик... Вот две монетки из чистого золота. Хотя для коронок на твои зубы, хоть для сережек невесте — на все сгодятся. Монетки-то царские еще, неподдельные. Говорю, чистое золото!

— Золото?.. Во-о-он! — взвыл Фрунзе, кинувшись на опешившую бабу с кулаками.

— Что ты, что ты?! — закричала мать. — Опомнись!.. Связываться с женщиной!.. Господь с тобой!.. Успокойся ради Христа!..

Теперь Фрунзе не помнил, чем все это кончилось. Видел, точно в кошмарном сне, как мать упала на пол, схватила его за штанину, впиалась в нее, как тигрица, и волочилась за ним, не допуская, чтобы он выскочил во двор и настиг там испуганную до смерти Ирину. Не скоро еще помутившиеся яростью глаза его налились ровным светом. Когда же разум и зрение вернулись к нему, он увидел рядом с собой только одну мать, которая вытирала мокрое его лицо платком, гладила теплою рукой его волосы, повторяя:

— Успокойся, сынок. Успокойся, милый!.. Баба ведь она. А у бабы, сам знаешь, только волос длинен, а ум-то короток...

2

За всю свою жизнь Тоадер Фрунзе ни разу не держал в руках золота. Видел лишь золотое кольцо на пальце попадьи. И цену истинную золота он не знал. В его родном селе золото было непременно персонажем сказок, легенд о каких-то кладах и прочих небылиц. Говорят еще старые люди, что было время, когда тут ходили турецкие золотники, русские золотые рубли и габсбургские крейцеры, но сам Тоадер таких денег не видел. О кладах же в Кукоаре говорил стар и млад. Был, если верить одной из легенд, такой клад у подножия холмов Плешна; там вроде в какие-то незапамятные времена случайно наткнулись на глубокий погреб, полный золота, — турки-де спрятали. От поколения к поколению катилась эта не то сказка, не то быль. Видно, не сладко жилось людям, ежели они цепко держались за эту легенду, ни за что не хотели расставаться с нею и каждый лелеял мечту случайно набрести на такой клад и неожиданно разбогатеть.

Некоторые не полагались на случай, а делали настойчивые попытки разыскать клад. Но пока что никому это не удавалось. Послушать стариков, так каждый из них собственными глазами видел, как горят в ночи золото и серебро. Золото — желтым огнем, серебро — белым, медь, коли и она была в том кладе, отливала красным. Люди были убеждены в том, что че-

рез определенное число лет этот благородный металл самовоспламеняется и таким образом самоочищается от ржавчины и от других посторонних примесей. Но близко к тем сокровищам подойти нельзя, потому что они охраняются нечистой силой. Стоит этакий окаймленный на часах и никого из людей не подпускает, бережет драгоценности, чтобы потом покупать на них человеческие души.

Из людей видели эти золотые костры очень немногие, и весьма редко: чудеса ведь творятся не всякий год и не у каждого на глазах. Клад горит, может быть, один раз в сто лет, и то лишь осенью, в глухую зябкую ночь, когда немногие из нас отваживаются покинуть жилище и выйти в пустынное поле.

Но ты можешь оказаться в поле по разным причинам. Сторожишь, к примеру, бахчу или, прихватив ночь, торопишься отвезти на свое гумно кукурузу — мало ли какая еще нужда погонит тебя темной ночью в степь! И это может совпасть с тем редкостным моментом, когда где-то в кромешной тьме замирает над кладом сказочный костер. Ты заметишь то место, побежишь что есть мочи за лопатой. Вернешься — начинаешь яростно копать. Ты копаешь, а клад все глубже и глубже уходит от тебя. Вот уже из-под твоей лопаты начинают вылетать осколки глиняных горшков, обломки сгнивших бочонков и сундуков: значит, клад уже где-то совсем близко. Скорее, скорее! Потлется с тебя в тысячу ручьев, но ты ничего не замечаешь, а все вгрызаешься и вгрызаешься в землю. И вдруг слышишь голос, дошедший до тебя, кажется, из самой земной утробы: «Человек, если хочешь, чтобы клад отдался тебе в руки, пожертвуй клушку с цыплятами!»

Кладонскатель испуганно выскочит из ямы, поскольку он, как и все жители Кукоары, знает, что ему советуют продать свою душу сатане, в обмен на клад отдать геенне огненной, то есть в ад, жену и детей. Понятно, что никто из разумных людей не мог пойти на такой сговор и не совершал подобной сделки. И все-таки каждый из них был совершенно убежден, что где-то на его делянке в поле либо на винограднике обязательно закопан клад.

Другое дело — золотые монеты. Когда-то они ходили свободно, как любые деньги. Затем отыскались мудрецы, которые заменили их нарядными бумажками, в них ценность желтого металла была лишь номинальной, то есть условной.

Золотые монеты, если они у кого сохранились от прежних времен, охотно обменивались в кишиневской консистории, их принимали зубные врачи, ювелиры, торговые люди, частные и государственные банки. С неких времен и крестьяне, те, что побогаче, умудрялись делать из них обручальные кольца, сережки и прочие украшения. Даже ворожен, местные колдуны,

требовали золотишко, чтобы сделать заговор, положить золотую монетку на рану, спасти человека при змеином укусе.

Но и золотые монеты стали редкостью в Кукоаре. И тут вступил в свои права непреложный закон: чем реже встречается какая-либо вещь, тем больше о ней разговоров. Золотые монеты почти исчезли, а легенды о кладах жили и даже множились в числе. У людей всегда так: если им чего-то не хватает в действительной их жизни, они восполняют эту нехватку в сказках, легендах, в красивых небылицах и поверьях. Взрослый же человек — это всего-навсего вчерашний ребенок. А какой ребенок может жить без сказок!..

Конечно, Тоадер Фрунзе едва ли признался бы не только кому бы то ни было, но даже самому себе, что верит всем этим сказкам, этим легендам о драгоценных кладах. Трезвым умом, рассудком своим он действительно не верил в такие чудеса. Но знал, слышал сердцем, что где-то подсознательно, помимо его воли, но все-таки живет, копошится в его голове и душе тревожащая воображение мысль о возможном существовании и кладов и всяких иных чудес. Не будь этого, он, возможно, чувствовал бы себя как-то опустошеннее, бездуховнее, что ли...

Вместе с тем он хорошо знал и абсолютно был уверен, что для него лично золото не имело решительно никакой цены. Никогда, повторяем, не держал он в своих руках ни одной золотой монеты, обручального кольца или серьги, а того паче — золотых часов. У него не было часов даже самых обыкновенных, дешевеньких, металлических. Другие похвалялись: одни — ручками с золотыми перьями, другие — какими-то медальончиками, крестиками. Тоадеру Фрунзе плевать было на все эти штучки!

Ему бы, конечно, не помешали часы. Но нужны они ему не для того, чтобы хвастаться ими, а для того, чтобы он мог более разумно распоряжаться временем, которого ему всегда теперь не хватало. Но где он их возьмет, если они не продаются ни в одном магазине! Может быть, и отыскались бы на каком-то базаре, на толкучке, но, во-первых, там их едва ли купишь, а, во-вторых, ему было недосуг шляться по рынкам и барахолкам. Одно время он пытался уговорить своего брата, чтобы тот продал ему свои часы. Куда там! У него их можно взять не иначе как вместе с рукой. Никэ не расставался с ними и ночью, так и спал вместе с часами, не снимал до утра, как делают нормальные люди.

Кроме часов, у Тоадера Фрунзе было немало и других малых и больших проблем, которые следовало решить. Однажды он полдня затратил на то, чтобы научиться завязывать галстук, подаренный ему ко дню рождения. Как ни старался, но правильного узла так и не получалось. В конце концов смахнул галстук

с шеп и кинул в чемодан, чтобы забыть о нем вовсе.

Теперь все эти малые затруднения и заботы отошли на задний план, уступив место заботам большим и важным. Было о чем подумать, над чем поломать голову! Хотя бы вот над этим: где это видано, чтобы его земляки, которые, отправляясь на мельницу, писали бывало на своих мешках свою фамилию, теперь по доброй воле несли на общее дело из своих домов все мешки, брезенты — все, что требовалось для доставки зерна со станции?! Впрочем, это-то как раз и веселило душу, и радовало Тоадера, даже мысль о злоумышленниках, погравших руки у хлеба, присланного государством голодающим, и нелепая попытка Ирины Негарэ подкупить его самого не могли подавить в нем этого праздничного одушевления. Что же касается воришек, то что ж — нет в лесу деревьев без сучков и задоринок; пускай их мучает теперь собственная совесть. Село сейчас напоминало большой муравейник в разгар его забот. По глубоким дорогам-траншеям, проделанным в снегу, туда-сюда сновали сани, нагруженные мешками. Во дворах питательных пунктов вовсю кипела работа: одни кололи дрова, другие тащили их к печам, третьи разгружали сани, на которых только что привезли либо муку, либо крупы и комбизир.

Людской гомон доносится и от складов, расположенных в центре села. Там грузят и разгружают зерно. А зима делает свое дело: снег валит валом, по ночам и утрам жмут морозы. Но люди не унывают: эти снега, уже сейчас покрывшие полутораметровым слоем поля и виноградники, неплохое подспорье будущему урожаю. Надо только перезимовать, сохранить людей, лошадей и волов: без них и напоенная досыта влагой земля останется яловой, на ней, кроме злющих сорняков, ничего не вырастет. А весна, судя по всему, по всем приметам, будет славной.

На дворе уже сретенье. В такую пору, говорят бывалые люди, зима встречается с весной (отсюда «сретенье», искаженное слово от «встретинья»), в зимний воздух вплетаются чуть внятные, едва уловимые весенние запахи — бродящего в стволах деревьев сока или набухающих почек. В сретенье, говорят те же мудрецы, диная коза пьет воду из собственного стаканчика, то есть из копытного следа. Однако нынешней зимой что-то не замечается всех этих признаков, даже среди дня не темнеет корочка на снегу, не просыпаются шустрые крохотные ручейки, не поют своих веселых весенних песен. Пока что только дубовые и вишневые ветви испускают свои крепкие и терпкие, немного дурманящие запахи. Но пройдет какое-то время, и на вербах повиснут белые пушистые сережки, зацветет кизил и на сердце у людей станет повеселее. Зазеленеют луга, склоны

холмов, межи, выгон за околицей села, куда можно будет после долгой и прожорливой зимы спроводить скотину. Повеселеет малость и на обеденном столе у людей: ведь лепешки, испеченные из муки, в которую добавляют акациевых цветков, вкуснее, чем те, в которых помимо муки были и опилки, и молотые желуди!..

Дни заметно удлинялись. На солнечной стороне дома, от завалинок, подымался пар. Народ сбрасывал с крыш снег, рушил эти потемневшие к весне готические сооружения, не щадил и алтарей, храмов, которые создавала зима возле хлебов, амбаров, погребов и других надворных построек. Кое-где повыползали из своих нор древние старички — греются на солнышке, притулившись все к той же завалинке или присев на бревнышко. Если у кого уцелела курица, то ее можно было увидеть только у окна, где она старательно склевывала замазку на стеклах.

Сначала весна приближается медленно, осторожно, словно ее везут исхудавшие за зиму вола. Но к великому посту она как бы меняет волов на резвых лошадей и мчится уже во всю прыть; ее вроде бы подгоняют, подхлестывают своими шумными и звонкими голосами ручьи, низвергающиеся с гор и холмов в долину. Первой из земли, где-нибудь возле плетня или забора, выглянет нетерпеливая и нахальная крапива: этой не страшны ночные заморозки.

В доме Фрунзе каждый день в стакане свежие фиалки и подснежники. Теперь, когда дни стали длиннее, и Никэ приходил на ночь домой из своей средней школы. Это он по дороге через Питарский лес собирает те подснежники и фиалки. Позднее он будет приносить оттуда букетики белоснежных ландышей.

Толковый он хлопец, Никэ! Правда, раньше времени, кажется, начал ухаживать за девушками, которые годами старше его. Только перешел в девятый класс, и уже вовсю танцует с ними в клубе, не останавливаясь и перед тем, чтобы потискать их в темных углах. И в кого только пошел?! Ведь отец его и мать телесного скрипу боялись смолоду-то, а этот... Ну и шустер! Знает все адреса газет и журналов в Кишиневе, ведет с ними бойкую переписку, отправляет какие-то свои сочинения на конкурс, получает премии. Отличный спортсмен, он участвует во всех соревнованиях, районных и республиканских. В Кишиневе и Оргееве Никэ бывает гораздо чаще, чем его старший брат, — такой пронира!

Отчаянный ухажер, Никэ, конечно же, должен был хорошо разбираться в цветах. Вечером он приносит их домой, а утром, на обратном пути, набирает для своей классной руководительницы. Все у него идет хорошо. Вроде бы хорошо...

Мать, например, не очень-то рада его цветам. Когда Никэ делается уж слишком нежным

и ласковым, Катинка уже знает, что ее младшенький замыслил что-то недоброе, тут за ним нужен глаз да глаз. И она предупреждает мужа:

— Послушай, отец, этот негодяй Никэ что-то задумал.

— Откуда ты взяла?

— Как откуда?! А цветы, а отличные отметки, которые он нам подсовывает каждый день?..

— Может, парень просто образумился, остепенился...

— Нет, Костаке, нет!.. Вижу, что он что-то затевает... Иначе бы он не приносил цветов!

— Через лес же ходит!

— Как будто вы не ходите в лес! — парировала Катинка. — Но что-то ваших цветов я не вижу...

Одними этими разговорами Катинка не ограничивается. Она начинает ревизию всего дома, тщательно проверяет все и, когда ночью возвращаются муж и старший сын, торжественно объявляет им:

— Что я вам говорила?! Он, негодяй, забрал все деньги из глиняного горшка!..

— Да сколько там было тех денег? — спокойно осведомлялся Фрунзэ-отец.

— Двенадцать аж сотенных. Вот сколько!

— О боже!.. Кто же нынче прячет деньги по кубышкам?!

За окном сверкали молнии и громыхал гром, шелестели дождевые струи. Дождь был желанный. Правда, фиалки, ландыши отойдут, но бурно пойдет в рост трава, зацветут сады, покроются свежей листвою леса, зазеленеют озимые, оживут виноградники...

— Что будем делать? — чуть не плача спросила Катинка.

— С кем?.. А-а-а...

— Он же потратит их!

— Это уж наверняка, — спокойно согласился с женой Костаке. — Но мне хотелось бы все-таки знать, откуда эти деньги?

— Да мои это, премияльные, — сообщил отцу Тоадер. — Мне предложили на выбор: либо деньги, либо бесплатная поездка по стране.

— И ты отказался от поездки?

— Отказался. Потому что нужно было сдавать экзамены в педучилище, готовиться к ним...

— Ну, это ты зря. Я б на твоём месте не отказался! — горячо сказал отец.

— Свет не пострадает от того, что он не поехал, — вступилась за старшего сына Катинка.

— Свет-то не пострадает. Пострадал Тоадер. Теперь у него ни путевки, ни денег. Проматает их младший его братец.

— У, мерзавец! — вновь вскипела Катинка. — Шею сверну паршивцу!..

Дождь лил как из ведра. Костаке облачился в шинель с капюшоном, в которой когда-то ходил на заработки, на лесозаготовку, и

молча вышел из дому. Он решил все-таки поглядеть, что это там надумал Никэ. Не стал запрягать лошадь, а поехал на ней верхом: так-то будет верней по размокшей дороге, скорее доберешься до города.

Катинка повязала лоб платком, смоченным в уксусе: когда она гневалась, у нее разбалывалась голова. В платок этот она сперва мелко нарежет сырой картошки, сбрызнет её винным уксусом и только потом приложит ко лбу. Но сейчас картошки у них не было. Ну что ж, может, и без нее обойдется, боль утихнет, отойдет от висков. Лишь бы поскорее вернулся муж: не терпелось узнать, что там затеял этот паршивец: неспроста же стянул он деньги!

В школе Костаке был встречен сначала разными упреками, а затем учителя стали роптать на его младшего сына:

— Он сбежал не спросясь, без нашего ведома. А жаль. Очень был способный ученик! Правда, ему не хватало усердия, чтобы стать отличником. Может быть, из ложно понятой солидарности с отстающими он не старался, не хотел выделяться среди них. А вообще-то способный. Очень жаль, очень!..

Соученики, товарищи Никэ, встретили его отца иначе:

— Разве Чацкий ваш сын?

— Что еще за Чацкий?

— У Грибоедова есть герой с такой фамилией.

Вообще-то Костаке давно знал, что в интернате его сына прозвали Чацким, но не мог взять в разум: почему? Раздобыл даже где-то книгу Грибоедова, прочел в ней «Горе от ума», но и после этого не мог отыскать той своенравной, почти таинственной тропинки, по которой к человеку приходит прозвище. Пытался теперь узнать про то у ребят, но они не торопились делиться своими интернатскими секретами. В конце концов что-то стало все-таки проясняться:

— Никэ очень большой краснобаи!

— И учит всех, как надо жить!

— В школу приходит в начищенных до блеска ботинках...

— Какая бы грязница ни была во дворе, а он...

— Но приходит в школу аккуратным, чистым — это уж, по-моему, не самое большое преступление! — улыбнулся Костаке.

— Верно. Но ведь и Чацкий не самый отрицательный герой! — отпарировал какой-то бойкий малый. — Только уж очень любит всех поучать!

Эти молокососы, у которых на верхней губе едва пробивался пушок, были весьма остроумны. Они начитались книг и могли загнать в угол любого взрослого своими познаниями. По крайней мере он вот, Костаке, не нашелся, что сказать им в ответ. Он только спросил:

— Вы что же, ребята, думаете, Никэ уехал в Одессу?

— Мы не думаем, а хорошо знаем! — громко заявил кто-то из младших классов. — Никэ решил поступить в мореходное училище!

— Чтобы стать потом капитаном парохода! — добавил другой с явной завистью к беглецу. — Четыре года проучишься — и гуляй по волнам!..

— Красотища! — подхватывал третий. — Весь свет увидишь! Побываешь в разных странах...

— Языкам разным научишься...

— Все это хорошо, — перебил ребят Костакэ, — но почему же вы-то остались, не поехали с ним?

— Нам годов не хватает, — сказал один из малышей с горьким сожалением.

Другой добавил:

— Никэ ваш поехал не один, а с Ленкой, сыном военкома.

— В райвоенкомате им и бумагу выдали — рекомендацию то есть.

«М-да-а, — подумал Костакэ Фрунзе, подвязывая хвост лошади и собираясь пуститься в обратный путь. — Я ничего не знаю, не знаю учителя в школе, ее директор, а вот эти шпингалеты знают все!.. Радуйся, милая же-нушка, ты вскормила своей грудью морского волка! Не могла, бывало, вытащить его из реки даже в войну. Бултыхался в Реуте и тогда, когда над рекой шел бой наших истребителей, поднявшихся с Пиструенского аэродрома, с немецкими щуками...¹ Тогда ты, Катинка, очень боялась, как бы он не утонул, не простудился, не подхватил бы воспаления легких...»

¹ Так местные жители прозвали немецкие истребители «мессершмитты».

(Окончание в следующем номере.)

Ион Чобану

(Иван Константинович Чебан)

КУКОЛА

Роман

Редактор В. МАЛЮГИН

Художественный редактор С. Гераскевич. Технический редактор Т. Таржанова.

Корректоры А. Влазнева и Е. Терехова

Фото на первой полосе обложки Н. Кочнева

На второй полосе обложки фото А. Карзанова

Сдано в набор 14.03.79. Подписано в печать 19.04.79. А11632. Формат 84×108¹/₁₆. Бумага газетная, 10,08 усл. печ. л. 12,45 уч.-изд. л. Тираж 2 495 000 экз. (2-й завод 995 001—2 495 000 экз.), Заказ 534. Цена 60 коп.

Издательство «Художественная литература»
Москва, 107882, Ново-Басманная, 19

Набрано и сматрировано в ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградском производственно-техническом объединении «Печатный Двор» имени А. М. Горького «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136. Ленинград, П-136, Гатчинская, 26

Отпечатано на Чеховском полиграфкомбинате «Союзполиграфпрома» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли г. Чехов, Московской области. Заказ 1195

Присланные в редакцию литературные материалы не возвращаются.
Рукописи ранее не опубликованных произведений не рассматриваются.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Г. М. ГУСЕВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Г. П. БЕРДНИКОВ
Ю. В. БОНДАРЕВ
А. Т. ГОНЧАР
Д. А. ГРАНИН
С. П. ЗАЛЫГИН
Ф. Ф. КУЗНЕЦОВ
Л. М. ЛЕОНОВ
В. В. НОВИКОВ
Г. Б. ПАЦИЕНКО
(зам. главн. редактора)
Е. И. НОСОВ
П. Л. ПРОСКУРИН
В. Г. РАСПУТИН
А. А. РЖЕШЕВСКИЙ
(отв. секретарь)
С. В. САРТАКОВ
А. Н. САХАРОВ

7- 11- 49
7- 49- 11.

60 к.

70782

